



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





WID-LC

PG

3467

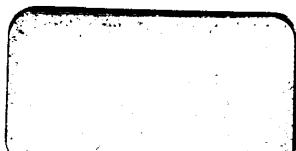
I 3

1903

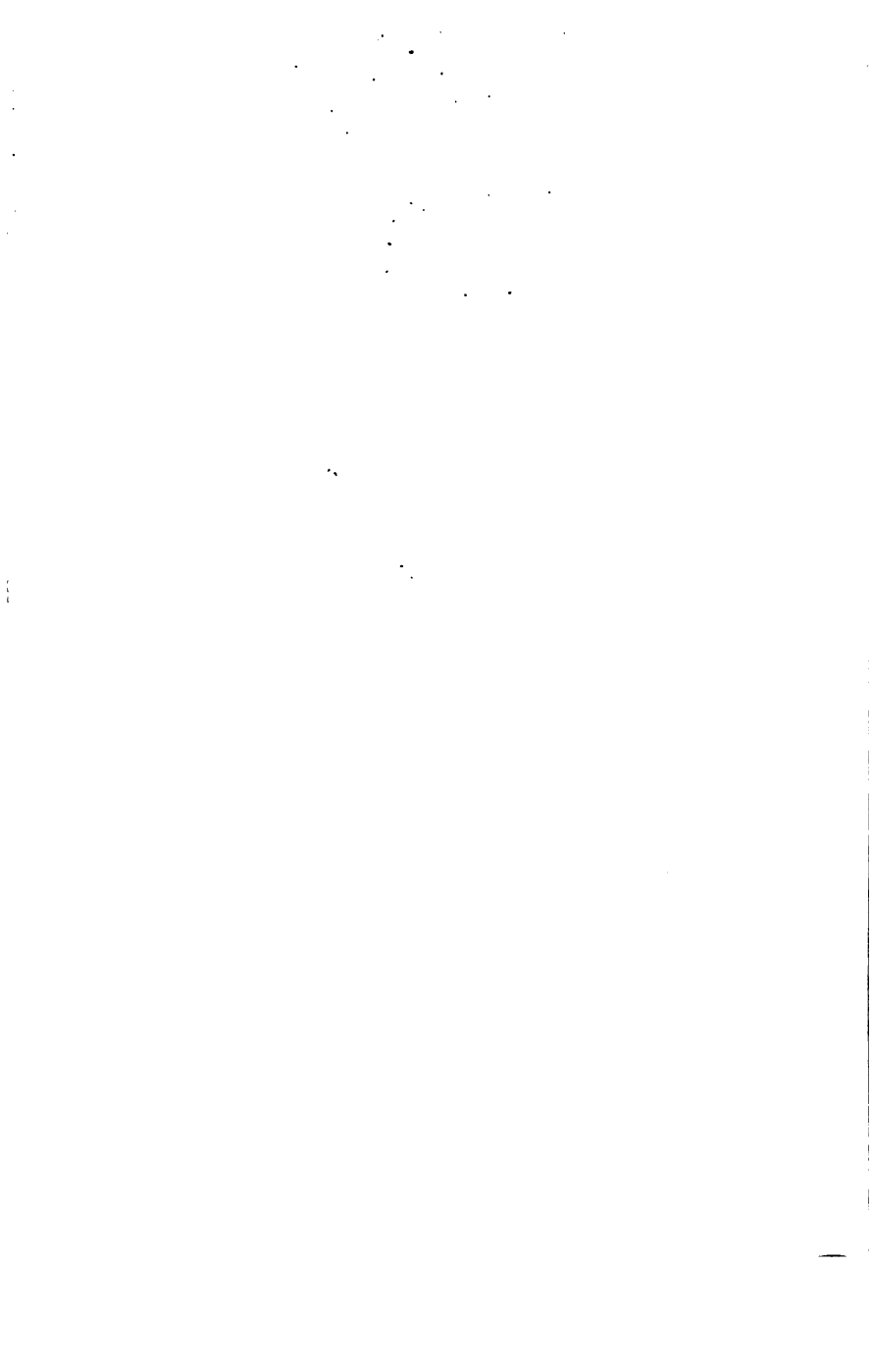
Lt. 1

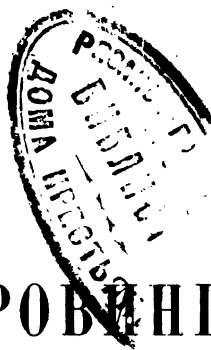


HARVARD
COLLEGE
LIBRARY









ДѢТИ ПРОВИНЦІИ

Томъ I.



2

2482

1

И. К. ГОРДИКЪ-ВТОРОЙ

ДѢТИ ПРОВИНЦІИ

ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ

Томъ I.

Сонъ учителя. — Налету. — Бурьезъ съ послѣд-
ствіями. — Горошковскій иконописецъ. — Купецъ
Козыревъ. — Толстого или Гоголя? — Сѣдло.

ИЗДАНИЕ АВТОРА



ЕКАТЕРИНОДАРЪ

Типографія И. Ф. Бойко.

1903.

2

WID. LC

PC

31.7

.I3

D15

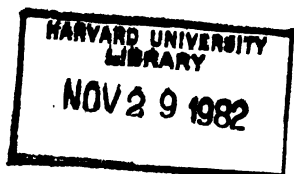
1103

t.1



Дозволено цензурою. Тифлисъ, 5 декабря 1902 г. и
18 февраля 1903 г.

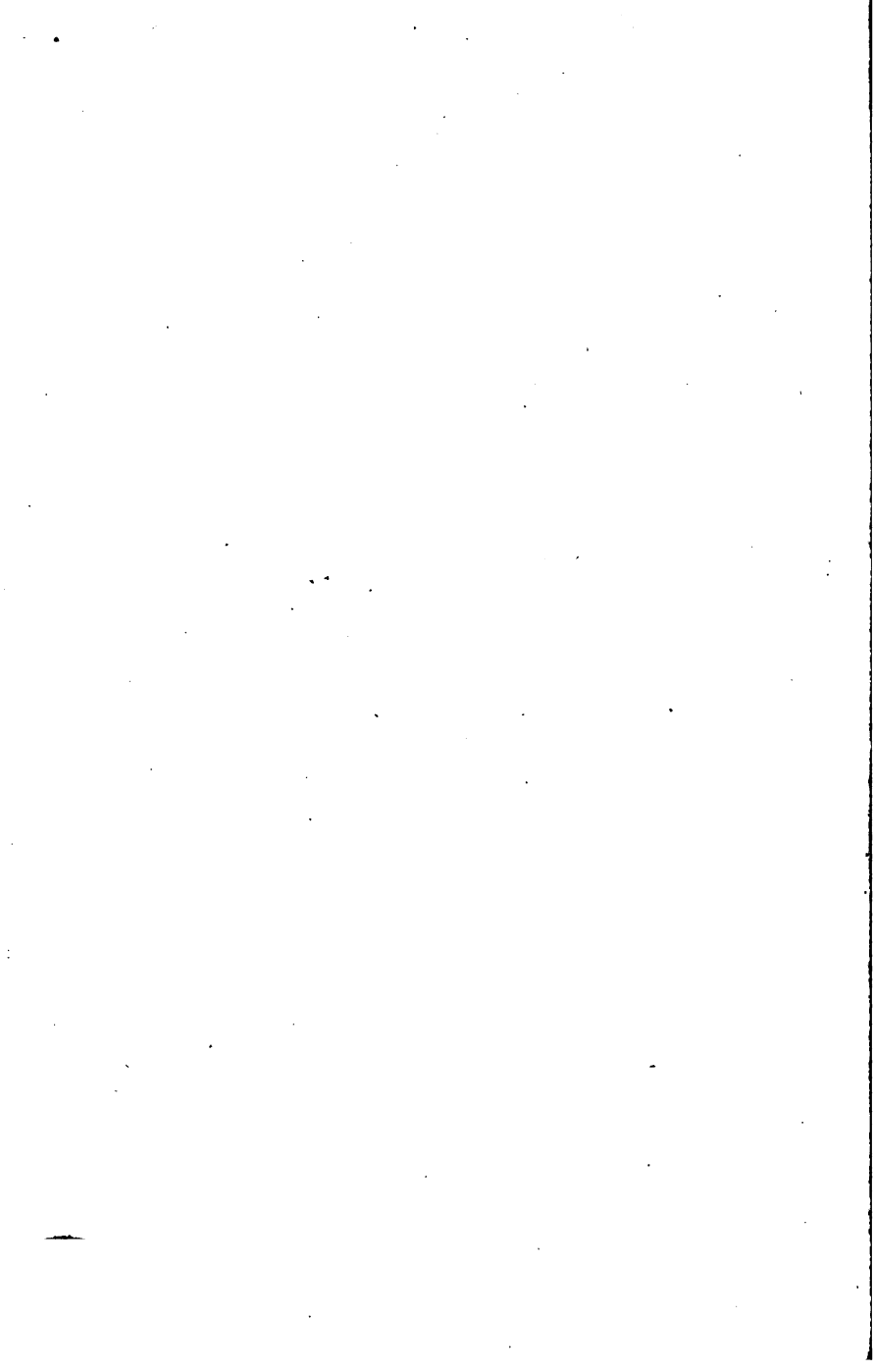
1570



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Отъ автора.	
Сонъ учителя	3
Налету	25
Курьезъ съ послѣдствіями	83
Горошковскій иконописецъ	157
Купецъ Козыревъ	261
Толстого или Гоголя?	303
Сѣдло	327





ОТЪ АВТОРА.

Изъ семи очерковъ и рассказовъ, вошедшихъ въ настоящую книгу, «Горошковскій иконописецъ», «Налету» и «Курьезъ съ послѣдствіями» печатаются мною въ первый разъ; остальные же четыре рассказа были помѣщены въ періодической печати: «Сонъ учителя»—въ «Новомъ Времени», въ 1899 г., «Купецъ Козыревъ»—въ «Нивѣ», въ 1900 г., «Толстого или Гоголя?»—въ «Живописномъ Обозрѣніи», въ 1902 году и «Сѣдло»—въ «Иллюстраціи», въ 1902 году.

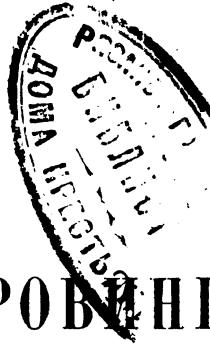
И. Гордикъ-второй.

Екатеринодаръ, Куб. обл.

31 октября 1902 г.







ДѢТИ ПРОВАНЦІИ

Томъ I.

плонулъ въ уголъ и улегся на кушеткѣ, подложивъ подъ голову обѣ руки. По его усталому, безцѣльному взору, блѣдному измученному лицу и при отсутствіи малѣйшихъ движеній во всемъ его организмѣ, трудно было заключить—мыслили ли Ермаковъ о чемъ или всецѣло отдыхалъ, если бы онъ торопливо не поднялся съ кушетки и не позвалъ школьнаго сторожа, понадобившагося ему для чего-то, повидимому, весьма важнаго.

— Ну что, Степанъ, говорилъ со старостой?

— Говорилъ.

— А что же онъ?

— Сказалъ: хорошо...

— То-есть какъ, хорошо?

— Да такъ... Топить, говорить, рано. А будутъ морозы, будетъ и топливо.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Ей-Богу.

— И ты не догадался сказать, что я буду жаловаться?

— Какъ не догадаться—догадался. Говорилъ...

— А онъ что?

— Ничего...

— То-есть, какъ, ничего?

— Смѣется...

— Слушай, Степанъ! Я, кажется, не разъ просилъ тебя не говорить глупостей!.. Я вѣдь не шучу съ тобой, посылаю за дѣломъ... Ну и ты говори о дѣлѣ!..

Тутъ учитель быстро зашагалъ по комнатѣ.

— Не пора топить?.. Вотъ уже чего не ожидалъ!..—въ гнѣвѣ прокричалъ Ермаковъ, останавливаясь.

ливаясь предъ своимъ служителемъ и упорно засматривая ему въ глаза.— Не пора топить? Ты посмотри, какая у насъ отвратительная сырость: всѣ стѣны покрыты плѣсенью... Поди же и скажи ему... А впрочемъ... Ставь самоваръ!... Я не такъ проучу его!..

Сторожъ унесъ самоваръ, а Ермаковъ продолжалъ шагать по комнатѣ...

Теперь было очевидно, что онъ размышлялъ о чемъ-то, размышлялъ упорно, съ лихорадочной напряженностью, забывъ про свою усталость и вовсе не заботясь о томъ, что ему необходимъ отдыхъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держалъ напиросу, а правая какъ-то судорожно скользила по лицу, то потирая лобъ, то закрывая глаза, то теребя небольшую бороду, или, наконецъ, закручивая маленькіе изящно оформленные ушки.

— Вотъ оно, положеніе-то наше!—вырывалось у Ермакова изъ глубины души.— Живи, значитъ, не тужи, а умрешь—не убытокъ!

И онъ хотѣлъ было улыбнуться, но ему помѣшала это сдѣлать не покидавшая его мысль о томъ, что онъ не въ силахъ справиться со старостой, этимъ грубымъ, вѣчно пьянымъ мужикомъ, которому дана власть, а ему, Ермакову, ничего не дано! Триста рублей жалованья, сырая, холодная конура, 70 душъ дѣтей—вотъ всѣ удобства его службы! Но не это, въ сущности, возмущало его: Ермаковъ давно испыталъ, насколько труденъ избранный имъ путь, и ни пахать, ни мягкой мебели, ничего подобнаго не ожидалъ онъ въ своей жизни. Но вѣдь у него

отнимаютъ и то малое, которое неотъемлемо принадлежитъ ему по закону, — надъ нимъ глумятся! — вотъ что казалось ему возмутительнымъ...

— Да, жалкіе мы, ненужные люди! Насъ держать Христа-ради... Съ нами поступаютъ такъ точно, какъ поступаетъ расчетливый мужикъ съ калѣкой работникомъ, въ услугахъ котораго онъ вовсе не нуждается!

Напившись чаю, Ермаковъ принялся за исправленіе тетрадей. Тутъ онъ, повидимому, сталъ было забывать о взволновавшей его непріятности, но не прошло и получаса, какъ дверь въ его комнату широко распахнулась: вошелъ мужикъ съ кожаной сумкой черезъ плечо и подаль Ермакову пакетъ изъ волости. Расписавшись въ полученіи пакета, Ермаковъ быстро вскрылъ его и прочелъ слѣдующее:

«Г. учителю Широко-Спасской школы, Ермакову. 5-го марта текущаго 1894 года, при ревизіи ввѣренной вамъ школы, мною усмотрѣно, что ученики первой группы читаютъ медленно, вяло, разрываютъ слова, не умѣютъ передать прочитаннаго. Тѣ же ученики пишутъ подъ диктовку съ трудомъ, плохо справляются съ устными задачами, смѣшиваютъ термины четырехъ дѣйствій (увеличить въ нѣсколько разъ и на нѣсколько единицъ—это у нихъ одно и тоже). Во второй группѣ—письменная задача рѣшена вѣрно, но объяснить ходъ рѣшенія словесно (на бумагѣ), что должно быть дѣломъ первой важности, у васъ не достигнуто. Наконецъ, въ третьей группѣ дѣти плохо владѣютъ переводомъ славян-

скаго текста на русскій языкъ; могутъ писать лишь переложеніе статей, а не самостоятельное сочиненіе, въ чемъ ихъ нужно упражнять въ году, заблаговременно, начиная, разумѣется, съ легкихъ темъ. Поставляя вамъ, Милостивый Государь, все вышеизложенное на видъ, предлагаю неукоснительно придерживаться высланной вамъ программы (въ 1891 году за № 397) и во всемъ на дѣлѣ оправдывать таковую, въ противномъ случаѣ вы будете устранены отъ занимаемой вами должности.—Инспекторъ Бендебера».

Трудно описать то душевное состояніе, въ какое привела Ермакова прочитанная имъ бумага. Прежде всего онъ почувствовалъ, насколько онъ малъ, ничтоженъ, беззащитенъ въ своемъ отечествѣ... И ему сдѣлалось жутко, страшно, будто онъ не зналъ, не предполагалъ даже о той бездонной пропасти, на краю которой ему приходится стоять всю жизнь. Но онъ не злился и не бранилъ Бендеберу, какъ могъ въ данномъ случаѣ сдѣлать другой на его мѣстѣ; напротивъ, Ермаковъ чувствовалъ себя, какъ членъ общей учительской семьи. Онъ имѣлъ въ виду не одного себя, а проводилъ параллель между народнымъ учителемъ вообще, этимъ по истинѣ честнымъ, но во всѣхъ отношеніяхъ обиженнымъ труженикомъ, и инспекторомъ, все же сносно сравнительно съ нимъ обезпеченнымъ безконтрольнымъ чиновникомъ, вся служба котораго въ большинствѣ случаевъ заключается въ томъ,

чтобы «предписывать», сочинять подчасъ нелѣпыя циркуляры и программы, изрѣдка разѣзжать, а въ большинствѣ случаевъ, сидя въ теплой квартирѣ, на мягкой мебели, дѣлать «внушенія», назначать и удалять. И этотъ подборъ фактовъ, эта дѣйствительность показалось Ермакову нелѣпой, смѣшной, противорѣчащей самымъ незатѣйливымъ законамъ справедливости, и ему было больно признать ее именно за дѣйствительность. Въ виду этого онъ силился убѣдить себя, что инспекторъ правъ, а онъ, Ермаковъ, виноватъ, но не можетъ понять дѣла, не можетъ овладѣть имъ настолько, чтобы сознать свою вину.

И вотъ онъ беретъ листъ бумаги, карандашъ, приноситъ классный журналъ, припоминаетъ успѣхи учениковъ, пишетъ:

«Первая группа. Занятія открыты съ 23-го октября (до этого времени вновь поступившіе не были въ сборѣ). Число учащихся 40; число учебныхъ дней ко дню ревизіи 82. Посѣщали школу неисправно.

Чтеніе. Бендебера находитъ, что ученики читали медленно, вяло, съ разрывомъ словъ.. Само по себѣ разумѣется, что и онъ, я и большинство людей читаемъ лучше, но мы же учились не 82 дня и не пропускали уроковъ. По моему мнѣнію, дѣти читали удовлетворительно, насколько можно было подготовить ихъ по этому предмету за такое короткое время...

Письмо. Бендебера открылъ книгу и приступилъ къ диктанту первой попавшейся статьи. Диктовалъ онъ быстро, «благородно» выговари-

вая слова и наставляя на томъ, чтобы ученики умѣли различать въ концѣ словъ «е» и «ять». Я стоялъ въ уголѣ, притановъ дыханіе, а дѣти пожирали меня взглядами... Бѣдныя дѣти! Но какъ бы то ни было, а диктовка учениковъ первой группы оказалось сносною. Помню, написали они довольно красиво и безъ звуковыхъ пропусковъ, обнаружили знакомство съ «твердымъ и мягкимъ знаками», а также понимали для чего существуютъ «и» и «і». Чего же еще? Мнѣ кажется тутъ не хватаетъ одной литературы...

Арифметика. Рѣшали устные задачи въ предѣлахъ 20: считали до 100 прямо и обратно, писали нумерацію тоже въ предѣлѣ сотни. А если, какъ говоритъ Бендебера, дѣти смѣшивали термины четырехъ дѣйствій, то что же тутъ удивительнаго? Много, вѣроятно, есть истинъ, которыя и я, и Бендебера, и многіе другіе смѣшиваемъ, не уступая въ этомъ любому школьнику.

Вторая группа. Занятія открыты 15-го октября. Число учащихся 20; число учебныхъ дней 90. До 14-го ноября (заговѣнь) почти каждымъ ученикомъ пропущено отъ 5 до 10 дней (въ ихъ семьяхъ были свадьбы).

Чтеніе. Евангеліе и книгу гражданской печати душъ пять читали медленно, вяло (ими пропущено до 40 учебныхъ дней). Душъ восемь читали удовлетворительно, а остальные хорошо...

Арифметика. Механизмъ четырехъ дѣйствій надъ простыми числами до миллионъ. Каждому дѣйствию съ его членами давалось опредѣ-

леніе. Но Бендеберѣ не понравилось это, и онѣ предложилъ задачу съ письменнымъ объясненіемъ. Задача рѣшена; письменное же объясненіе ея, по мнѣнію Бендеберы, оказалось неудачнымъ...

Письмо. Переложеніе статьи. Работа вѣроятно хороша, ибо ничего не упоминается о ней въ инспекторскомъ предписаніи.

Третья группа. Занятія, какъ и во второй, открыты съ 15 октября. Такимъ образомъ, учебныхъ дней ко дню ревизіи 90. Число учениковъ 10. Посѣщали школу тоже небрежно, но лучше первыхъ двухъ группъ.

Чтеніе. Помню, дѣти открыли Евангеліе съ русскимъ текстомъ, который было предложено тщательно закрывать. Но потомъ инспекторъ велѣлъ дать Евангеліе съ однимъ славянскимъ текстомъ изъ боязни, чтобы не обманули его, будто тутъ рѣшалась участь всего отечества! Инспекторъ требовалъ дословнаго перевода. Впрочемъ, удивительнымъ оказалося тутъ не это, а то обстоятельство, что въ одномъ трудненькомъ мѣстечкѣ не только дѣти не могли перевести фразы, но и самъ господинъ Бендебера оригинально искажилъ евангельскую истину. Я отъ души порадовался... (Разумѣется это не по-христіански!)

Письмо. Предложено было написать сочиненіе на тему: «Кому лучше жить на свѣтѣ— грамотному или неграмотному?» Дѣти переглянулись, не смѣло взялись за перья и каждый по своему выразилъ ту мысль, что грамотному безусловно лучше жить на свѣтѣ, такъ какъ грамотный можетъ читать, писать, рѣшать задачи,

а неграмотный незнакомъ, молъ, съ этой премудростью... Коротко и ясно...

Но такой оборотъ дѣтской мысли возмутилъ инспектора. Онъ взялъ работу одного изъ учениковъ, скорчилъ кислую мину и, кивнувъ въ мою сторону пальцемъ, подозвалъ меня и спросилъ: «Это что? Не могу-же я по двумъ строкамъ судить о достоинствѣ письма!»—Въ такомъ случаѣ прикажите дать «переложеніе», отвѣтилъ я.— «Эге... Мало ли чего вы захотѣли бы», грубо возразилъ инспекторъ и показалъ мнѣ свой широкій жирный затылокъ.

На этомъ испытаніе закончилось».

Но тутъ конецъ и воспоминаніямъ Ермакова. Онъ положилъ карандашъ, прошелся по комнатѣ и, подойдя къ столу, снова прочелъ свои замѣтки. Какъ бы для большей связи съ этимъ онъ тутъ же пробѣжалъ глазами и предписаніе инспектора. Теперь оно возмутило его до глубины души.

— Любить школу, какъ люблю я, быть въ дѣлѣ съ раннего утра до позднего вечера въ темной, сырой, грязной конурѣ, лишенной всего необходимаго, имѣть, наконецъ, 70 душъ полудикихъ отроковъ, которыхъ нужно учить, воспитывать, ходить по домамъ и загонять въ школу, да... трудиться, какъ тружусь я, и быть негоднымъ на своемъ мѣстѣ?! Какъ же это? Съ чѣмъ сообразно?—шепталъ онъ, чувствуя, что къ горлу подступаютъ слезы.

Весь вечеръ Ермаковъ былъ въ тяжеломъ настроеніи духа. Онъ уже не могъ заниматься

дѣломъ и тетради были отброшены въ сторону. Но и въ мысляхъ его не было ничего опредѣленнаго. Онъ то думалъ о себѣ, о томъ, что нужно уйти, перемѣнить службу, то противорѣчить этому желанію, не имѣя выхода. Поступить нискомъ въ одно изъ уѣздныхъ присутствій для того, чтобы сидѣть въ тепломъ уголкѣ и заниматься списываніемъ «отъ 9-ти до 2-хъ» — правда, въ его положеніи и это было заманчиво; но съ другой стороны, бездѣятельность ума и сердца, вѣчно «входящіе и исходящіе нумера» представлялись ему чѣмъ-то непосильнымъ, тяжелымъ наказаніемъ, какого онъ не пережилъ бы. Ермаковъ опять останавливается на своей службѣ, по любви избранной имъ, ищетъ въ ней преимуществъ, но, увы, наталкивается на одни противорѣчія... Инспекторъ Бендебера, староста и писарь, безразличное отношеніе крестьянъ къ школѣ и, какъ слѣдствіе всего этого, цѣлый рядъ самыхъ ужасныхъ безобразій — все это до того знакомо Ермакову, что любовь его къ дѣлу могла проявляться въ немъ, какъ глухая, ни на чемъ не основанная иллюзія!

И вотъ, не имѣя выхода, онъ старается отдѣлаться отъ подавляющихъ его чувствъ: беретъ послѣдній, еще нечитанный имъ нумеръ газетки, торопливо пробѣгаетъ ея строки и вдругъ (какое счастливое совпаденіе!) встрѣчаетъ статью по поводу обязательнаго народнаго образованія...

Статья эта, по своей идее, понравилась Ермакову, но въ частности не пришлась ему по вкусу. Тамъ говорилось, что нужно, молъ, ввести

въ Россіи обязательное образованіе, и эта холодность тона, собственно говоря, и показалась Ермакову странной..

«Какъ это могутъ разсуждать люди!»—въ гнѣвѣ подумать онъ, не признавая въ данномъ случаѣ никакой умѣренности. По его мнѣнію, всякій, кто хотя немного понимаетъ, насколько важно дѣло народнаго образованія и какъ оно въ большинствѣ случаевъ поставлено у насъ, не можетъ и не долженъ хладнокровно относиться къ этому вопросу. По крайней мѣрѣ, онъ судилъ объ этомъ по себѣ, и если бы ему, Ермакову, предложили купить это благо цѣною личнаго существованія, онъ, кажется, нисколько не задумался бы надъ этимъ, сознавая, что выше подвига быть не можетъ.

А тутъ, въ дешевой газетѣ, мысль объ обязательномъ образованіи выражена тускло, безсердечно, какъ бы изъ приличія, какъ бы изъ желанія порисоваться, угодить духу времени. Это-то и кажется Ермакову непонятнымъ, оскорбительнымъ, неудовлетворяющимъ запросамъ его души, чѣмъ то слишкомъ легковѣснымъ... Онъ начинаетъ разсуждать такъ, какъ, по его мнѣнію, нужно бы разсуждать въ данномъ случаѣ,—рисуетъ въ строгомъ порядкѣ, развивая въ систему, влагая душу... И какія широкія картины открываются передъ нимъ! Онѣ охватываютъ цѣликомъ все его существо,—и Ермаковъ, какъ помѣшанный, бѣгаетъ изъ угла въ уголъ, терзать бороду, грызеть усики, забывъ объ инспекторѣ, о томъ, что не топлено, обо всемъ на свѣтѣ....

II.

Стоить декабрьское морозное утро... Рано... Улица села почти пуста, а между тѣмъ Ермаковъ уже возвращается съ прогулки. Одѣтъ онъ не щегольски, но прилично. Высокая каракулевая шапка, новые ботфорты, калоши, накинутая на плечи шуба, не скрывавшая спереди застегнутый до низу теплый суконный пиджакъ,—все это чисто, дышетъ новизной и кажется надѣтымъ первый разъ. Самъ Ермаковъ выглядит теперь бодрѣмъ, веселѣмъ... Лицо его, замѣтно пополнѣвшее, уже не имѣетъ и слѣда прежней не то синеватой, не то бурой окраски, характеризовавшей до сихъ поръ его мученическую худобу...

Подойдя къ своей школѣ, Ермаковъ останавливается: имъ неожиданно овладѣваетъ что-то, чего онъ не можетъ понять...

Съ какимъ-то недовѣріемъ смотритъ онъ на большое, высокое зданіе простой архитектуры, каменное, подъ желѣзной крышей, съ большими свѣтлыми окнами... Странно, больше всего удивляетъ его то, что окна школы, будучи значительными по величинѣ, не подавались вліянію холода: стекла ихъ ясны, чисты, сухи, какъ это бываетъ лѣтомъ. Онъ на минуту задумывается, какъ-бы желая разгадать эту тайну, потомъ механически останавливаетъ свой взоръ на изящно отдѣланной вывѣскѣ, гдѣ большими золочеными буквами значилось: «Широко-Спасское народное училище». Эта надпись какъ бы разрѣшаетъ недоумѣніе Ермакова, и онъ, ничему уже не удивляясь, идетъ во дворъ.

Тутъ все знакомо, все напоминаетъ его заботы, распоряженія; все обстоитъ такъ, какъ и должно быть.

Но когда Ермаковъ вошелъ къ себѣ въ квартиру, то же самое, уже знакомое ему, странное чувство опять овладѣло имъ. Станнымъ оно было потому именно, что самъ Ермаковъ не понималъ его. Онъ остановился въ передней, свѣтлой просторной комнатѣ, снялъ калоши, повѣсилъ шубу и сталъ подозрительно осматриваться. Онъ окинулъ взглядомъ стоявшую тутъ мебель: большой дубовый столъ, нѣсколько стульевъ, шкафъ для платья, но ни одинъ изъ этихъ предметовъ не оправдалъ его подозрительности. Правда, тутъ нашлось одно, что поразило его, это стоявшая въ углу прекрасно устроенная кафельная печь, отапливаемая каменнымъ углемъ. Печь была открыта и внутри ея пылалъ огонь, отчего по всей комнатѣ распространялось тепло. О, какимъ приятнымъ, какимъ незамѣнимо-благодарнымъ показалось для Ермакова это тепло! Оно какъ-то мягко, нѣжно било ему въ лицо, проникало въ душу,—и онъ долго стоялъ въ какомъ-то упоеніи, какъ бы не вѣря глазамъ, собственному ощущенію.

Слѣдующая комната, куда потомъ вошелъ Ермаковъ, была, очевидно, лучшей въ его квартирѣ. Она имѣла въ двухъ стѣнахъ по два окна, выходящихъ на улицу. Два стола, изъ которыхъ одинъ письменный, полдюжины стульевъ, этажерка, широкій покойный диванъ—все это было просто, прочно и удобно. И здѣсь, какъ и въ

УД
КО
НО
ВА
НА
НУ
ЭТ
ТИ
ТО
И
И

...Через ...

[illegible]

...настро
...онъ
...на
...на
...на

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

• ЗОМНАТУ.

8. 35000 CV

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1944-1945. 1946-1947. 1948-1949. 1950-1951. 1952-1953. 1954-1955. 1956-1957. 1958-1959. 1960-1961. 1962-1963. 1964-1965. 1966-1967. 1968-1969. 1970-1971. 1972-1973. 1974-1975. 1976-1977. 1978-1979. 1980-1981. 1982-1983. 1984-1985. 1986-1987. 1988-1989. 1990-1991. 1992-1993. 1994-1995. 1996-1997. 1998-1999. 2000-2001. 2002-2003. 2004-2005. 2006-2007. 2008-2009. 2010-2011. 2012-2013. 2014-2015. 2016-2017. 2018-2019. 2020-2021. 2022-2023. 2024-2025. 2026-2027. 2028-2029. 2030-2031. 2032-2033. 2034-2035. 2036-2037. 2038-2039. 2040-2041. 2042-2043. 2044-2045. 2046-2047. 2048-2049. 2050-2051. 2052-2053. 2054-2055. 2056-2057. 2058-2059. 2060-2061. 2062-2063. 2064-2065. 2066-2067. 2068-2069. 2070-2071. 2072-2073. 2074-2075. 2076-2077. 2078-2079. 2080-2081. 2082-2083. 2084-2085. 2086-2087. 2088-2089. 2090-2091. 2092-2093. 2094-2095. 2096-2097. 2098-2099. 2100-2101. 2102-2103. 2104-2105. 2106-2107. 2108-2109. 2110-2111. 2112-2113. 2114-2115. 2116-2117. 2118-2119. 2120-2121. 2122-2123. 2124-2125. 2126-2127. 2128-2129. 2130-2131. 2132-2133. 2134-2135. 2136-2137. 2138-2139. 2140-2141. 2142-2143. 2144-2145. 2146-2147. 2148-2149. 2150-2151. 2152-2153. 2154-2155. 2156-2157. 2158-2159. 2160-2161. 2162-2163. 2164-2165. 2166-2167. 2168-2169. 2170-2171. 2172-2173. 2174-2175. 2176-2177. 2178-2179. 2180-2181. 2182-2183. 2184-2185. 2186-2187. 2188-2189. 2190-2191. 2192-2193. 2194-2195. 2196-2197. 2198-2199. 2200-2201. 2202-2203. 2204-2205. 2206-2207. 2208-2209. 2210-2211. 2212-2213. 2214-2215. 2216-2217. 2218-2219. 2220-2221. 2222-2223. 2224-2225. 2226-2227. 2228-2229. 2230-2231. 2232-2233. 2234-2235. 2236-2237. 2238-2239. 2240-2241. 2242-2243. 2244-2245. 2246-2247. 2248-2249. 2250-2251. 2252-2253. 2254-2255. 2256-2257. 2258-2259. 2260-2261. 2262-2263. 2264-2265. 2266-2267. 2268-2269. 2270-2271. 2272-2273. 2274-2275. 2276-2277. 2278-2279. 2280-2281. 2282-2283. 2284-2285. 2286-2287. 2288-2289. 2290-2291. 2292-2293. 2294-2295. 2296-2297. 2298-2299. 2300-2301. 2302-2303. 2304-2305. 2306-2307. 2308-2309. 2310-2311. 2312-2313. 2314-2315. 2316-2317. 2318-2319. 2320-2321. 2322-2323. 2324-2325. 2326-2327. 2328-2329. 2330-2331. 2332-2333. 2334-2335. 2336-2337. 2338-2339. 2340-2341. 2342-2343. 2344-2345. 2346-2347. 2348-2349. 2350-2351. 2352-2353. 2354-2355. 2356-2357. 2358-2359. 2360-2361. 2362-2363. 2364-2365. 2366-2367. 2368-2369. 2370-2371. 2372-2373. 2374-2375. 2376-2377. 2378-2379. 2380-2381. 2382-2383. 2384-2385. 2386-2387. 2388-2389. 2390-2391. 2392-2393. 2394-2395. 2396-2397. 2398-2399. 2400-2401. 2402-2403. 2404-2405. 2406-2407. 2408-2409. 2410-2411. 2412-2413. 2414-2415. 2416-2417. 2418-2419. 2420-2421. 2422-2423. 2424-2425. 2426-2427. 2428-2429. 2430-2431. 2432-2433. 2434-2435. 2436-2437. 2438-2439. 2440-2441. 2442-2443. 2444-2445. 2446-2447. 2448-2449. 2450-2451. 2452-2453. 2454-2455. 2456-2457. 2458-2459. 2460-2461. 2462-2463. 2464-2465. 2466-2467. 2468-2469. 2470-2471. 2472-2473. 2474-2475. 2476-2477. 2478-2479. 2480-2481. 2482-2483. 2484-2485. 2486-2487. 2488-2489. 2490-2491. 2492-2493. 2494-2495. 2496-2497. 2498-2499. 2500-2501. 2502-2503. 2504-2505. 2506-2507. 2508-2509. 2510-2511. 2512-2513. 2514-2515. 2516-2517. 2518-2519. 2520-2521. 2522-2523. 2524-2525. 2526-2527. 2528-2529. 2530-2531. 2532-2533. 2534-2535. 2536-2537. 2538-2539. 2540-2541. 2542-2543. 2544-2545. 2546-2547. 2548-2549. 2550-2551. 2552-2553. 2554-2555. 2556-2557. 2558-2559. 2560-2561. 2562-2563. 2564-2565. 2566-2567. 2568-2569. 2570-2571. 2572-2573. 2574-2575. 2576-2577. 2578-2579. 2580-2581. 2582-2583. 2584-2585. 2586-2587. 2588-2589. 2590-2591. 2592-2593. 2594-2595. 2596-2597. 2598-2599. 2600-2601. 2602-2603. 2604-2605. 2606-2607. 2608-2609. 2610-2611. 2612-2613. 2614-2615. 2616-2617. 2618-2619. 2620-2621. 2622-2623. 2624-2625. 2626-2627. 2628-2629. 2630-2631. 2632-2633. 2634-2635. 2636-2637. 2638-2639. 2640-2641. 2642-2643. 2644-2645. 2646-2647. 2648-2649. 2650-2651. 2652-2653. 2654-2655. 2656-2657. 2658-2659. 2660-2661. 2662-2663. 2664-2665. 2666-2667. 2668-2669. 2670-2671. 2672-2673. 2674-2675. 2676-2677. 2678-2679. 2680-2681. 2682-2683. 2684-2685. 2686-2687. 26

... 1 - 255 КОМ-

$$0.001 \leq \gamma \leq 100$$

ЗНАМЬ

... 3377-11

1997

[illegible]

1917. 11. 17

тью (выпускных) экзаменов въ 50 душъ. Многие здѣсь и раньше Ермаковъ. Тамъ и тогда классы и мѣстечки были въ изобилии, одѣтыхъ, ездящихъ, и «буржуазныхъ», державшихъ себя аккуратно, какъ въ высшей чистотѣ группѣ. И Ермаковъ, державшая школу—все это Ермаковъ въ чуждой обстановкѣ, загадочнымъ... А между тѣмъ Ермаковъ могъ сказать, что видитъ эту картину въ первый разъ: напередъ, въ общемъ она была для него близкой, родной, но въ ней заключался ширь какой-то новый, сферический смыслъ, котораго онъ не могъ понять. Ермаковъ упорно напрягаетъ память, чтобы что-то припомнить, но только не находитъ выхода, а ерзаетъ.

«Гдѣ же остальные группы? Первую и вторую?»—недоумѣваетъ онъ.

Этотъ новый вопросъ совсѣмъ сбиваетъ его съ толку. Онъ отправляется на поиски за остальными группами, находитъ ихъ въ двухъ слѣдующихъ комнатахъ, такихъ же какъ и его классъ: та же покраска половъ, та же чистота, то же тепло и даже вездѣ одинакова численность учащихся—50 душъ. Первую группу велъ Александръ Кузьмичъ Иваницкій, а вторую—Илья Михайловичъ Тихоновъ. Оба они были бодрѣе, веселы; оба занимались съ увлеченіемъ. «Желаете ли сказать, Николай Ивановичъ?»—какъ бы ворившись, спрашивали они. Ермаковъ извиняется, говоритъ что-то въ свое оправданіе, поспѣшиваетъ назадъ, въ свой классъ, начинаетъ

предыдущей комнатѣ, было тепло; но ни это, ни что-либо иное не обратило уже вниманія Ермакова,—и онъ быстро прошелъ въ третью и послѣднюю комнату своей квартиры—спальню, совсѣмъ миниатюрную, гдѣ могли помѣститься лишь кровать, небольшой ночной столикъ, стулъ,—снялъ съ себя теплый пиджакъ и надѣлъ висѣвшій тутъ же черный суконный сюртукъ.

— Николай Ивановичъ! Не опоздать бы вамъ съ чаемъ,—обратился къ Ермакову Порфирій, аккуратный семнадцатилѣтній паренё, исполнявшій роль повара и горничной.—Черезъ пять минутъ звонокъ...

— Почему же не поданъ самоваръ?—строго спросилъ учитель, какъ бы желая оправдать себя.

— Помилуйте, самоваръ давно готовъ! Вы же изволили быть въ передней...

Ермаковъ поспѣшилъ въ переднюю. На столѣ дѣйствительно стоялъ самоваръ, котораго онъ не замѣтилъ раньше. Онъ второпяхъ налилъ стаканъ чаю, но еще не успѣлъ выпить, какъ за спиной раздался звонокъ.

Ермаковъ поспѣшилъ въ классъ.

Представьте себѣ большую, высокую комнату, съ чистымъ выкрашеннымъ поломъ, бѣлыми сухими стѣнами и съ такой же точно печью, какъ и въ квартирѣ Ермакова. Большая половина комнаты была занята скамьями, простыми, но удобными въ педагогическомъ отношеніи. По стѣнамъ висѣли географическія карты, картины священной исторіи, естествовѣднія. Это и былъ классъ, въ которомъ занимался Ермаковъ; онъ велъ

третью (выпускную) группу, числомъ въ 50 душъ.

Многое здѣсь поразило Ермакова. Тепло и чистота класснаго помѣщенія, внѣшній видъ учениковъ, одѣтыхъ, правда, просто, по-крестьянски, но державшихъ себя аккуратно, наконецъ, численность третьей группы, исправно явившейся въ школу—все это показалось чѣмъ-то непонятнымъ, загадочнымъ... А между тѣмъ, Ермаковъ не могъ сказать, что видить эту картину въ первый разъ; напротивъ, въ общемъ она была для него близкой, родной, но въ ней заключался теперь какой-то новый, сокровенный смыслъ, которого онъ не могъ понять. Ермаковъ упорно напрягаетъ память, чтобы что-то припомнить, но не только не находитъ выхода, а еще больше теряется.

«Гдѣ же остальные группы? Первая и вторая?» — недоумѣваетъ онъ.

Этотъ новый вопросъ совсѣмъ сбиваетъ его съ толку. Онъ отправляется на поиски за остальными группами, находитъ ихъ въ двухъ слѣдующихъ комнатахъ, такихъ же какъ и его классъ: та же покраска половъ, та же чистота, то же тепло и даже вездѣ одинакова численность учащихся—50 душъ. Первую группу велъ Александръ Кузьмичъ Иваницкій, а вторую—Илья Михайловичъ Тихоновъ. Оба они были бодры, веселы; оба занимались съ увлеченіемъ. «Желаете что сказать, Николай Ивановичъ?»—какъ бы сговорившись, спрашивали они. Ермаковъ извиняется, говоритъ что-то въ свое оправданіе, потомъ спѣшитъ назадъ, въ свой классъ, начинаетъ



занятія и, наконецъ, вполнѣ входитъ въ свою роль, все болѣе и болѣе увлекаясь дѣломъ. Голосъ его звучить твердо, самоувѣренно. Ермаковъ забываетъ, гдѣ онъ и кто онъ, чувствуя одно, что онъ учитъ и что его слушаютъ и понимаютъ...

Этотъ приливъ чувствъ лишаетъ его сознанія и что съ нимъ случилось потомъ—онъ не помнить...

....Когда Ермаковъ пришелъ въ себя, зимы уже не было: на дворѣ стояло теплое, весеннее утро,—цвѣли деревья. Веселый и бодрый, онъ вышелъ изъ комнаты, вышелъ такъ просто, чтобы подышать воздухомъ...

Но и тутъ опять странная загадка на первомъ же шагѣ. Въ школу идутъ не только дѣти (ученики), но и взрослые, даже женщины... Школьники идутъ учиться—это ясно... Ну, а посторонніе, ихъ родители?—недоумѣваетъ Ермаковъ. Но толпѣ до этого нѣтъ дѣла: она движется плавно, самоувѣренно; на лицѣ каждаго скользитъ чувство удовольствия, торжества... Крестьяне снимаютъ предъ Ермаковымъ шапки—здороваются, дѣлая это не заискивающе, не рабски, и въ то же время не ради долга, по обязанности, а кланяются отъ души, какъ братья, какъ пріятели. Всѣ они направляются въ зданіе школы; одинъ Ермаковъ стоитъ въ недоумѣніи...

— Николай Ивановичъ, пожалуйста! чай готовъ и васъ ждутъ...

— Ждутъ? Кто меня ждетъ, Порфирій?...

Слуга улыбается.

— Какже! Александръ Кузьмичъ и Илья Михайловичъ... Къ экзамену все готово...

— Ахъ, да!—восклицаетъ Ермаковъ.—Сегодня экзамень! Александръ Кузьмичъ и Илья Михайловичъ пьютъ чай у меня... Такъ, такъ! Я приглашалъ ихъ!..

И Ермаковъ поспѣшилъ въ квартиру.

Но когда они, напившись чаю, вошли въ классъ, бѣднымъ Ермаковымъ опять овладѣло старое чувство непониманія окружающей его обстановки. Теперь уже удивляло его не то, что два класса были набиты народомъ, чинно сидѣвшимъ на скамейкахъ, а третій—представлялъ изъ себя экзаменаціонный залъ съ большимъ покрытымъ зеленымъ сукномъ столомъ, на которомъ лежали книги, дѣловые бумаги,—его удивила именно одна изъ этихъ бумагъ, лежавшая на видномъ мѣстѣ, посрединѣ стола и носившая названіе «Протокола». Протоколъ этотъ состоялъ изъ слѣдующихъ строкъ, по которымъ Ермаковъ съ жадностью пробѣжалъ глазами:

«1894 года, мая 20-го дня. Экзаменаціонная комиссія въ составѣ преподавателей Широко-Спасскаго народнаго училища (такихъ-то законоучителей и учителей), подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго училищемъ Николая Ивановича Ермакова»...

Но тутъ у Ермакова забилося сердце, закружилась голова... Читать дальше онъ не могъ. «Какъ! Онъ, Ермаковъ, предсѣдатель комисіи?

глава всего дѣла?»—подумалъ онъ, боясь проронить звукъ, чтобы этимъ самымъ не выдать своего ложнаго положенія, не лишить себя счастливыхъ обязанностей.— «А Бендебера? Онъ умеръ развѣ?»

И Ермаковъ недоумѣвающе и съ боязнью смотритъ на своихъ сослуживцевъ, учителей и законоучителей, которые стоятъ тутъ-же около стола, веселые, торжествующіе и ѿ чѣмъ-то шепчутся между собой. Этотъ шопотъ еще болѣе приводитъ его въ смущеніе. Ермаковъ готовъ видѣть въ немъ насмѣшку, заговоръ; но сослуживцы такъ хорошо, такъ дружески смотрятъ на Ермакова и, наконецъ, въ одинъ голосъ просятъ сказать «рѣчь»...

— Рѣчь?! Какую?

— Какъ,—какую?! Проведите параллель между тѣмъ, что было, и этимъ счастливымъ временемъ, которое переживаемъ!..

— Счастливымъ временемъ?.. Которое переживаемъ?..

И опѣшившій Ермаковъ еще болѣе недоумѣваетъ.

— Да-да. Объясните народу... Прикоснитесь къ искрѣ и она вспыхнетъ пламенемъ!..

— Къ искрѣ? Прикоснуться вы говорите?..

— Разумѣется! Стоитъ напомнить только, что было до «обязательнаго образованія» и что стало теперь, когда грамота сдѣлалась общимъ достояніемъ народа...

Ермаковъ опустился на стулъ. Последнія слова «обязательное образованіе» разрѣшили всю

загадку, и въ то же время, казалось, лишили Ермакова силъ, нанесли послѣдній ударъ... Но это былъ не тотъ растлѣвающий душу ударъ горя, который надолго окутываетъ человѣка мракомъ унынія, это былъ приливъ животворящей радости, дающій душевный ростъ, увѣренность въ своихъ силахъ...

Такъ случилось съ Ермаковымъ, по крайней мѣрѣ; онъ былъ теперь не жалкимъ, недоумѣвающимъ человѣкомъ, а воодушевленнымъ ораторомъ.

Вотъ что сказалъ онъ, обращаясь къ народу:

— Господа! Я пережилъ тяжелое время потрясающаго душу невѣжества, когда школы ваши тѣснились въ случайныхъ постройкахъ, мрачныхъ, сырыхъ, холодныхъ, не имѣя такимъ образомъ основныхъ двигателей органической жизни—физическаго свѣта и тепла!...

«Тяжелое то было время, господа! Но мы, не щадя силъ, работали съ вами, перенося холодъ, нужду... Едва ли вы насъ понимали, да и могли-ли вы понимать насъ, не признавать лишними, ненужными, видя какъ съ нами на вашихъ-же глазахъ обращалось наѣзжее начальство; какъ выказывали надъ учителемъ свою власть старосты, писаря, даже наши слуги—школьные сторожа!.. Но вотъ, сказали, что мы не отщепенцы, а вѣрные слуги родины и... отвалились отъ «тюрьмъ» позорные оковы и «тюрьмы» пали сами по себѣ.

Тутъ голосъ Ермакова, какъ бы гармонируя паденію тюрьмъ—паль, оборвался... Воспоминанія

о пережитыхъ страданіяхъ и, съ другой стороны, нахлынувшія чувства восторга, торжества побѣды стѣснили его грудь, къ горлу подступили слезы... Онъ напрягаетъ усиліе, чтобы сказать еще нѣсколько словъ, но его вдругъ обдаетъ холодомъ, сыростью... дрожь пробѣгаетъ по всему тѣлу и Ермаковъ просыпается

Холодная и сырая, какъ провалившаяся могила, зіяла въ полумракѣ ночи конура Ермакова... На столѣ виднѣлась порожняя чуть-чуть свѣтившая лампа. Ея тусклый огонекъ, совсѣмъ ушедшій въ глубь, издавалъ удушливую копотъ, а за стѣной бушевалъ вѣтеръ, сердито ударяя въ окна каплями крупнаго ноябрьскаго дождя.

Ермаковъ приподнялся... Первая мысль, пришедшая ему въ голову, была мысль о томъ, что въ лампѣ нѣтъ керосина и что онъ спалъ не раздѣваясь. Но эта мысль мелькнула и исчезла: ее подавило болѣе существенное сознаніе—отчего такъ сыро и холодно?

— Да-да, это оттого, что разбито стекло въ окнѣ... что въ селѣ нѣтъ стекольщика... что приклеенная бумажонка раскисла и отвалилась отъ дождя....

Понимаю!

НА ЛЕТУ



Н А Л Е Т У

(Разсказъ семинариста)

I.

Мнѣ было семь лѣтъ отъ роду, когда отецъ мой, захолустный купчикъ, скоропостижно скончался... Матери я не помню вовсе: смерть унесла ее мѣсяца четыре спустя послѣ моего рожденія. Какъ видите, остался я круглымъ сиротою и, будучи отъ природы слабохарактернымъ и хилымъ, недолго, вѣроятно, процвѣталъ бы на бѣломъ свѣтѣ, если бы отецъ мой не догадался оставить по себѣ «вѣчную память».

Памятью этой было: двадцать тысячъ денегъ, хорошій домъ и много цѣнныхъ вещей.

Сейчасъ явились опекуны... Этимъ почетнымъ званіемъ былъ награжденъ мой дядя (родной братъ отца) и еще какой-то родственникъ плутъ... Деньги отдали въ банкъ, а вещи остались на храненіи... или вѣрнѣе, для наживы опекуновъ. Дядя и другой опекунъ-родственникъ, котораго мнѣ велѣно было называть тоже дядей, «поиграли» съ вещами годикъ, половину ихъ украли, а остальныя порѣшили продать. Проданъ былъ и домъ, который къ тому времени остался съ голыми

стѣнами... Зато вырученными деньгами пополнили сиротскій капиталъ—и хищничество прекратилось.

Цѣтъ, оно продолжалось, но въ болѣе невинной формѣ... Меня взялъ въ свою семью тотъ же милѣйшій дядя-опекунъ, ассигновавъ себѣ за это по 40 руб. въ мѣсяцъ... Я жилъ у него, ѣлъ, спалъ, посѣщалъ городское училище, но готовить уроки дома я не могъ, такъ какъ на мнѣ лежала обязанность нянчить двоюродныхъ братьевъ и сестеръ... О, какъ я возненавидѣлъ ихъ послѣ этого, вы представить себѣ не можете! Ихъ было полдюжины и всѣ они были задорны, капризны—мучили, истязали меня.. Въ присутствіи дяди и тети я ласкалъ ихъ, носилъ на собственной шеѣ, зато послѣ обѣда, когда патроны мои по обыкновенію отдыхали, отправляя меня съ дѣтишками въ садъ,—зато тамъ, въ глухомъ уголкѣ сада, я былъ уже не обездоленнымъ сиротой, а полновластнымъ тираномъ... Поворачиваніе родственныхъ фізіономій назадъ ртомъ, чѣмъ я мстилъ за свое ложное положеніе, до сихъ поръ вызываетъ во мнѣ грустное воспоминаніе...

Родина моя—заштатный городокъ, удивительный притокъ невѣжества, гдѣ даже такіе звѣри, какъ мой дядюшка, свободно могли пользоваться правомъ гражданства. Городское трехклассное училище было тутъ единственнымъ учебнымъ заведеніемъ и представлялось въ глазахъ обывателей чѣмъ-то всеобъемлющимъ, колоссальнымъ... Даже богатые люди охотно отдавали туда своихъ дѣтей. Не удивительно послѣ этого, если и мой дядюшка,

опредѣливъ меня въ то же училище, возгордился достойнымъ образомъ...

Между товарищами-учениками я подружился съ Корневымъ болѣе, чѣмъ съ кѣмъ-либо другимъ. Мы жили по-сосѣдству. Это собственно говоря, и сблизило насъ, такъ какъ Корневъ былъ старше меня и шелъ двумя классами выше.

Онъ былъ бѣденъ... Я привязался къ нему всею душой, просилъ посѣщать нашъ домъ, хотя дядюшкѣ это, видимо, не нравилось. Но скоро дружбѣ нашей пришелъ конецъ: Корневъ однажды сообщилъ мнѣ, что онъ не желаетъ продолжать ученье въ городскомъ училищѣ, а поступаетъ въ семинарію.

— Въ семинарію? какую?—съ изумленіемъ спросилъ я.

— Семинаріи у насъ двухъ типовъ,—не безъ гордости пояснилъ Корневъ:—есть семинаріи духовныя, откуда выходятъ попы, и—учительскія, откуда выходятъ учителя. Понимаешь?

— И ты будешь учителемъ?

— Непремѣнно... Развѣ пропаду...

Смысла этихъ словъ я не понималъ, и они еще болѣе смутили меня.

— А гдѣ же эта семинарія?—спросилъ я.

— Далеко... Верстъ двѣсти отсюда...

— Ты шутишь, Митя? Какъ же это? Не окончивъ училища, и...

— Эхъ ты, отрока!—прервалъ мою рѣчь Корневъ, снисходительно улыбаясь.—Что мнѣ твое училище? Какія оно даетъ права? «Тамъ» вѣдь все-равно не посмотрятъ на это: желаешь поступить—держи экзамень!..

— И ты выдержишь?

— Не надѣялся бы, не ѣхаль...

— А кто же повезетъ тебя? Отецъ?

— Нѣтъ.

— Мать?

— Да что за глупости?! При чемъ тутъ отецъ и мать? Развѣ я ребенокъ!

Слова эти успокоили меня.

«Корневъ не выдержалъ, проговорился—выдалъ свою шутку»—думалъ я. Запуганный и угнетенный, попавшій чуть-ли не съ пеленокъ въ руки опекуна-тирана, я не могъ допустить той мысли, чтобы Корневъ, четырнадцатилѣтній мальчуганъ, одинъ-однимъ рѣшился бы отправиться въ такую даль, да еще попасть въ семинарію. Шутка ли—отыскать эту семинарію, подступить къ директору, держать экзамень?

Къ тому же, мнѣ безъизвѣстно было, въ какой бѣдности жили родители Корнева... Въ училищѣ Корневъ почти всегда жилъ на моемъ хлѣбѣ, да и дома я подкармливалъ его частенько...—«Ну-ка, братецъ, тащи побольше хлѣбца!»—не разъ обращался онъ ко мнѣ.—«Что-то напало обжорство»...

Я уже могъ понимать, что это было не обжорство, а обыкновенное чувство неудовлетвореннаго голода, и я чуть ли не по цѣлому хлѣбу таскалъ у моихъ дражайшихъ опекуновъ.

«Какъ же послѣ этого Корневъ можетъ попасть въ семинарію?—разсуждалъ я.—«Кто его накормить тамъ, одѣнетъ? Да у него даже нѣтъ средствъ доѣхать. Вѣдь не близко—двѣсти верстъ»..

И я успокоился.

А Корневъ увлекся своимъ будущимъ и болталъ безъ умолку... Онъ въ яркихъ краскахъ рисовалъ то, что ожидало его.

— Тамъ ученики называются не «учениками», а «воспитанниками», семинаристами... На нихъ говорить не «ты», а «вы»: они вполнѣ самостоятельны... Тамъ, братъ, не такъ изучаютъ физику, геометрію, какъ мы съ тобой... Тамъ ужъ шутки въ сторону: желаешь быть учителемъ—крѣпись!

— А правда, хорошо быть учителемъ:—продолжалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.—Представь себѣ: въ школѣ учениковъ видимо-невидимо, а ты... суетишься, объясняешь... «Эй, вы, ребята, сидите смирно!»—ради порядка, разумеется, рывенешь на нихъ. «А ты, каналья, опять не приготовилъ уроковъ? Ну-ну! Ты у меня смотри... Оскорблять науку не смѣй. Дураковъ на свѣтѣ и безъ тебя много»...

И я, жалкій, запутанный ребенокъ принималъ все это за шутку, не понимая истиннаго значенія этихъ не дѣтскихъ, а могучихъ словъ,—того чистаго благороднаго восторга, который такъ неудержимо рвался изъ груди мальчишки-мѣщанина, измученнаго, въ дешевой одежонкѣ, но сильнаго душой!... Откуда взялись въ немъ эти стремленія, святыя, неподкупныя, и какъ могли зародиться они въ невѣжественной средѣ потрясающаго душу нищенства?..

Ни отецъ, ни мать не побуждали его на это... Напротивъ, отецъ Корнева, насколько было из-

вѣстно мнѣ, мечталъ опредѣлить сына въ лавочные приказчики, такъ какъ послѣдніе дѣлаются, зачастую, состоятельными людьми: такими же умѣлыми торгашами, какъ и ихъ воспитатели... Все это понятно. Тутъ есть смыслъ, прямая цѣль: голодное невѣжество съ жадностью ищетъ пресыщенія... А мой другъ искалъ иного... Онъ имѣлъ свои идеалы, боролся со взглядами отца... Кто внушилъ ему все это?

— Вася, глупецъ, пойми, что можетъ быть выше учительской дѣятельности?!—въ тотъ же вечеръ со слезою восторга шепталъ онъ.

Но я не понималъ ни словъ Корнева, ни, тѣмъ болѣе, высокаго значенія учительской дѣятельности. Мнѣ казалось одно: Корневъ шутить... И я былъ радъ, молилъ Бога, чтобы все это осталось шуткой...

На другой день, подвечеръ, у воротъ Корнева остановилось нѣсколько фуръ. Сердце во мнѣ дрогнуло... Наканунѣ Корневъ, между прочимъ, сообщилъ мнѣ, что онъ уѣзжаетъ съ мужиками, отправляющими пшеницу къ морю.

— Это будетъ стоить полтинникъ, или и того меньше,—пояснилъ онъ.

Слова эти въ то время показались мнѣ просто смѣшными, теперь же не могло быть сомнѣнія: товарищъ мой взлѣзалъ на фуру... Я подбѣжалъ къ нему, но не могъ вымолвить слова. Корневу было не до меня: у воротъ стояла его мать и плакала.

— Митя! Что дѣлаешь? Куда ѣдешь?—говорила она.

Фурщики переглянулись въ недоумѣніи.

— Такъ какъ же?—проговорилъ одинъ изъ нихъ.—Если того... мы можемъ не взять...

— Мама!—умоляюще произнесъ Корневъ.

Слово это тронуло мать. Она отвернула лицо въ сторону, какъ бы желая пересилить себя, и слабо проговорила:

— Нѣтъ, поѣзжайте... Я отпускаю...

И слезы ручьемъ хлынули изъ ея глазъ.

Корневъ ворочался на мѣшкахъ съ пшеницей, какъ на иголкахъ: слабость матери и огорчала, и злила его.

— Ну, что-же, двигайтесь!—обратился онъ къ мужикамъ.

— Постой, хлопче,—не спѣши!—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, повидимому, хозяинъ фуры, на которой сидѣлъ пассажиръ.—Съ кого же я получу плату?

— Странно... Не вѣрите, что ли? Заплачу я...—съ дасадой проговорилъ Корневъ.—Возьмите!

И онъ подаль мужику двѣ или три серебряныя монеты, въ которыхъ заключалось, вѣроятно, все его состояніе.

Мужики почесали затылокъ, еще разъ переглянулись и, лѣнливо усаживаясь по своимъ мѣстамъ, двинулись въ путь...

— Митя!—сказалъ я, обращаясь къ Корневу и какъ бы только теперь заявляя ему о своемъ присутствіи.

— Ахъ, да!.. Прощай, Вася...—пробормоталъ онъ, оборачиваясь ко мнѣ лицомъ.

И не ласку, не грусть замѣтилъ я въ его глазахъ, а торжество побѣдителя проглядывало въ нихъ. «А что? Не въбрилъ?» — безъ словъ говорилъ онъ.

Обозъ уже скрылся, а я все еще не покидалъ воротъ моего друга. Тутъ же стояла его мать, не переставая плакать. И она, и я молча глядѣли въ даль улицы, пока не отвлекъ насъ грубый голосъ старика-Корнева, обращенный къ женѣ.

— Ступай сюда! Ты же отпустила его...

Старуха ушла въ домъ.

Любопытство ребенка долго еще заставляло меня блуждать около убогой хижины Корнева, откуда вылетали крикъ отца и плачъ матери...

— Что пристаешь?.. Онъ вернется! — неоднократно повторяла она.

Но надежды матери не оправдались. Недѣли черезъ двѣ я отъ нея же узналъ, что Митя выдержалъ экзаменъ въ приготовительный классъ семинаріи и зачисленъ казеннымъ стипендіатомъ.

— Успокойтесь, теперь все кончено! — говорилъ онъ въ своемъ письмѣ къ отцу. — Обременять васъ — ни въ чемъ не стану...

II.

Прошло три года. За это время я окончилъ курсъ въ городскомъ училищѣ и почти забылъ Корнева, который почему-то совсѣмъ не навѣщалъ своихъ родителей. Можете представить теперь мой восторгъ и изумленіе, когда во дворѣ дяди совершенно неожиданно показалась фигура



забытаго друга... Я не вѣрилъ, что сказать Корневу на его здоровствуй, Вася!» Меня поразило все: и то, что по-сѣтилъ онъ родину, и то, что онъ не забылъ меня, и его теперешній видъ. Онъ измѣнился поразительно и только прежняя добродушная улыбка, казавшаяся теперь далеко сдержаннѣе, будила въ его фізіономіи знакомыя черты.

Корневу было всего семнадцать лѣтъ, но по виду онъ казался не мальчикомъ и не юношей, а вполне сформировавшимся человѣкомъ, средняго роста, стройнымъ, плечистымъ. Худощавое, смуглое лицо его, съ неправильными чертами, выглядѣло на первый взглядъ какъ-бы непривлекательнымъ, даже суровымъ, зато оно главнымъ образомъ и говорило теперь о возмужалости Корнева. Казалось страннымъ, почему природа не украсила Корнева почтенной бородкой и усиками, какъ это бываетъ съ людьми въ 25 лѣтъ.

Но если я могъ уже понимать и цѣнить все это, то какъ понять то обстоятельство, что даже такой невѣжда, какъ мой дядюшка, при видѣ Корнева, совсѣмъ растерялся. Что могло смутить этого записного кулака, непризнававшего въ жизни ничего иного, кромѣ одной наживы?

— Митюкъ, что-ли? Да какъ же это... ты... вы... совсѣмъ того... и не узнать...—съ глупой фізіономіей льстеца проговорилъ дядя и сунулъ Корневу свою воровскую длань.

Корневъ снялъ фуражку съ принужденнымъ почтениемъ и молча отвѣтилъ рукопожатіемъ.

— Воно что!... Во какъ!..—пилилъ дядя, не зная, что сказать дальше, и какъ-бы избѣгая хладнокровнаго взгляда Корнева, внушавшаго къ себѣ уваженіе.

— Значить, вы гдѣ же? Въ «симианіи» или какъ яво, тоё самое училища?...

— Да-да... Тамъ же, тамъ... въ семинаріи,—выручилъ дядю Корневъ, сдерживая на устахъ извительную улыбку.

— Та-акъ-съ! Ето, значитъ, того... до-подлинно хорошо!.. Не ожидалъ!..—и философъ-дядюшка совсѣмъ смутился.

Не знаю до чего бы дошелъ этотъ комизмъ, если бы опекунъ мой послѣ своихъ словъ не ретировался, проскользнувъ бочкомъ въ открытую дверь коридора. Я сгораль отъ наслажденія, которое доставила мнѣ вся несостоятельность невѣжды-кулака предъ лицомъ семнадцатилѣтняго юноши.

«А что, откормленный младеничъ, чувствуешь?!»—готовъ былъ выкрикнуть я.

— Однако, твой патронъ не перестаетъ толстѣть,—замѣтилъ Корневъ.—Что же, попрежнему торгуетъ онъ шерстью и кожами или стремится облагородить себя мануфактурой?

Тутъ Корневъ дружески улыбнулся. Я пригласилъ его въ садъ и мы усѣлись на скамьѣ.

— Знаешь, Митя, какъ я радъ тебѣ!—съ дѣтскимъ восторгомъ воскликнулъ я.—Ты не можешь представить себѣ, Митя, до чего изумили меня мои опекуны!—Теперь я окончилъ наше училище, и то чуть ли не съ бою... «До-

вольно», говоритъ дядюшка, «на кой чортъ эти науки! Пора пріучаться къ торговому дѣлу»...

— А что же? Онъ говоритъ правду,—замѣтилъ Корневъ, улыбаясь.—Вѣдь его намѣренія...

— Да-да... Но шутить мы будемъ послѣ,—прервалъ я рѣчь друга.—А теперь позволь мнѣ высказать—какъ хорошо то, что ты произвелъ на него благопріятное впечатлѣніе...

— Во-первыхъ,—минуту помолчавъ, продолжалъ я,—еще никогда его невѣжество не отличало въ немъ такой потѣшной глупости, съ какой онъ сейчасъ встрѣтилъ тебя, а во-вторыхъ, твое пребываніе здѣсь вообще послужить для меня большой опорой: авось пойметъ и дядюшка, что образованіе дѣйствительно приноситъ пользу.

— Кстати, каковы твои планы на счетъ ученія? Или ты еще не рѣшилъ?—спросилъ Корневъ.

— Какже, я остановился на одномъ: думаю поступить въ «реальное».

— Гм...

— А что?

— Ничего... Который тебѣ годъ?

— Пятнадцать.

— Видишь-ли, для «реальнаго» ты переросъ.

— Почему? Полагаю на годъ уѣхать въ городъ, взять учителя и держать экзаменъ въ четвертый классъ.

— Да, это было бы недурно, но...

И Корневъ не досказалъ.

— А почему тебѣ и въ самомъ дѣлѣ не пойти по торговой части?—продолжалъ онъ, какъ-то неестественно улыбаясь.—Развѣ это такъ дурно?

Я уже былъ довольно самолюбивъ и, какъ мнѣ казалось, прекрасно понималъ, что хорошо и что дурно. Но не успѣлъ я высказать своего негодованія противъ всей пошлости мелочного торгашества, какъ Корневъ сжалъ мою руку.

— Вася! Я безъ словъ понимаю тебя. Прости! Поступай въ семинарію—вотъ мой совѣтъ... Слышишь?

Я поглядѣлъ на Корнева. Онъ улыбнулся. И въ улыбкѣ, и во взглядѣ его было что-то въ высшей степени искреннее, располагающее. Семинарія, о которой я и не думалъ раньше, теперь показалась для меня заманчивой, и только теперь я убѣдился, что стремленіе мое попасть въ «реальное» было далеко неосновательнымъ.

— Не знаю... можетъ быть,—процѣдилъ я, стараюсь быть взрослымъ и скрывая свой дѣтскій восторгъ.—Вѣдь семинарія для меня совсѣмъ не знакома...

Корневъ пріѣхалъ домой на лѣтнія каникулы. Мы встрѣчались часто, почти ежедневно.

Теперь семинарію я представлялъ себѣ яснѣе бѣлаго дня. Общество ея питомцевъ, крѣпкихъ физически и неиспорченныхъ нравственно молодыхъ людей, вышедшихъ изъ народной массы и стремящихся къ ея просвѣщенію, оказалось въ моихъ глазахъ вполне достойнымъ того, чтобы быть его членомъ. Разумѣется, восторгу нашему не было границъ, когда мой опекунъ-воспитатель, послѣ долгихъ колебаній, рѣшилъ, наконецъ, выпустить меня изъ своихъ надежныхъ лапочекъ.

— Ёдемъ!—объявилъ я Корневу.—Только,

ради Бога, скорѣе! Если возможно—завтра, на-
дняхъ... Ахъ, когда избавлюсь я отъ этой глупой
опеки?!

Корневъ окинулъ меня страннымъ, безпокой-
нымъ взглядомъ. Такъ обыкновенно глядятъ лю-
ди, когда они сознаютъ себя обязанными выска-
зать то, о чемъ непріятно говорить и чего они
не могутъ скрыть по-долгу.

— Ты, конечно, не предполагаешь, Вася, что
пути наши могутъ разойтись,—съ грустной улыб-
кой сказалъ Корневъ.—А это такъ: ѣхать на-
задъ въ ту же семинарію, гдѣ я состою теперь—
я не могу... Я перехожу въ другую...

Слова Корнева обезоружили меня. Я почув-
ствовалъ себя ничтожнымъ, слабымъ, неспособ-
нымъ жить безъ опеки.

Корневъ, вѣроятно, понялъ это и, какъ-бы
желая успокоить и вразумить меня, прибавилъ
серьезнымъ, ободряющимъ тономъ:

— Согласись, Вася, что это совсѣмъ неваж-
но. Дружба тутъ непричемъ: она можетъ уцѣ-
лѣть всегда, лишь бы мы желали этого. Я отъ
души совѣтую тебѣ ѣхать именно въ «нашу»
семинарію: тамъ учебное дѣло поставлено несрав-
ненно выше той, въ которую я перевожусь.
Меня же заставляетъ крайность.

Тутъ Корневъ сообщилъ мнѣ, что у него вы-
шло серьезное «столкновеніе» (!) съ однимъ изъ
преподавателей и не мало удивился, когда
услышалъ отъ меня, что для насъ не можетъ
быть двухъ разныхъ путей, двухъ отдѣльных
семинарій.

Черезъ недѣлю мнѣ купили чемоданъ, приготовили одежду, бѣлье, и я, съ сотней рублей въ карманѣ, летѣлъ на парѣ почтовыхъ, радостно засматривая въ глаза сидящему со мной Корневу.

И дѣйствительно, минуты эти были лучшими въ моей жизни. Ни до этого, ни послѣ—мнѣ не приходилось переживать ничего болѣе пріятнаго. Широкая, вольная степь, быстрый бѣгъ почтовой пары, побрякиванье колокольчика и, наконецъ, близкое присутствіе человека, который былъ для меня дороже всего на свѣтѣ,—все это какъ-то особенно пріятно нѣжило мое осиротѣлое сердце, влекло меня впередъ, къ новой, еще неиспытанной жизни, о чемъ я раньше могъ только мечтать, страхась, въ тоже время, за несбыточность своей мечты! А дальнѣйшія впечатлѣнія дороги все болѣе усиливали это чувство! Мы подѣхали къ вокзалу, пролетѣли нѣсколько станцій по желѣзной дорогѣ, потомъ пересѣли на пароходъ и трое сутокъ плыли по Днѣпру, разсматривая берега, пристани, стоящія по пути сѣла, города—все то, что, повидимому, вовсе не заслуживало вниманія.

И я, и Корневъ увидѣли Днѣпръ въ первый разъ. Душѣ моего друга уже не чужда была поэзія. Онъ, какъ бы гармонируя окружающимъ его предметамъ, напѣвалъ подъ носъ пріятно-грустные украинскіе мотивы и, повидимому, находилъ красу и въ спокойной глади величавой рѣки, и въ ея берегахъ: то возвышенныхъ, лишенныхъ растительности и испещренныхъ мрач-

ными обрывами, то низменныхъ, окутанныхъ сплошнымъ вѣнкомъ печальныхъ ивъ.

— Смотри, Вася: вонъ тамъ, видишь ли, двѣ ивы совершенно слились макушками?—въ восторгѣ шепталъ онъ.—Такъ и кажется, что это двѣ родныя сестры, два неразлучныхъ друга навѣки замерли въ объятіяхъ... Какъ было бы пріятно полежать подъ ихъ тѣнью, подслушать ихъ шопотъ, уяснить себѣ нѣмой смыслъ этой невинной любви.

И я смотрѣлъ... Но ни эти, дѣйствительно чудныя ивы, ни все, что попадалось тогда моему взору, не будило во мнѣ того пріятно-грустнаго и трогательно-нѣжнаго чувства, какимъ познается тайна поэзіи. Не успѣло ли это чувство проснуться въ моей груди, или его заглушала эгоизмъ—такъ неожиданно нахлынувшее счастье.

«Ты свободенъ, счастливъ—завидуемъ тебѣ!» казалось, шептало мнѣ все, что было уловимо глазомъ.

На четвертые сутки мы прибыли въ Херсонъ.

III.

Если Херсонъ и теперь свято сохраняетъ за собою названіе грязненькаго еврейскаго города, то, судите сами, чѣмъ онъ былъ лѣтъ 18—20 тому назадъ... По его мостовымъ съ оригинальными подъемами и выбоями, какъ бы съ цѣлью устроенными рачителями города въ наказаніе многотерпѣливымъ горожанамъ, лежалъ толстый

слой ѣдкой известковой пыли, по которой нужно было бродить, въ буквальныйъ смыслѣ слова. Въ постройкахъ—никакой симметріи, даже лучшія зданія, при отсутствіи всякой архитектуры, какъ бы кривлялись другъ передъ другомъ, выглядывая мрачными, неряшливыми... Словомъ, Херсонъ произвелъ на меня впечатлѣніе чего-то крайне нечистоплотнаго, беспорядочнаго, удушливаго, тѣмъ болѣе, что мы посѣтили его въ началѣ августа, когда въ воздухѣ стояли мертвое затишье и нестерпимый зной.

Гостиница, въ которой остановились мы, помѣщалась въ большомъ двухъэтажномъ домѣ и занимала весь нижній этажъ. Два длинные мрачные коридора, соединяясь подъ угломъ съ третьимъ и образуя въ этомъ соединеніи букву «П», раздѣляли все помѣщеніе гостиницы на двѣ параллели номеровъ, одна изъ которыхъ выходила окнами на улицу, а другая—во дворъ. Такимъ образомъ, помимо номеровъ для пріѣзжихъ, въ серединѣ помѣщенія оставался правильный прямоугольникъ, заключавшій въ себѣ три-четыре комнаты, совершенно темныя, если не считать за свѣтъ тотъ полумракъ коридоровъ, которыми освѣщались онѣ.

Въ этомъ то уголкѣ и пріютился самъ содержатель гостиницы еврей Самуиль съ женой и двумя дочерьми.

Которая изъ дочерей Самуила была старше—Раиса или ея сестра (имени послѣдней я не помню, равно какъ и ихъ фамиліи)—опредѣлить было трудно. Раиса по виду, то-есть, по своей

миниатюрной фигуркѣ, прелестному, еле расцвѣтшему личику, казалась пятнадцатилѣтнимъ ребенкомъ, но въ ея глазахъ виднѣлась зрѣлая мысль, въ манерахъ—тактъ, а высокая грудь явно говорила, что подъ складками одежды, въ глубинѣ этой груди билось сердечко взрослого человека. Сестра Раисы—высокая, плотная еврейка, общавшая, повидимому, въ недалекомъ будущемъ еще болѣе высокую и болѣе плотную фигуру, выглядѣла такъже далеко нерасцвѣтшей, почему и ей можно было дать не болѣе пятнадцатилѣтнихъ. Между сестрами положительно не было никакого сходства. Вторая изъ нихъ близко напоминала отца, рослаго рыжебородаго іудея; Раиса же, по своей прелестной, нѣжной, изящно выхоленной природѣ, такъ далеко стояла отъ родственной ей семьи, что казалось просто невѣроятнымъ, какъ могла попасть она въ этотъ душливый омутъ невѣжественнаго жидовства.

Впрочемъ, отецъ ея Самуиль, оказался весьма симпатичнымъ. На видъ ему можно было дать лѣтъ подъ сорокъ, хотя, на самомъ дѣлѣ, онъ былъ старше. Что было въ немъ особенно привлекательно—такъ это прежде всего открытый добродушный взглядъ спокойныхъ темно-карихъ очей, лишенный іудейской хитрости, а затѣмъ—отсутствіе той поразительной склонности къ униженію, на которую такъ падко іудейское племя въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло касается наживы. Самуиль, напротивъ, держалъ себя съ достоинствомъ, ничуть не заискивая предъ своими гостями, которыхъ онъ принималъ какъ то особенно, по-пріятно.

тельски. Онъ былъ бѣденъ, держалъ гостиницу, насколько помнится, всего второй годъ, а до того жилъ въ одной изъ деревень Херсонской же губернии. За дочерьми Самуилъ слѣдилъ зорко, и они побаивались его, какъ показалось мнѣ по крайней мѣрѣ. Маленькая изящная Раиса, по-видимому, была его любимицей, и въ то время, какъ сестра ея дѣятельно хлопотала по хозяйству, бѣгая съ утра до ночи по номерамъ гостиницы,—то съ самоварами, то съ пустыми или наполненными водой графинами—Раиса не принимала никакого участія въ этой рабской суетливости. Она даже одѣвалась лучше сестры и жила въ домѣ отца какъ бы на правахъ гостыи.

Жены Самуила я не помню. Кажется, ея вовсе не было въ то время.

Я и Корневъ поселились въ одномъ номерѣ, надъ дверью котораго, какъ сейчасъ вижу, красовалась уродливая цифра «7». Номеръ этотъ принадлежалъ къ той галлерей каморокъ, которая выходила окнами на улицу, и былъ тѣсенъ, мраченъ, объ одномъ окнѣ, у котораго торчало деревцо, до того покрытое уличной пылью, что ни по листьямъ, ни по корѣ нельзя было опредѣлить его породу. Удушливая специфическая вонь, одинаково свойственная большинству провинціальныхъ гостиницъ и даже многимъ столичнымъ, крѣпко забуравила въ носу при входѣ въ номеръ.

— Здѣсь вамъ будетъ хорошо!—сказалъ сопровождавшій насъ Самуилъ.—Здѣсь окно на улицу... Вы можете держать его открытымъ даже ночью—у насъ неопасно.

Ни Корневъ, ни, тѣмъ болѣе, я, ничего не возразили на это, и Самуиль, съ самодовольнымъ видомъ человѣка, доказавшаго великую истину, исчезъ за дверью. Черезъ полчаса онъ явился снова и попросилъ у насъ «видъ». Корневъ досталъ изъ чемодана свой отпускной билетъ и мой паспортъ—тотъ обыкновенный видъ на жительство, какой выдается у насъ непривилегированному классу. Получивши наши документы, Самуиль опять скрылся, но на этотъ разъ и мы послѣдовали за нимъ.

— Значить, вы учитесь въ семинаріи?— обратился Самуиль къ Корневу, усаживаясь на своемъ неизмѣнномъ мѣстѣ, за столомъ, у входа въ гостиницу, вблизи окна коротенькаго коридора, отъ котораго уже шли два слѣдующіе—длинные и мрачные.—Въ третьемъ классѣ? Да?

— Какъ видите.

Самуиль опять перевелъ взглядъ на билетъ Корнева и прочелъ вслухъ:

«Предъявитель сего, воспитанникъ 3-го класса Н...ской учительской семинаріи, Дмитрій Корневъ...»

Тутъ Самуиль остановился.

— А сколько классовъ въ семинаріи?—съ добродушной улыбкой спросилъ онъ.

— Всего три, не считая приготовительнаго.

— Значить, черезъ годъ вы окончите ученье?

— Вѣроятно.

— А чѣмъ будете тогда?

— Для насъ выходъ одинъ... Разъ семинарія учительская, судите сами, какая служба ждетъ насъ.

— А... Учительская... Это хорошо!

Наступило молчаніе. Самуиль въ третій разъ устремилъ свой взглядъ на лежавшій передъ нимъ документъ, а въ глазахъ Корнева сверкнулъ язвительный огонекъ, смѣнившійся черезъ минуту широкой насмѣшливой улыбкой. Можно было ожидать, что Корневъ вотъ-вотъ выкинетъ злую шутку надъ наивнымъ іудеемъ.

— Да,—разсѣянно процѣдилъ Самуиль.— Учительская семинарія есть и у насъ, въ Херсонѣ.

Насмѣшливое выраженіе на лицѣ Корнева мгновенно исчезло, уступивъ свое мѣсто серьезной сосредоточенности. Онъ присѣлъ на кончикъ стула, противъ Самуила.

— А какъ далеко отсюда семинарія-то ваша?—скажите кстати.

— Не особенно... Но все-таки изрядно... На «Военномъ форштадтѣ»... Знаете «Военный форштадтъ»?

— Къ сожалѣнію, нѣтъ. Я въ Херсонѣ впервые.

— А...

Появленіе Раисы, приближавшейся изъ глубины мрачнаго коридора по направленію къ отцу, прервало рѣчь послѣдняго. Онъ бросилъ на дочь серьезный, недоумѣвающий взглядъ, который, впрочемъ, нисколько не смутилъ ее. Напротивъ, она смѣло глядѣла на отца, привѣтливо улыбаясь. Остановясь за спиной Самуила, лицомъ къ намъ, Раиса приняла серьезный видъ безучастной слушательницы.

— Они спрашиваютъ—далеко ли отсюда семинарія?—Какъ полагаешь, Раиса? Версты двѣ, три?

— Я вовсе не знаю, гдѣ она.

Голосъ прелестной, миниатюрной Раисы прозвучалъ тихо, мелодично. Она остановила свой взглядъ на Корневѣ, потомъ перевела его на меня. Я не выдержалъ такого испытанія, глупо засуетился, хотѣлъ было сѣсть, но не найдя для себя мѣста, поспѣшно ушелъ въ номеръ.

Корневъ оставался еще около часу.

О чемъ онъ бесѣдовалъ съ Самуиломъ и все время была ли тамъ Раиса — не знаю. Для меня осталось извѣстнымъ лишь то, что рыжебородый Самуиль съ своей дочкой произвели на моего друга хорошее впечатлѣніе.

Точно такое же впечатлѣніе произвели они и на меня.

IV.

Того же дня, подвечеръ, мы посѣтили семинарію. Директоръ ея, малорослый добродушный старичокъ, принялъ Корнева весьма мило, меня же просто не замѣтилъ, такъ какъ я искусно прятался за спиной друга.

Переводиться изъ Н...ской семинаріи въ Херсонскую директоръ не посовѣтовалъ Корневу, мотивируя это тѣмъ, что остается поучиться одинъ годъ, изъ-за котораго не стоитъ мѣнять училище, а когда онъ услышалъ, что Корневъ вдобавокъ еще казенный стипендіатъ, нашелъ его затѣю легкомысленной, положительно несбыточной.

— Знаете-ли,—воскликнулъ директоръ, приближаясь къ Корневу и засматривая ему въ глаза

съ какой-то смѣшной серьезностью, свойственной однимъ лишь добродушнымъ старикамъ,—знаете ли—переводъ казенныхъ стипендіатовъ допускается лишь съ разрѣшенія попечителя округа?! А это длинная и нелегкая музыка!.. Тутъ сколько переписки и всякихъ справокъ, а, главное, нужно, чтобы директоръ «вашъ» призналъ за вами уважительныя причины; въ противномъ случаѣ...

Тутъ директоръ вытянулъ впередъ свою маленькую, сѣдую, высохшую головку, ребячески отдулъ губки и выпустилъ какъ бы невольное, глухое, еле уловимое слухомъ—«пuffъ!»

Корневъ улыбнулся.

— Да, вы правы... Если такъ, меня дѣйствительно не отпустятъ: уважительныя причины вообще отыскиваются нелегко...

— Вотъ видите, вы сами понимаете дѣло! Нѣтъ, поѣзжайте назадъ, учитесь... Дай Богъ вамъ получить хорошее мѣсто... И я увѣренъ, вы получите его... До-свиданія!

Директоръ, къ великой моей зависти, дружески пожалъ руку Корнева, а меня и тутъ не замѣтилъ. И мы ушли...

— Славный старичекъ, но большой чудакъ—иронически процѣдилъ Корневъ, выходя со двора семинаріи.—Ты знаешь, Вася, въ чемъ тутъ суть дѣла? Допустимъ, директоръ говоритъ правду: казеннымъ стипендіатамъ переводиться дѣйствительно трудно, но вѣдь у этого комичнаго старичка на умѣ было совсѣмъ иное...

Корневъ помолчалъ.

— Изъ семинаріи въ семинарію,—съ види-

мой раздражительностью продолжалъ онъ,—равно какъ изъ другихъ учебныхъ заведеній перелазить въ большинствѣ случаевъ одна сволочь. Изъ Херсонской, на примѣръ, семинаріи въ нашу является отпѣтая дрянь: дураки или пьяницы,—и неудивительно, если господа директора гонятъ ихъ въ шею... Но почему бы и тутъ не быть исключенію, разъ ему отводится мѣсто вездѣ!

Почти весь путь отъ «Военнаго форштадта» до «Бѣлаго Лебедя» (такъ называлась наша гостиница) Корневъ болталъ безъ умолку. Тонъ его рѣчи, будучи въ началѣ раздражительнымъ, подъ конецъ сталъ спокойнымъ, даже игривымъ, и хотя свѣжая неудача не особенно огорчила его, но все же была ему не по-сердцу, какъ онъ ни старался скрыть это... Тѣмъ не менѣе, тогда же Корневъ счелъ нужнымъ посѣтить Потемкинскій бульваръ, гдѣ долго любовался памятникомъ «Свѣтлѣйшаго»—этимъ единственнымъ украшеніемъ Херсона. Затѣмъ, плотная евреечка подала намъ самоваръ и мы, какъ ни въ чемъ не бывало, весело распивали чай, тутъ же составивъ планъ нашихъ будущихъ дѣйствій слѣдующимъ образомъ: дня на три, на четыре рѣшили остаться въ Херсонѣ, а потомъ двинуться къ роднымъ берегамъ, въ Н...скую семинарію.

Весь вечеръ Корневъ видимо искалъ встрѣчи съ Раисой. Онъ разсѣянно блуждалъ по коридорамъ и даже нѣсколько разъ проскользнулъ во дворъ, тѣмъ именно безконечнымъ, тускло-освѣщеннымъ коридоромъ, изъ котораго шла дверь въ комнату Раисы. Они встрѣчались часто,

но встрѣчи ихъ были мимолетны. Самуилъ сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ, углубившись надъ книгой еврейской печати (вѣроятно, религіознаго содержанія) и, такимъ образомъ, служилъ вѣрнѣйшимъ залогомъ ко всеобщему благочинію.

Мы ушли къ себѣ въ номеръ, а когда черезъ полчаса вышли вновь, Самуила уже не было; исчезла со стола и его заветная книга, зато не появлялась и Раиса. Это смутило Корнева. Онъ взялъ меня подъ руку и мы лѣниво поплелись по тѣмъ же безконечнымъ, грязненькимъ, тускло освѣщеннымъ коридорамъ. «Сонце нызенько, вечеръ близенько...», — тихо замурлыкалъ Корневъ любимый напѣвъ, и какъ бы въ отвѣтъ на эти звуки, у подъѣзда гостиницы послышался звонкій, искусственный смѣхъ Раисы. Рука Корнева порывисто выскользнула изъ подъ моего плеча, мотивъ пѣсни оборвался и Корневъ, бросивъ въ мою сторону любовный взглядъ и проговоривъ некстати: «пойдемъ, что-ли?», быстрымъ шагомъ поспѣшилъ на крыльцо. За нимъ послѣдовалъ и я. Евреечки-сестры были однѣ.

Раиса стояла у перилъ крылечка, слегка облокотясь, и продолжала оставаться въ той же позѣ и послѣ нашего появленія. Корневъ остановился визави, у противоположныхъ перилъ крылечка, а я — у двери. Безымянная евреечка, вылитая копія отца, неподвижно сидѣла на одной изъ ступенекъ крылечка, глядя на улицу. Привѣщенный на одномъ изъ четырехъ высокихъ каменныхъ

столбовъ подъѣзда большой фонарь, съ черными отъ копоти стеклами, бросалъ на улицу тусклую полоску свѣта, еле освѣщая заднюю часть площадки, гдѣ стояла Раиса, отчего вся фигура ея казалась теперь заманчивой болѣе обыкновеннаго. Она встрѣтила Корнева слегка безпокойнымъ взглядомъ, настолько же привѣтливымъ, какъ и ея преждевременная, непринужденная улыбка.

— Что, какъ ваши поиски? Удачны?—спросила она.

Голось Раисы, обращенный къ Корневу въ то время, когда тотъ еле успѣлъ перешагнуть порогъ и остановиться, прозвучалъ мягко, мелодично; съ легкимъ, еле уловимымъ оттѣнкомъ дрожи.

— Да. Но однако вашъ «форшта-д-тъ»!... Его такъ же трудно отыскать, какъ и выломать на языкѣ.

«Копія Самуила» быстро повернула свою рыжую голову и наивно захохотала.

Раиса улыбнулась.

— Вы были правы,—продолжалъ Корневъ, обращаясь къ Раисѣ.—Туда добраться не такъ легко... Верстъ, вѣроятно, пять, если не больше.

— Нѣтъ, нѣтъ, не правда! Пяти не будетъ,—пролепетала «копія Самуила».—Я была тамъ нѣсколько разъ... Это совсѣмъ не далеко.

Корневъ улыбнулся.

— Хорошо, пусть будетъ такъ, соглашаюсь! Но согласитесь и вы, что пройти къ форштадту по такой жарѣ, пыли и прочей уличной мерзо-

сти—настоящій подвигъ. И теперь я говорю неправду? Да?

Въ этихъ словахъ Корнева сказывалась обычная иронія—лучшій даръ его природы.

— Конечно, неправда! Вы опять говорите неправду!—отрубила рыжеволосая евреечка.

Корневъ отъ души захохоталъ.

— Хорошо! Еще разъ уступаю вамъ!.. Въ такомъ случаѣ помогите исправить мою «неправду». Или въ моихъ словахъ одна несправедливая ложь? — И вы такого же мнѣнія?—обратился онъ къ Раисѣ.

— Да...

Головка Раисы дрогнула, а лицо ея украсила широкая, прелестная улыбка.

— Нѣтъ, нѣтъ, простите! Я совсѣмъ иного мнѣнія!—поспѣшила крошечная, очаровательная Раиса.—Я полагаю, что сестра шутить, а вы говорите правду.

— Благодарю. — А вы что скажете теперь?

Но сестра Раисы, къ которой относился этотъ вопросъ, хохотала какъ ребенокъ. Пожалуй, и она была-бы хороша, если-бы ее не шокировали рыжіе, сбитые спереди въ завитушку волѡсы, длинный израильскій носъ, широкая спина, толстая талія.

— Значить, Херсонъ вамъ не нравится?—спросила у Корнева Раиса.

— Какъ бы вамъ сказать!... Памятникъ Потемкина хорошъ, а все остальное такъже обыкновенно и грязно, какъ и вездѣ въ провинціи...— Нѣтъ, Херсонъ вашъ особенно грязенъ,—шут-

ливо прибавилъ Корневъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— А вы гдѣ живете?—вмѣшалась сестра Раисы.

— Мы живемъ среди полей и лѣсовъ дремучихъ! — Знаете цыганскую пѣсню?

— Цыганскихъ пѣсней я не знаю и знать не хочу... Я знаю и люблю однѣ малороссійскія!

— Вы опять шутите?

— Нѣтъ,—говорю серьезно... И даже, если хотите, знаю вашу любимую пѣсню: «Сонце нызенько, вечеръ близенько, скачу до тебе мое серденько».

Слова пѣсни были произнесены скороговоркой, послѣ чего евреечка залилась громкимъ смѣхомъ.

Всѣ невольно засмѣялись.

— Однако, какая вы милая!—съ восторгомъ воскликнулъ Корневъ.—Теперь я охотно вѣрю вашимъ словамъ. Только не «скачу», а «лечу»... до тебе мое серденько...

— Развѣ не все равно, что «скачу», что «лечу»?

Фраза эта была сказана чисто по-малорусски, съ неподражаемымъ національнымъ выговоромъ и опять закончилась дѣтскимъ смѣхомъ.

— Однако вы прекрасно владѣете хохладскимъ языкомъ—ей-Богу! Вы удивляете меня,—все съ тѣмъ же восторгомъ проговорилъ Корневъ.—Откуда вы захватили эту благодать?

— Жили въ деревнѣ,—отвѣчала Раиса.—Я-то, собственно говоря, училась въ то время

здѣсь, въ прогимназіи, а вотъ сестра... Она въ этомъ отношеніи мастерица.

— Вы гдѣ жили? То-есть, въ какой губерніи?

— Здѣсь же, въ Херсонской... Верстъ 40 отсюда... Отецъ арендовалъ хуторъ.

— Занимались земледѣліемъ?

— Да.

— А теперь?

— Теперь, какъ видите, держимъ за крылья «Бѣлаго Лебедя».

Раиса улыбнулась.

— И вправду странное названіе. Кто это далъ такую оригинальную кличку вашей гостиницы? Не вы ли?

При этомъ вопросѣ Корневъ перевелъ взглядъ на «копію Самуила».

— Спойте «Сонце нызенько»,— вмѣсто отвѣта сказала она, скорчивъ хорошенькую рожицу.—Мнѣ нравится, какъ вы поете.

— Спасибо... Но все же я пѣть не стану! Развѣ вмѣстѣ съ вами?

— Хорошо.

— О, нѣтъ, простите! Я вовсе пѣть не стану. Я спою одинъ, только не сейчасъ, а послѣ—передъ отѣздомъ...

— А скоро уѣзжаете?—спросила Раиса съ легкой дрожью голоса.

— Да... Побудемъ денька два, три...

Эта игривая дѣтская бесѣда продолжалась весь вечеръ. Раиса говорила мало. Но она была хороша и безъ этого. Ея взглядъ, улыбка, голосъ, малѣйшія движенія, вся ея фигура—ды-

шали прелестью, неподдѣльной, врожденной. Правда, и Раиса была наивна, но вѣдь наивность—общая дѣтская добродѣтель. Къ тому же у Раисы и эта черта была оригинальной, такой же нѣжной, какъ и вся ея духовная природа.

Корневъ, по обыкновенію, велъ себя какъ веселый, неглупый юноша, знающій себѣ цѣну, высказывая подчасъ далеко не дѣтскіе взгляды на вещи, и если бы его рѣчь лишить игривой шутливости, если бы Корневъ не умѣлъ такъ осторожно и такъ удачно щекотать чужое самолюбіе—онъ многое проигралъ бы въ глазахъ Раисы.

Теперь же ихъ отношенія другъ къ другу видимо опредѣлились. Раиса жадно ловила каждую его фразу: она, какъ ребенокъ, восторгалась рѣчью Корнева и не скрывала своего восторга. Корневъ и въ этомъ отношеніи былъ значительно выдержаннѣе; въ немъ и тутъ сказывалась вся мощь мужской породы. Онъ слѣдилъ за Раисой осторожно, какъ бы улавливая лишь тѣ моменты, въ которые она была особенно хороша.

Я за весь вечеръ не проронилъ ни звука, если не считать за звуки шорохъ тихаго, стыдливаго смѣха,—а рыжая «копія Самуила» отличалась за всѣхъ.

Когда въ глубинѣ коридора часы глухо пробили двѣнадцать, Раиса нервно выдернула изъ-за пояса золотые часики, прищурила глазки и тревожно засуетилась, а сестра ея, какъ бы понимая этотъ нѣмой сигналъ больше самой Раисы, съ дикой прытью проскользнула во внутрь го-

стиницы прежде, чѣмъ мы могли опомниться. За нею ушла и Раиса, но какъ-то нерѣшительно, лѣнливо. Сдѣлавъ два-три шага и остановясь у двери, оставшейся послѣ сестры открытой, она слегка повернула назадъ простоволосую головку и тихо прошептала: «покойной ночи!.. пора!..»

Я не видѣлъ ея взгляда, улыбки, но въ голосѣ Раисы можно было замѣтить отгѣнокъ горечи.

Корневъ протѣянулъ руку, но едва рука его коснулась руки Раисы, едва они успѣли обмѣняться прямымъ выразительнымъ взглядомъ, очаровательной евреечки уже не было, а черезъ минуту затихли, и шаги ея бѣга, легкіе и частые, какъ-то сразу оборвались въ отдаленномъ уголкѣ глухого коридора.

V.

Корневъ поспѣшно ушелъ одинъ. Онъ не проронилъ ни слова, даже не взглянулъ на меня, какъ будто вдругъ я сталъ для него чужимъ, или меня вовсе не стало. Я проводилъ его тревожнымъ, недоумѣвающимъ взглядомъ и только теперь задалъ себѣ вопросъ: «что случилось?» Когда же потомъ, минутъ десять спустя, Корневъ опять вышелъ на крыльцо, я былъ не одинъ, а съ Самуиломъ.

— Ага, вышли и вы!.. Но и здѣсь такъ же жарко и душно, какъ и вездѣ,—сказалъ Самуиль.—Были на «Потемкинскомъ»?

— Въ Херсонѣ быть и «Потемкина» не видѣть—стыдно.

— И въ семинаріи были?

— Были и въ семинаріи.

— Вѣроятно, вы предполагали остаться въ нашей семинаріи?

— Да, предполагалъ, а теперь... обстоятельства нѣсколько измѣнились...

— Отчего?

На этотъ вопросъ Корневъ отвѣтилъ нѣсколько помолчавъ, но не потому, что онъ былъ не доволенъ наивностью Самуила.

— Какъ бы вамъ сказать... Ни за, ни противъ особенныхъ причинъ нѣтъ.

— Но все-таки вы же пріѣхали сюда съ тѣмъ, чтобы остаться здѣсь? Да?

— Отчасти... Хотя, повторяю, не имѣю основанія сожалѣть, если и не останусь.

— Напрасно. Здѣсь семинаристамъ хорошо...

Корневъ не возразилъ на это и своимъ молчаніемъ какъ-бы согласился съ Самуиломъ, что дѣйствительно напрасно не остается въ Херсонѣ. На самомъ же дѣлѣ это согласіе могло быть вызвано вовсе не тѣмъ соображеніемъ, что семинаристамъ жилось хорошо,—мнѣ казалось, что у Корнева мелькнула мысль о прелестной Раисѣ, которую придется оставить такъ скоро... Я угадывалъ также, что теперь ему вовсе не хотѣлось разсуждать съ назойливымъ добрякомъ-Самуиломъ, хотя по тону рѣчи Корнева видно было, что онъ относился къ своему собесѣднику гораздо искреннѣе и дружелюбнѣе, чѣмъ нака-

нунѣ. Чтобы скрыть свой душевный разладъ, Корневъ насилуеъ себя еще нѣсколькими веселыми фразами и, пожелавъ Самуилу пріятной ночи, взялъ меня подъ руку и увелъ въ номеръ.

Прошло нѣсколько минутъ въ молчаніи. Корневъ ходилъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ, а я полулежалъ на кровати.

— Не могу согласиться, Вася, съ тѣмъ, что эта крошечная, восхитительная евреечка, съ которой мы бесѣдовали нѣсколько минутъ тому назадъ, есть именно дочь этого рыжебородаго іудея!.. хотя онъ, повидимому, честный жидокъ и добрякъ!

— Да, Раиса хороша,—отъ души согласился я.

— Вася! Она мила, очаровательна!.. А еврейскаго—ни единой капли!

Опять наступило молчаніе. Корневъ все также ходилъ изъ угла въ уголъ, вовсе не замѣчая меня, а я не сводилъ съ него глазъ. Очевидно, онъ ласкалъ въ своемъ воображеніи случайный, но дорогой образъ. У меня явилось странное желаніе—предугадать, какая именно черта Раисы занимала въ эту минуту воображеніе Корнева, и я съ дѣтской наивностью переходилъ отъ одной части фізіономіи Раисы къ другой. Глаза, носъ, подбородокъ, а за ними: улыбка, голосъ—все это казалось одно лучше другого, и почему-то не могло быть изолировано отъ общей гармоніи строгой образности. Я путался, просто терялся въ этомъ крошечномъ лабиринтѣ женской красоты и чаще всего останавливалъ свое представленіе на глазахъ Раисы.

— Эти глубокие, черные, слегка задумчивые глаза,—съ поэтической восторженностью началъ Корневъ,—я не нахожу словъ, чтобы выразить всю ихъ прелесть!.. Глаза эти вотъ именно глубоки, да... На ихъ крошечномъ полѣ помѣстилось что-то безбрежное, но эта безбрежность идетъ не въ ширь, а въ глубь... Мысль, такъ-сказать, сушитъ глаза, придаетъ имъ оттѣнокъ чего-то черстваго, лишаетъ ихъ жизненной силы; у Раисы же эта сила кипитъ нетронутой. И придай ея глазамъ строгій, проницательный умъ—они наполовину потеряютъ свою прелесть.

Корневъ замолчалъ.

— Хороши и рѣсницы, длинныя и густыя,—прибавилъ онъ.

Я ожидалъ, что Корневъ перейдетъ затѣмъ къ остальнымъ чертамъ женской красоты, но онъ вновь упорно молчалъ, и портретъ Раисы такъ и остался незаконченнымъ. Мнѣ почему-то стало обидно, больно... Въ моемъ воображеніи снова промелькнули—сначала носикъ Раисы, прямолинейный, изящно законченный, потомъ—не менѣе художественное очертаніе рта, легкая полнота личика, смугловатый цвѣтъ котораго особенно мнѣ нравился.

— Правда,—не скоро отозвался Корневъ,—я замѣтилъ у Раисы нѣчто мимолетное, что выдавало въ ней еврейскую породу. Что это было: жестъ-ли руки, характерный-ли поворотъ головки, но только ни въ голосѣ и ни въ рѣчи сказалось это. Она говоритъ по-русски чисто. — Ты не любишь евреевъ, Вася?—немного помолчавъ спросилъ онъ.

— Всею душой...

— Вася!.. Не люблю ихъ и я...

Корневъ стиснулъ мою руку ниже плеча, слегка покраснѣлъ, виновато улыбнулся.

— А мнѣ кажется, что мы, русскіе, по отношенію къ евреямъ не совсѣмъ правы. Правда, еврей палъ низко, но палъ подъ гнетомъ тяжелыхъ условій,—и никто еще не подавалъ ему руки помощи... А напрасно: въ душѣ этаго народа было и есть такъ много хорошаго и сильнаго... — Тебѣ и Самуиль не нравится?

Я сказалъ, что Самуиль хорошъ, но тутъ же оговорилъ, что такихъ евреевъ мало.

Корневъ первый сталъ готовиться ко сну, и мы улеглись. Было уже поздно, подъ утро; въ раскрытое окно повѣяло прохладой. За тонкой досчатой перегородкой, отдѣлявшей номера, раздавался чей то упорный храпъ, приходившійся мнѣ на ухо.

Корневъ долго еще не спалъ, что можно было заключить по сверкавшей въ зубахъ папиросѣ. Онъ упорно молчалъ. Погасла, наконецъ, и папироса.

— Вася! А рыжій теленокъ?...—отозвался онъ нескоро.—Кто ожидалъ отъ нея такой храбрости?... Ха-ха!..

Очевидно, Корневъ и не думалъ спать. Я понималъ, что его мысли все еще блуждали неизмѣнно въ узкой колѣѣ іудейской семьи, куда такъ случайно забросила насъ судьба.

VI.

Проснувшись на слѣдующее утро, я нашелъ Корнева бодрствующимъ. Онъ былъ слегка блѣденъ, какъ это случается послѣ безсонной ночи.

Первой привѣтствовала насъ сестра Раисы, явившись съ большимъ грязненькимъ самоваромъ ровно въ 8 часовъ утра. На ея вопросъ: «можно ли зайти?»—Корневъ распахнулъ дверь и почтительно поклонился. Это смутило евреечку: поклонъ Корнева пришелся некстати.

— Смотри, какой теперь выглядеть скромницей, а вечеромъ опять будетъ куралесить,— замѣтилъ Корневъ.

За чаемъ Корневъ пѣлъ «Сонце нызенько» (съ этимъ «сонцемъ» онъ никогда не расставался). Затѣмъ, мы вышли въ коридоръ и оставались тамъ, пока убирали нашу комнату.

Самуиль сидѣлъ пригвожденнымъ на своемъ излюбленномъ мѣстѣ; передъ нимъ, по обыкновению, лежала толстая книга еврейской печати. Впрочемъ, онъ теперь не читалъ, а скорѣе размышлялъ, какъ бы давая себѣ отчетъ въ прочитанномъ. Встрѣтились мы по-пріятельски.

Разговоръ завязался быстро и удачно. Корневу любопытно было узнать, какой книгой такъ неизмѣнно забавляется Самуиль, тотъ оказался откровеннымъ, и религіозный диспутъ возникъ, какъ бы самъ по себѣ, безъ всякихъ предисловій. Взгляды на религію оказались у Самуила крѣпкими, но узкими—чисто іудейскими, и какъ Корневъ ни увѣрялъ его, что все зло честнаго

еврея—въ его религіи, которая мѣшаетъ ему слиться съ общекультурными народами, и что выше христіанскихъ истинъ человѣчество идти не можетъ,—близорукій Самуиль твердо вѣровалъ въ пришествіе Мессіи... Корневъ утверждалъ, что религія должна обуздывать жизнь, но никакъ не противорѣчить ей въ основѣ, ибо религія и жизнь—два неразлучныхъ спутника, и если іудейское вѣрованіе было господствующимъ во времена былыя, то съ тѣхъ поръ, какъ разлился лучезарный свѣтъ христіанскаго ученія, религія іудеевъ разъ навсегда утратила свое значеніе передовой религіи. Иначе говоря, жизнь ушла впередъ, а религія осталась на мѣстѣ, все той же, какой была и прежде. На эти слова Самуиль упорно возражалъ, приводя допотопныя сказанія изъ своей книги, но это дѣлало его еще болѣе близорукимъ и ничуть не умаляло правоты Корнева, излагавшаго общедоступныя истины, вполне отвѣчающія запросамъ современнаго культурнаго человѣчества.

Я жалѣлъ объ одномъ, что въ это время не было Раисы...

Разговоръ о сельскомъ хозяйствѣ, перешедшій потомъ отъ религіознаго диспута, былъ обыкновенной пріятельской бесѣдой, которая, какъ и слѣдовало ожидать, оказалась болѣе дружелюбной. Самуиль первый далъ къ этому основательный поводъ, высказавши свой взглядъ на то, что честному еврею нельзя быть сельскимъ хозяиномъ уже по одному тому, что въ большинствѣ случаевъ евреи неспособны къ этому труду и слиш-

комъ ужъ далеко ушли въ міръ легкой наживы. Тутъ Самуиль безпощадно осуждалъ евреевъ и былъ уже не жалкимъ разорившимся іудеемъ, а человѣкомъ, вкусившимъ кое-что изъ реальной жизни. Самуиль приводилъ массу интересныхъ фактовъ о необузданности русскаго крестьянина, наивно удивляясь тому, почему его не просвѣщаютъ, — передавалъ, что его обманывали, обкрадывали, и чѣмъ онъ лучше обращался съ мужикомъ, тѣмъ этотъ мужикъ поступалъ съ нимъ хуже, вѣроломнѣе, и что имѣя въ арендномъ содержаніи богатый хуторъ, горемычный Самуиль даже при хорошихъ урожаяхъ не въ силахъ былъ извлечь «гешефта».

Подъ конецъ бесѣды Корневъ все чаще и чаще поглядывалъ въ даль безконечнаго коридора, но увы, завѣтная дверь оставалась закрытой, какъ-бы заколоченной: Раиса не показывалась и ея отсутствіе не могло остаться не замѣченнымъ. Когда же мы вошли къ себѣ въ номеръ, я спросилъ у Корнева «видѣлъ ли онъ Раису?» и получилъ отвѣтъ: «почти нѣтъ,—мелькомъ».

Корневъ хандрилъ. На мою просьбу идти осматривать городъ, онъ сказалъ: «послѣ, успѣемъ...» — и улегся на диванъ. Я заплѣлъ «Сонце нызенько...», но безуспѣшно... Очевидно, другъ мой нуждался въ болѣе радикальныхъ мѣрахъ... И въ моихъ мысляхъ впервые проскользнуло опасеніе за безпечность нашего житья, въ которое вкрадывался серьезный разладъ.

— Вы звонили? — слышался черезъ узкую щель чуть-чуть открытой двери нашего номера знакомый мелодичный голосъ.

Ни Корневъ, ни я, не видѣли того, кто произнесъ эти слова, но по голосу одновременно узнали въ нихъ Раису. Корневъ вскочилъ съ дивана, хотѣлъ было открыть дверь, но измѣнивъ своему намѣренію, сѣлъ на ближайшій стулъ. Я оставался у окна, гдѣ стоялъ раньше, съ тревогой ожидая появленія Раисы.

— Мы... я... зайдите...—отвѣчалъ Корневъ съ дрожью въ голосѣ, пріятно удививъ меня своею находчивостью: ни онъ, ни я не звонили.

Легкая, прелестная улыбка Раисы способствовала ей казаться равнодушно-веселой, но эта фальшь, будучи незамѣченной для Корнева, у котораго при появленіи Раисы поблекло въ глазахъ, не могла ускользнуть отъ моего вниманія. Я смѣло глядѣлъ на дверь, считая себя застрахованнымъ отъ взора Раисы.

— Извините, пожалуйста... я вовсе не хотѣлъ беспокоить васъ,—солгалъ Корневъ и прежде чѣмъ сказать это, привсталъ со стула.

— Отчего же... я рада... и всегда готова услужить... Сестры нѣтъ и я охотно исполняю ея обязанности...

Наступило молчаніе, продолжавшееся не болѣе того времени, въ теченіе котораго можно было понять, что молчать въ такія минуты—непростительно.

— Вотъ эта вода,—началъ Корневъ, обращая свой взглядъ на графинъ съ водой,—простите, она хороша, но слишкомъ теплая...

— Жаль, что не сказали раньше... У насъ много льда и всегда можно имѣть холодную во-

ду. Я сама не люблю... не могу переносить... въ такую жару и теплая вода... Днѣпровая вода теперь совсѣмъ не хороша.

Сказавъ это, Раиса быстро протянула свою крошечную рученку, чтобы взять графинъ, но Корневъ помѣшалъ ей сдѣлать это, схвативъ тотъ же графинъ и наливая изъ него воду въ стаканъ.

— Не пейте! Я принесу холодной...—прокричала Раиса, нахмуривъ брови и даже слегка топнувъ ножкой.

— Благодарю... Я полагалъ вотъ что...—и Корневъ быстро вылилъ за окно налитую въ стаканъ воду.

— Такъ, такъ, хорошо... Лейте... За это васъ могутъ взять въ часть,—съ улыбкой замѣтила Раиса, когда Корневъ медленно наливалъ второй стаканъ, чтобы задержать желаннаго гостя.

— Можетъ быть... Только не меня!..

— Нѣтъ васъ... виновника...

— Сомнѣваюсь... И будто у васъ, въ Херсонѣ, такіе грозные порядки?

— По крайней мѣрѣ, въ этомъ отношеніи... Не вѣрите?

— Вамъ? Вѣрю...

Раиса скрылась. Минуть черезъ пять она вернулась съ графиномъ холодной воды и, обмѣнявшись нѣсколькими фразами, опять исчезла за дверью. Въ слѣдъ за ней ушли и мы осматривать Херсонъ.

Корневъ былъ не узнаваемъ. Всю дорогу онъ невпопадъ отвѣчалъ на мои вопросы, и когда на

одномъ перекресткѣ я спросилъ его: «сюда или туда пойдѣмъ, Митя?», онъ отвѣчалъ: «сюда и туда...»—и мы вернулись назадъ.

— Этотъ «домикъ», кажется, ничего-себѣ—хорошенькій,—на обратномъ пути замѣтилъ Корневъ, обращая мое вниманіе на сѣренъкій двухъ-этажный домишко, лучше котораго мы встрѣчали многіе.—Какъ тебѣ кажется, Вася?

Но мнѣ казалось,—нѣтъ, я былъ убѣжденъ въ томъ, что теперь Корневу не до «домиковъ» и что эту фразу онъ сказалъ просто изъ любви ко мнѣ, чтобы не оскорбить меня своимъ невниманіемъ.

На крыльцѣ встрѣтила насъ Раиса. Она стояла одна...

Я понялъ, что тамъ, гдѣ встрѣчаются эти люди—третьему нѣтъ мѣста...

И быстро поднявшись по ступенькамъ крыльца, я ушелъ въ номеръ.

VII.

Слѣдующій день былъ всего третьимъ днемъ нашего пребыванія въ Херсонѣ, а между тѣмъ онъ принесъ намъ не мало тревогъ... Корневъ поднялся рано, заявивъ, что ему хочется чаю. Я понялъ, что не чаю хотѣлось Корневу, а поскорѣе начать день. Я повиновался, неискренно выказавъ при этомъ свое мнѣніе о томъ, что дѣйствительно лучше пить чай раньше. Въ данномъ же случаѣ выходило какъ разъ наоборотъ: мы уснули поздно и нужно было встать, по крайней мѣрѣ, часовъ въ десять.

Самоваръ подала, по обыкновенію, сестра Раисы. Она была задумчива, мелькомъ взглянула на Корнева, а тотъ, въ свою очередь, сухо поклонился, не обронивъ ни слова, какъ будто они поссорились наканунѣ и отъ прежняго дѣтски-наивнаго ихъ отношенія другъ къ другу ничего не уцѣлѣло.

Корневъ пилъ чай не охотно, какъ мнѣ показалось, по крайней мѣрѣ. Тѣмъ не менѣе, онъ успѣлъ выпить два стакана прежде, чѣмъ я справился съ однимъ. «Скажешь, Васюкъ, пусть убираютъ,—я готовъ...»—процѣдилъ онъ сквозь зубы и быстро вышелъ въ коридоръ. Я не спросилъ у Корнева, куда онъ уходитъ и зачѣмъ, хотя и обратилъ вниманіе на то, что онъ одѣлъ фуражку и накинулъ на плечи пальто. Впрочемъ, я уже былъ убѣжденъ въ томъ, что Корневъ связанъ по рукамъ и по ногамъ и что не упорхнуть ему далеко отъ «Бѣлаго Лебеда»...

Весь этотъ день я не находилъ себѣ мѣста. Корневъ видимо тяготился мною, то-есть не мною лично, а моимъ присутствіемъ, какъ чѣмъ-то совершенно отъ меня отдѣльнымъ. Онъ встрѣчался съ Раисой часто, встрѣчался вездѣ, гдѣ только можно было улучшить случай избѣгнуть людей: въ коридорѣ, на крыльцѣ, у насъ въ номерѣ...

Послѣ этого, что оставалось дѣлать мнѣ? Я мѣнялъ поочередно тѣ же мѣста: былъ то въ номерѣ, то въ коридорѣ, то у подъѣзда, и разъ Корневъ или Раиса появлялись здѣсь, я немедленно уходилъ, дѣлая это такъ, какъ будто ме-

ня ожидало нѣчто важное: я любилъ Корнева и готовъ былъ пожертвовать для него всѣмъ... Раза четыре я побывалъ въ городѣ, надѣясь, по возвращеніи, найти Корнева въ болѣе спокойномъ состояніи духа, но выходило наоборотъ: Корневъ оставался мрачнымъ, неузнаваемымъ, и чѣмъ чаще онъ встрѣчался съ Раисой, тѣмъ болѣе опасался я за наше благополучіе.

О своихъ отношеніяхъ къ Раисѣ онъ не говорилъ теперь вовсе.

Зато вечеромъ я узналъ все... Было поздно— часовъ двѣнадцать. Корневъ съ шумомъ открылъ дверь въ нашу комнату, гдѣ весь вечеръ оставался я одинъ. Теперь я лежалъ на кровати.

По одной улыбкѣ его можно было судить, что онъ имѣетъ сообщить мнѣ что-то пріятное и я ожидалъ этого съ напряженнымъ вниманіемъ.

Корневъ съ минуту оставался молча у моей кровати, потомъ слегка отодвинулъ меня къ стѣнкѣ и сѣлъ возлѣ меня, положивъ мнѣ на плечо правую руку.

— Сердишься? Ты, кажется, совсѣмъ пересталъ понимать меня въ послѣднее время?—проговорилъ онъ, виновато улыбаясь.

— Ничуть,—отвѣчалъ я спокойно.

— Тѣмъ хуже... Понимаешь и сердишься?

— Повторяю,—ничуть...

— Собака ты, Вася!..

Тутъ онъ слегка пожалъ мое плечо и затѣмъ быстро поднялся съ кровати и зашагалъ по комнатѣ.

Мнѣ стало вдругъ тяжело: я ожидалъ большаго... Я хотѣлъ было высказать это, но Корневъ предупредилъ меня. Онъ опять подошелъ ко мнѣ, крѣпко нажалъ колѣнномъ мои ноги и подаль мнѣ крошечную полоску обыкновенной писчей бумаги, не выпуская ее изъ руки.

Я прочелъ слѣдующее:

«Завтра въ часъ дня идите на «Потемкинскій». Я найду Вася. Раиса».

Эта записка по величинѣ оказалась не больше листика папирсной бумаги: длиннѣе, но уже. Почеркъ письма некрасивый, вполнѣ женскій: съ характернымъ, угловатымъ очертаніемъ буквъ.

— И ты пойдешь?..

— Вася!.. голубчикъ!.. Можно ли не итти?.. Скажи, можно ли?.. Я вѣдь всюо душой люблю это прелестное, дорогое созданіе!

И онъ опять зашагалъ по комнатѣ.

Я почувствовалъ, какъ учащенно забилося во мнѣ сердце, и я хотѣлъ было съ жаромъ высказать, что Раиса дѣйствительно прелестна и что любовь Корнева вполнѣ понятна для меня. Но пока я собрался съ мыслями, Корневъ опять заговорилъ:

— Вася! Я избѣгаю лжи... Повѣрь же—я не видѣлъ болѣе прелестнаго, болѣе очаровательнаго существа...

Съ полчаса мы молчали.

— А ѣхать, Митя, завтра, или оставимъ?

— Завтра, Вася!.. непременно завтра... Оставить поѣздку—значить лишить тебя возможности поступить въ семинарію. Я этого не забываю,—надѣйся на мое благоразуміе.

Хотѣлъ-ли Корневъ воочію доказать свое благородіе, или оттого, что влюбленные люди, по полнотѣ переживаемыхъ ими чувствъ, являются тѣми же дѣтьми,—такъ или иначе, но онъ тутъ же сталъ приводить въ порядокъ свои вещи. Онъ уложилъ въ чемоданъ одежду, въ корзинку—щетки, ваксу, дорожный чайникъ и прочую мелочь убогаго семинариста, отъ души напѣвая «Сонце нызенько»... Тихіе мелодичные звуки пѣсни, казалось, вылетали изъ глубины сердца и были теперь скорѣе веселыми, чѣмъ грустными.

Я молча глядѣлъ на Корнева, завидуя его счастью. А о томъ, какія крайности готовилъ завтрашній день—первое свиданье, первый, быть можетъ, поцѣлуй и тутъ же неизбѣжную разлуку—у меня не было и въ мысляхъ...

Послѣ этого Корневъ уже не выходилъ изъ комнаты. Очевидно, съ полученіемъ извѣстія о свиданіи, дневные итоги ихъ отношеній считались законченными. Кто вручилъ Корневу записку—Раиса-ли или ея сестра, которая, какъ я замѣтилъ, способствовала ихъ встрѣчамъ—для меня осталось тайной.

Въ часъ ночи я промелькнулъ во дворъ длиннымъ коридоромъ и у выходной двери встрѣтилъ Самуила. «Приговляйтесь къ покою?... А я уже приготовился...»—можно было прочесть на его рыжей, безмолвной, широко-улыбающейся физиономіи. Онъ благодушествовалъ: всѣ номера были заняты... А о томъ, какую «канитель» затѣяла его крошечная Раисочка—бѣдному Самуилу и не снилось.

Гдѣ была она и что думала? Вѣроятно, лежала въ кровати съ прекрасными, широко открытыми глазами, представляя образъ любимого юноши!.. Вѣроятно, всѣ ея мечты были сосредоточены на завтрашнемъ, твердо рѣшенномъ свиданіи... Ну, а о завтрашней разлукѣ и она не думала?..

Раиса знала о днѣ нашего отъѣзда. Даже я наканунѣ сообщалъ ей объ этомъ.

VIII.

Говорять, что у женщинъ «волосъ длиненъ, а умъ коротокъ»; мнѣ же кажется, что женщина болѣе разумное существо, чѣмъ мужчина, а выраженія: «бабій умъ», «бабья логика» — однѣ «мужскія сплетни». Тамъ же, гдѣ женщина любитъ искренно, умъ ея является настолько гибкимъ, изобрѣтательнымъ, что и тутъ она остается внѣ соперничества. Вотъ почему женщина такъ и хороша въ «любви».

Хороша была въ «любви» и Раиса... Это чувство подняло ее на недостижимую высоту. Оно сдѣлало ея натуру еще болѣе чуткой, прелестной — несравненно выше натуры Корнева, духовная природа котораго тоже была чиста, какъ хрусталь. «Любилъ» онъ, «любила» и она, но въ проявленіи ими этого чувства я замѣчалъ разницу.

Корневъ ушелъ на свиданье за полчаса до условленнаго времени и тутъ онъ въ первый разъ показался мнѣ непривлекательнымъ, дур-

нымъ. Онъ небрежно накинулъ пальто, фуражку, даже не почистилъ ихъ, не причесался, какъ будто онъ уходилъ хлопотать по хозяйству, дѣлая это по привычкѣ. Правда, такая небрежность Корнева къ самому себѣ была отчасти ложной, напускной, но и въ такомъ случаѣ тутъ все же сказывалось нѣчто иное, дѣйствительно переживаемое, вносившее видимый разладъ въ торжественный актъ любви. Быть можетъ, это было желаніе овладѣть собой—уменьшить томленіе, въ которомъ провелъ Корневъ предшествовавшіе полдня, отъ 7-ми до 12-ти? Но что бы это ни было, оно одинаково вносило рѣзкій диссонансъ въ гармонію чистаго, возвышеннаго чувства, будучи въ то же время проявленіемъ не случайнымъ, а неизбѣжнымъ, роковымъ.

Но и безъ этого я замѣтилъ за Корневымъ нѣчто новое. Выраженіе его лица, въ моментъ ухода, какъ бы говорило о какомъ то серьезномъ разладѣ въ переживаемыхъ имъ чувствахъ. Это было что-то болѣе глубокое и менѣе понятное для посторонняго взгляда, но одинаково проявившееся, съ тѣмъ же оттѣнкомъ грубоватаго недовольства. Наконецъ, передъ уходомъ Корневъ не сказалъ мнѣ ни слова, даже какъ бы сожалѣлъ о томъ, что я знаю—куда и для какой цѣли онъ уходитъ, избѣгалъ моего взгляда, самъ же глядѣлъ нехорошо, по-волчьи, какъ будто ему стало и стыдно, и больно за самого себя, будто тутъ было унижено его достоинство.

Какое это было чувство и отчего происходило оно? Не удовлетворяла ли Корнева обстановка

будущаго свиданья, назначеннаго днемъ, или до такой степени отзывалась въ немъ болью мысль о близкой разлукѣ?

По уходѣ Корнева я съ замираніемъ сердца ожидалъ появленія Раисы, какъ будто свиданье было назначено не ему, а мнѣ. Я поспѣшилъ на крылечко, къ подъѣзду, куда по моему расчету должна была выйти Раиса. Но если бы ей почему-либо вздумалось пройти со двора, то и въ такомъ случаѣ я не потерялъ бы ее изъ виду; такъ какъ путь къ «Потемкинскому» шелъ прямо отъ подъѣзда гостиницы и заключался въ нѣсколькихъ минутахъ средней ходьбы.

Раиса вышла безъ десяти въ часъ. Тѣ двѣ-три минуты, которыми она наградила меня, я никогда не забуду. При ея появленіи сердце во мнѣ сжалось, запрыгавъ затѣмъ съ удвоенной силой, до темноты въ глазахъ...

Раиса была вся въ черномъ отъ головы до ногъ: платье, накидка, шляпа, вуаль... Одежда ея дышала новизной, вкусомъ и до того отвѣчала красотѣ и цѣльности ея фигуры, такъ гармонировала съ блескомъ ея очей, общимъ выраженіемъ лица, что все это вмѣстѣ взятое казалось чѣмъ-то праздничнымъ, торжественнымъ, бесконечно задушевымъ... Тутъ уже не было разлада, грубой лжи, тутъ нельзя было замѣтить малѣйшей фальши, безъ которой не обходится большинство людей. Очевидно, Раиса иначе понимала то, куда шла она. И этому сознанію не мѣшало ни что: ни «Потемкинскій», освѣщаемый жаркимъ полудневымъ солнцемъ, ни близость

предстоящей разлуки, о которой она думала, вѣроятно, не меньше Корнева, ни опасеніе быть замѣченной отцомъ или кѣмъ-либо изъ знакомыхъ.

Я стоялъ у перилъ подъѣзда. Раиса замѣтила меня, улыбнулась, но остановилась, пройдя площадку крылечка, на первой его ступенькѣ. Тотъ взглядъ, которымъ она встрѣтила меня, говорилъ о полнотѣ ея счастья, счастья не затаеннаго, чисто эгоистичнаго, такъ явно сказавшагося передъ уходомъ Корнева, а иного, какъ-бы касающагося всѣхъ, меня же въ особенности. Я понялъ, что Раисѣ отъ души хотѣлось наградить меня улыбкой, сказать слово, хотя не было въ томъ нужды, не было мѣста, времени. Она хорошо знала, что нѣтъ Корнева, но о чемъ ей спросить меня? и она спросила: почему я одинъ и гдѣ мой товарищъ? Я сказалъ, что Корневъ ушелъ по дѣлу.... Она перевела потомъ все тотъ же жизнерадостный, игривый, слегка безпокойный взглядъ на мою щѣпочку у часовъ и спросила: который у меня часъ? И у меня, и у ней время совпало минута въ минуту. Она улыбнулась, будто это еще болѣе сблизило насъ, ласково кивнула головкой и, плавно скользя по ступенькамъ, дала мнѣ возможность еще разъ окинуть продолжительнымъ взглядомъ ея прелестную, быстро удаляющуюся фигуру.

Въ этомъ видѣ прекрасная Раиса навсегда запечатлѣна въ моей памяти...

Минуты двѣ я простоялъ у подъѣзда ни о чемъ не думая, какъ бы потерявъ возможность притти въ себя, дать отчетъ въ томъ что слу-

чилось. Затѣмъ я ушелъ въ номеръ, который на этотъ разъ показался мнѣ тѣснѣе могилы. Странно, только теперь во мнѣ явилось желаніе итти за Раисой. И это вызывалось не дѣтскимъ любопытствомъ, а чѣмъ-то инымъ, близкимъ къ страсти... Я не понималъ этого чувства, но въ то же время, не въ силахъ былъ противиться ему. Схвативъ пальто и шляпу и задыхаясь отъ волненія, я, терзаемый боязнью потерять изъ виду дорогой предметъ, поспѣшилъ на улицу.

Корневъ стоялъ въ центрѣ бульвара, на открытой площадкѣ, противъ самаго памятника Потемкина, любясь высокой, статной фигурой государственнаго мужа и въ то же время защищаясь открытымъ зонтикомъ отъ палящихъ лучей полуденнаго солнца. Увидѣвъ Корнева, Раиса ускорила шаги, а когда она совсѣмъ приблизилась къ нему, онъ быстро сомкнулъ зонтикъ, оставаясь неподвижнымъ.

Я видѣлъ какъ они встрѣтились... Раиса протянула Корневу свою хорошенькую ручку, тотъ стиснулъ ее... Минуту они стояли молча съ сомкнутыми руками и какъ бы съ застывшими взглядами.

Первый шагъ сдѣлала она, уводя Корнева въ отдаленную бесѣдку бульвара...

IX.

Часъ дня, такъ удачно избранный Раисой часомъ свиданія, вполне оправдалъ ея надежды: «Потемкинскій» былъ совершенно безлюденъ, а

бесѣдка, куда скрылись они, еще болѣе придавала свиданію характеръ строгой тайны.

Что представляла изъ себя эта бесѣдка—память моя отказывается мнѣ въ этомъ. Насколько помнится, это былъ, по обыкновенію, правильный кругъ со входомъ, обсаженный кустарникомъ въ человѣческій ростъ—кажется, желтой акаціей, выращенной подъ «стрижку». Тутъ была устроена скамейка, а какъ—полукругомъ или обыкновенно—не помню. Со всѣхъ сторонъ бесѣдка ограждалась густой листвою молодыхъ побѣговъ и только со стороны входа можно было проникнуть взоромъ во внутрь ея. Раиса и Корневъ сѣли не противъ входа, а на концѣ скамейки, почему лишь отчасти было возможно наблюдать ихъ.

Поднявъ вуаль шляпки, Раиса сѣла нѣсколько поодаль, бокомъ къ Корневу, не сводя съ него глазъ, а онъ лишь изрѣдка глядѣлъ на нее, упорно чертя при этомъ зонтомъ на песчаномъ полу бесѣдки... Странно, онъ и теперь казался мнѣ не влюбленнымъ юношей, а отжившимъ, сосредоточеннымъ старикомъ, очутившимся въ этой укромной бесѣдкѣ какъ-бы для того, чтобы «мотать на усъ» слова Раисы... А вѣдь Корневъ любилъ ее, любилъ искренно, и мнѣ казалось, что онъ не выдержитъ и что вотъ-вотъ лопнетъ эта грубая, туго-натяннутая струна и Корневъ бросится къ Раисѣ, обниметъ ее... Но онъ попрежнему оставался все тѣмъ же и лишь голосъ его глухо звучалъ, отдаваясь то затаеннымъ шопотомъ, то болѣе чистыми аккордами грубова-таго альты, подобно тому, какъ это бываетъ съ

людьми при сильномъ ознобѣ или въ моментъ душевнаго волненія.

Раиса была чудесна; все существо ея дышало нѣгой, страстью...

Первый ихъ приступъ къ бесѣдѣ оказался неудачнымъ. Больше говорила Раиса, которая предлагала вопросы и сама же спѣшила отвѣтить на нихъ. Но не мысли теперь говорили въ ней—въ ней рвалось наружу что-то болѣе сильное, подавляющее значеніе нѣмого слова, и что такъ сказывалось въ ея большихъ выразительныхъ глазахъ, въ движеніяхъ рукъ, суетливости всей фигурки, которую какъ-бы жгло со всѣхъ сторонъ...

Раиса первая подала поводъ къ развязкѣ—я понялъ это. Я не слышалъ, что сказала она Корневу; ко мнѣ донеслось лишь послѣднее слово ея фразы—«Митя». Но и безъ того можно было понять, что эта фраза вырвалась изъ глубины безгранично-любящаго сердца... И едва онъ успѣлъ перевести взглядъ на Раису—она обвинила его шею быстро мельнувшими рученками и поцѣловала крѣпко, страстно, съ пыломъ южанки...

Послѣ этого я уже не видѣлъ ихъ лицъ. Снявъ шляпку, Раиса склонила голову на плечо Корнева, который поднятымъ зонтомъ защищалъ и ее и себя отъ палящихъ лучей солнца. Я слышалъ лишь отрывки ихъ разговора—и то, главнымъ образомъ, ко мнѣ долетали слова Корнева—все тѣ же грубоватыя альтовы нотки. Какъ ни странно, но и теперь онъ казался мнѣ не наслаждающимся, а скорѣе страдающимъ человекомъ... Въ это время я прощалъ ему все.

—Я не могу оставаться тамъ, гдѣ говорятъ мнѣ, что я лишній,—долетѣли до моего слуха слова Корнева.—Наши господа директора,—продолжалъ онъ,—въ большинствѣ случаевъ добродушные или грубоватые старички, но почти всегда одинаково безтактные люди, похожіе скорѣе на какую-то облеченную властью вещицу, чѣмъ на живыхъ людей,—плохіе администраторы и еще менѣе удовлетворительные педагоги!.. И если гдѣ-либо могутъ до такой степени не понимать людей и безъ всякаго сожалѣнія глумиться надъ ними, такъ это прежде всего въ нашихъ училищахъ. Тутъ на человѣка смотрятъ не какъ на живую личность, а какъ на нѣчто совершенно объективное, какъ на одушевленную машину, цѣль которой—выбивать цифры отъ «одного» до «пяти»... Я увѣренъ, что за эти три дня мы узнали другъ друга несравненно болѣе того, чѣмъ узнали бы насъ въ училищѣ за три года...

Слѣдующія слова Корнева, очевидно, были отвѣтомъ на просьбу Раисы остаться въ Херсонѣ хотя на день. Онѣ были сказаны съ тѣмъ же оттѣнкомъ горечи:

— Къ сожалѣнію, и этого не могу сдѣлать, Раиса... Уѣзжая сегодня, мы будемъ на «мѣстѣ» лишь пятаго августа, а шестого—послѣдній день приѣма... Опоздать на этотъ день, значитъ лишить «его» возможности поступить въ семинарію. Разумѣется, будь я одинъ...

— Но развѣ у васъ такъ строго?—прервала Раиса его рѣчь.

Отвѣта на этотъ вопросъ я не разслышалъ.

Долетѣвшая до моего слуха рѣчь обо мнѣ усилила мое вниманіе. Корневъ говорилъ, что я—юноша съ хорошими задатками, но попалъ въ руки невѣжды-опекуна, почему и нуждаюсь пока въ помощи. Онъ упомянулъ объ этомъ вскользь, ничуть не гордясь своимъ покровительствомъ и называя меня землякомъ и другомъ.

И только теперь та неприличная роль, которую я невольно взялъ на себя, подслушивая чужія слова, слѣдя за чужими движеніями—показалась мнѣ смѣшной, дѣтской, недостойной порядочнаго человѣка, какимъ мнѣ такъ хотѣлось быть въ то время. Чувство тяжелаго, преступнаго стыда пробѣжало во мнѣ при одной мысли о томъ, что меня могутъ замѣтить Корневъ или Раиса. Я оставилъ свою засаду, торопливо удаляясь въ противоположную сторону отъ входа въ бесѣдку и присѣлъ на скамью въ отдаленномъ уголкѣ бульвара, съ такимъ расчетомъ, чтобы не потерять ихъ изъ виду.

Я видѣлъ потомъ, какъ они вышли... Корневъ шелъ медленно, а Раиса какъ бы торопила его. Они вышли на улицу въ ближайшій проходъ черезъ бульваръ, а мною опять овладѣло желаніе—узнать куда пойдутъ они. И опять случилось тоже, что и въ часъ дня, когда Раиса уходила изъ дому. Не успѣли они скрыться, какъ во мнѣ возгорѣлась страсть слѣдить за ними хотя издали и я не могъ уже бороться съ этимъ, при всемъ сознаніи, что я поступаю вопреки долга порядочнаго человѣка... Сначала я шелъ

медленно, заглянуль въ бесѣдку, гдѣ они сидѣли, а потомъ пустился бѣгомъ, изъ боязни потерять ихъ изъ виду.

Сначала шли они широкой шумной улицей, а потомъ, пройдя нѣсколько глухихъ переулковъ, очутились въ грязномъ, узкомъ проѣздѣ, похожемъ скорѣе на сорную канаву, чѣмъ на городскую улицу. Тутъ Раиса замедлила свой шагъ, взявъ Корнева подъ руку.

Потомъ они вышли на большую пустынную площадь, посреди которой, помню, строилась церковь, и остановились тутъ, какъ будто цѣль ихъ прогулки только и заключалась въ томъ, чтобы взглянуть на это некрасивое безформенное зданіе, окутанное сѣтью лѣсовъ. Мнѣ тоже оставалось одно—остановиться среди улицы или уйти назадъ. И я избралъ послѣднее.

Корневъ явился въ гостиницу въ 6 часовъ вечера. Онъ старался быть равнодушнымъ и довольнымъ тѣмъ, что онъ дома, какъ будто онъ уходилъ по обязанности и теперь радъ, что добрался до мѣста.

Первыми его словами былъ вопросъ не пора ли пить чай. Я отвѣтилъ, что это «необходимо», отвѣтилъ съ такимъ видомъ, точно и я только и помышлялъ о томъ, чтобы поскорѣе напиться чаю; на самомъ же дѣлѣ меня занимало иное—вернулась ли Раиса или выжидаетъ гдѣ-либо, чтобы не выдать тайны? И опять это было не обычное дѣтское любопытство, а нѣчто болѣе сложное, приносящее мнѣ и удовольствіе, и острую боль.

За чаемъ Корневъ задумчиво проговорилъ:

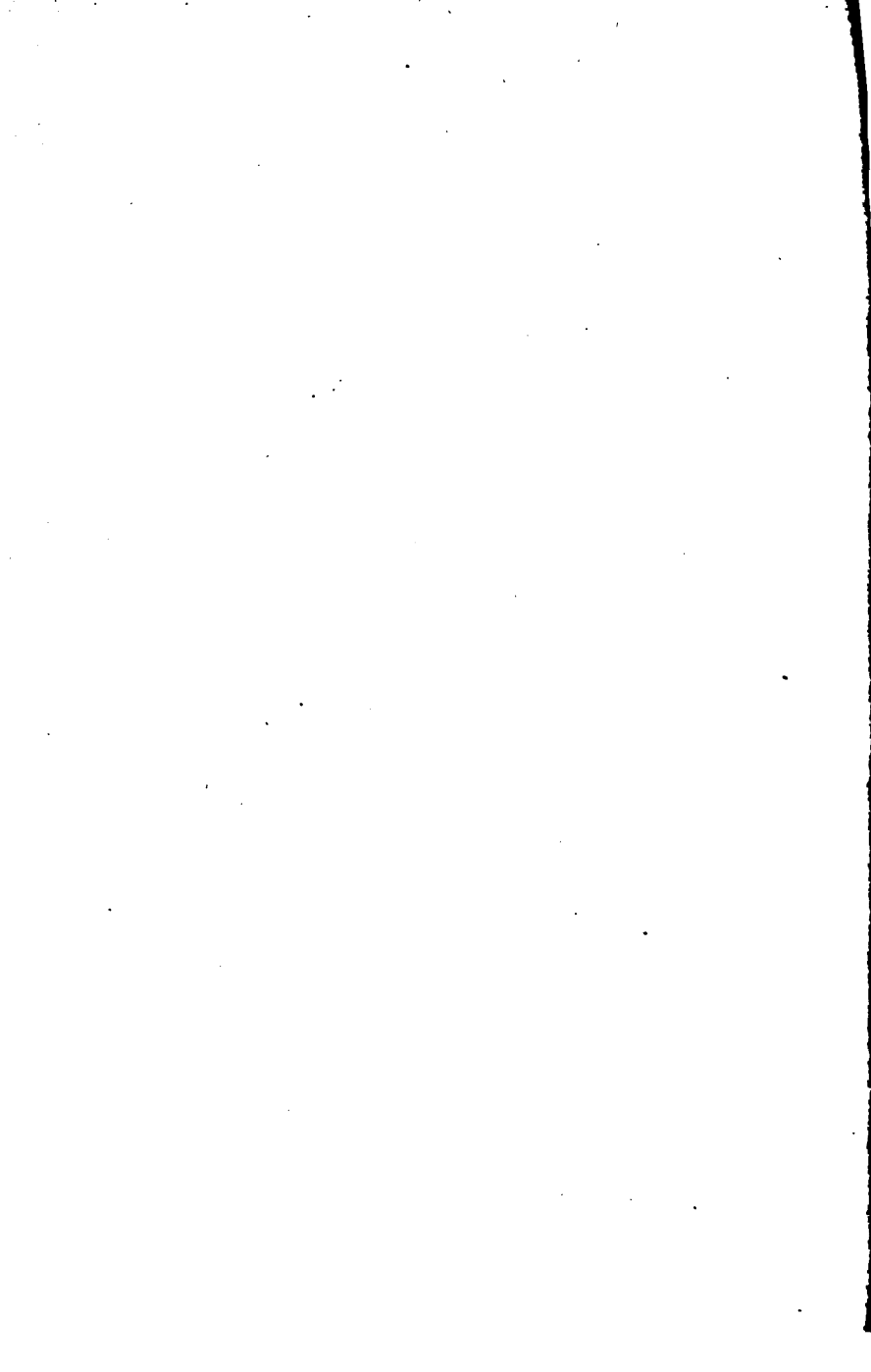
— Ей всего 17 лѣтъ... Годъ тому назадъ она вышла замужъ и черезъ 6 мѣсяцевъ овдовѣла...

На мой испуганный взглядъ я не получилъ отвѣта.

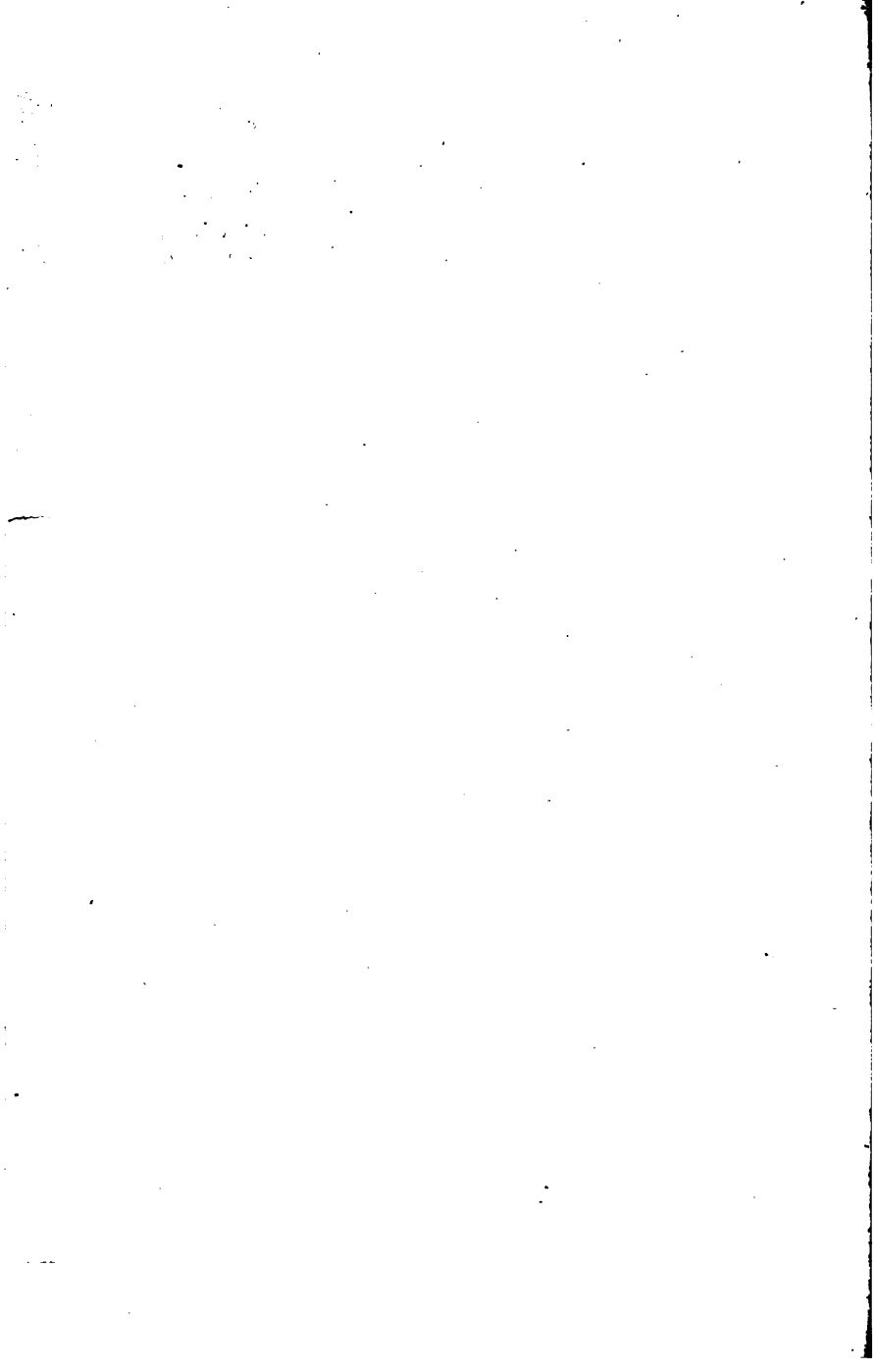
Въ 9 часовъ вечера произошла ихъ послѣдняя встрѣча наединѣ... Раиса смѣло открыла дверь нашей комнаты, но увидѣвъ меня, остановилась... Я вышелъ.

Минутъ черезъ десять вышла и Раиса... Вышла она на крылечко и облокотилась на перила, повернувшись ко мнѣ бочкомъ и какъ-бы совсѣмъ не замѣчая меня... Ея прелестная подвижная фигурка теперь показалась мнѣ изнеможенной, осунувшейся, а сама Раиса глубоко жалкой, совсѣмъ неспособной къ борьбѣ...

Черезъ часъ мы уѣхали: пароходъ отходилъ на сѣверъ въ одиннадцать часовъ ночи.



КУРЬЕЗЪ СЪ ПОСЛѢДСТВІЯМИ





КУРЬЁЗЪ СЪ ПОСЛѢДСТВІЯМИ

I.

Управляющему акцизными сборами донесли, что въ казенномъ очистномъ складѣ № 13 творятся безобразія. Конторщикъ пьетъ безъ прощупу день и ночь; пьянствуютъ писцы: одинъ изъ нихъ надняхъ чуть было не померъ отъ алкоголя—отлили водой; дѣло запущено, книгъ не ведутъ, а завѣдующій складомъ ни-черта не дѣлаетъ и если самъ не пьетъ или, по крайней мѣрѣ, не бываетъ пьянъ, то во всякомъ случаѣ ни за чѣмъ не смотритъ, потворствуетъ безобразіямъ.—Словомъ, чортъ знаетъ что такое!

Управляющій взбѣленился.

— Выгоню всѣхъ!..—въ гнѣвѣ шепталъ онъ, сидя въ управленіи, у себя въ кабинетѣ.—Честное слово, выгоню! Всѣхъ, всѣхъ до одинаго... И завѣдующаго тоже...

Управляющій волновался такъ сильно, что не могъ подписывать бумагъ.

— Уберите все это,—обратился онъ къ вошедшему въ кабинетъ секретарю.—Я подпишу завтра... Сегодня не могу. — Слышите?

Секретарь молча сгребъ кипу переписки и поспѣшно вышелъ.

— И что въ такомъ случаѣ можно сдѣлать?— все также кипятился управляющій, разсуждая самъ съ собой.— Остается одно: гнать въ шею!.. Вотъ черти!....— Вѣдь назначая ихъ, собиралъ справки, всѣхъ ихъ расхваливали: говорили о нихъ, что и честные, молъ, и трезвые, а теперь— пьютъ!.. И хотя бы дѣло дѣлали, все же не такъ больно было бы, а то ничего, ни звука... Въ книгахъ, говорятъ, за двѣ недѣли нѣтъ записей...

И управляющій рѣшилъ немедленно поѣхать въ складъ, налетѣть какъ снѣгъ на голову и разнести всѣхъ. Своимъ ревизорамъ онъ не довѣрялъ, находя ихъ людьми праздными, неспособными, ничего неумѣющими дѣлать; неумѣющими разобрать даже въ готовомъ, какъ очищенное яичко, матеріалѣ, толкомъ навести слѣдствие, ориентироваться, хотя бы въ такомъ пустомъ дѣлѣ, какъ данный случай.

— Нѣтъ, поѣду самъ,— рѣшилъ управляющій.— Будутъ они помнить меня до «новыхъ вѣнниковъ»!

И, не сказавши никому ни слова о своемъ намѣреніи, кромѣ курьера Ивана, которому онъ велѣлъ выйти на слѣдующій день въ 8 часовъ утра на вокзалъ къ поѣзду, а для чего—опять-таки не сказалъ и ему—онъ уѣхалъ.

— Если я завтра не буду въ управленіи, подпишите за меня срочныя бумаги,—обратился управляющій къ одному изъ старшихъ ревизоровъ, уходя домой по окончаніи занятій, на-

канунъ своего отъѣзда. — Только не подписывайте бумагъ въ главное управленіе... Я это сдѣлаю самъ...

Ревизоръ подумалъ, что управляющему нездоровится.

Спустя часъ, не больше, послѣ отъѣзда управляющаго, завѣдующему складомъ № 13 была дана телеграмма слѣдующаго содержанія:

«Нашъ общій принципаль сегодня утромъ выѣхалъ. Будетъ у васъ. Приготовьтесь.»

Авторомъ этой телеграммы былъ еврей Браткинъ, поставлявшій въ казенные винные склады деревянные ящики для укупорки вина и пріѣхавшій въ губернскій городъ съ тѣмъ же поѣздомъ, съ какимъ отправился управляющій. Высказали ему курьеръ Иванъ свое предположеніе о томъ, куда именно уѣхалъ управляющій, или Браткинъ, по свойственному ему чутью, раскрылъ тайну — остается неизвѣстнымъ...

II.

Казенный винный складъ № 13, въ который держалъ свой путь управляющій акцизными сборами, находился въ дрянномъ, захолустномъ городѣ, въ 28 верстахъ отъ желѣзной дороги. Пробраться туда, особенно въ осеннюю распутицу было настоящимъ подвигомъ. Дорога отвратительная: на каждомъ шагѣ бездонные ухабы, — извозчики несносные: того и гляди, что вывалить тебя изъ тарантаса, затопять въ грязь —

пропадешь ни-за-что, ни-про-что, если и не во цвѣтѣ лѣтъ, то во всякомъ случаѣ въ генеральскомъ чинѣ!

Пока управляющій ѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ купѣ перваго класса (послѣдніе два года, со дня полученія «дѣйствительнаго статскаго», онъ ѣздилъ въ первомъ классѣ, а до того—во второмъ), онъ чувствовалъ себя, можно сказать, не дурно. Онъ уже не кипятился, а если и продолжалъ думать о тѣхъ безобразіяхъ, какія творились въ складѣ № 13, то думалъ о нихъ приблизительно въ такомъ духѣ: «Пьютъ черти, казенную водку и впредь будутъ пить—ничего съ ними не сдѣлаешь!.. Развѣ выгнать всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, оштрафовать? Но что-жъ изъ этого? Выгонишь этихъ, назначишь другихъ, тѣ тоже пить станутъ: такое ужъ подлое дѣло! И тотъ научится пить, кто никогда не пилъ... Благо водки—хоть залейся!.. Нѣтъ, лучше оштрафовать: конторщика рублей на десять, а остальныхъ тоже... А главное, заставить ихъ работать... Если же опять запустятъ книги—выгнать безъ разговора!..»

Такъ именно думалъ управляющій, пока ѣхалъ въ покойномъ, тепломъ чистенькомъ купѣ, но когда онъ пересѣлъ въ экипажъ, чтобы проѣхать тѣ 28 верстъ, которыя отдѣляли станцію желѣзной дороги отъ паршивенькаго уѣзднаго городка, гдѣ сгоряча построили казенный винный складъ, —когда лошади остановились на полпути, экипажъ потонулъ въ грязи, а безтолковый извозчикъ заявилъ: «Придется, ваше благородіе,

ночевать въ полѣ: нѣтъ ходу... И, досада, и понесло же меня!..» (Дуракъ! не видитъ, кого везетъ: шинель съ зелеными отворотами, а онъ говоритъ «ваше благородіе»!)— когда, наконецъ, лошади тронули, а спустя полчаса опять остановились, и такъ промучились часъ, другой, третій, промучились до часу ночи, а выѣхали со станціи въ 7 часовъ вечера,—управляющій вновь потерялъ всякое чувство человеколюбія и твердо рѣшилъ разогнать всѣхъ служащихъ въ складѣ № 13.

«Не стану же я въ самомъ дѣлѣ всякій разъ ѣздить къ нимъ въ распутицу изъ-за того, что они пьянствуютъ!.. А послать некого: ревизоры ничего не хотятъ дѣлать, положительно ничѣмъ не интересуются: ни акцизомъ, ни монополіей; только курятъ сигары, шумятъ въ управленіи, да разсуждаютъ о войнѣ англичанъ съ бурами...—думалъ управляющій. Нѣтъ, разъ навсегда надо положить конецъ... Сейчасъ-же, прежде чѣмъ лечь спать, потребую всѣ книги и оставлю ихъ у себя до утра, а тамъ видно будетъ, кто изъ нихъ чѣмъ занимается»,—заклучилъ онъ.

— Пріѣхали, ваше благородіе! Слава те Господи!.. Вонъ и монополія ваша: огонекъ свѣтится... Во дворъ прикажете?

— Да. Къ контрольной сторожкѣ; тамъ фонарь долженъ быть съ улицы... Разбудишь сторожа, онъ откроетъ ворота.

Но предположеніе управляющаго въ послѣднемъ случаѣ не оправдалось: ворота у контрольной сторожки оказались открытыми настежь, а

посрединѣ вѣзда въ нихъ, по линіи воротъ, стоялъ съ фонаремъ въ рукѣ контрольный сторожъ, и не успѣли наши путешественники повернуть съ улицы въ проѣздъ воротъ, какъ онъ, сдѣлавъ «честь», громко, по-солдатски прокричалъ:

— Здра-авія желаемъ, ваше превосходительство!..

Это привѣтствіе какъ громъ поразило управляющаго. Точно кто-то неожиданно выстрѣлил въ него, но не ранилъ, а опалилъ лицо... Такого сюрприза онъ никакъ не ожидалъ.

— Ты кто?—въ гнѣвѣ спросилъ управляющій, не вставая изъ экипажа.

— Контрольный сторожъ, ваше превосходительство...

— Но почему же у тебя ворота настежь въ два часа ночи?

— Какже... Ожидали пріѣзда вашего превосходительства...

— Да ты знаешь кто я таковъ?

— Такъ точно, ваше превосходительство.

— А кто?

— Ваше превосходительство...

— Но какую я занимаю должность? Пони-маешь?

— Такъ точно... Должность господина управляющаго акцизными сборами, ваше превосходительство...

— И ты зналъ о моемъ пріѣздѣ?

— Такъ точно... Вторые сутки ожидаемъ вашего превосходительства. Вчера весь день

складъ мыли... И господинъ завѣдующій съ конторщикомъ только-что вышли изъ конторы, а вчера всю ночь напролетъ занимались дѣлами...

Больше разсуждать было не о чемъ.

— Проводи меня въ помѣщеніе «для пріѣзжихъ»,—грустнымъ, упавшимъ голосомъ, приказалъ управляющій.

— Слу-ушаю!—выкрикнулъ слуга и въ ту же секунду схватилъ подъ мышку лежавшій въ экипажѣ чемоданъ.

Контрольный сторожъ по всѣмъ правиламъ гостепріимства поселилъ управляющаго въ помѣщеніи для пріѣзжихъ чиновниковъ, расположенномъ рядомъ съ конторой: зажегъ двѣ свѣчи, лампу, налилъ въ графинъ свѣжей воды, оправилъ постель и проч.

— Прикажете позвать господина завѣдующаго?

— Да развѣ онъ не спитъ еще?

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство! Только-что изволили выйти съ конторщикомъ... Минуть двадцать, полчасъ назадъ...

— Ну, хорошо... Позови...

Явился завѣдующій. Управляющій сухо отвѣтилъ на его поклонъ и не глядя протянулъ руку.

— Вы что-же не спите еще?

— Такъ, ваше превосходительство... Вообще я не привыкъ спать много...

— Гм... И всегда вы такъ поздно ложитесь? Кажется, два часа ночи?..

— Совершенно вѣрно... Привычка... Я вообще не люблю спать много...

— А когда вы встаете по утрамъ? Въ какомъ часу?..

— Въ шесть, въ полчаса седьмого: къ семи я всегда въ складѣ...—совершенно спокойно отвѣтилъ завѣдующій и тутъ же подумалъ: «Что за странные вопросы, ей-Богу!»

— Мало вы спите...—иронически и нараспѣвъ процѣдилъ управляющій.—Вѣроятно отдыхаете послѣ обѣда?

— Никогда, ваше превосходительство! И радъ бы уснуть послѣ обѣда—не могу: не привыкъ...

Завѣдующій въ этомъ случаѣ не лгалъ. Онъ дѣйствительно никогда не спалъ послѣ обѣда.

Управляющій волновался. Его страшно бѣсило то, что завѣдующій складомъ, котораго онъ считалъ порядочнымъ человекомъ, говорить неправду.

— А вы знали о томъ, что я приѣду къ вамъ?—съ язвительной улыбкой спросилъ управляющій, ехидно засматривая своему собесѣднику въ глаза.

Завѣдующій видимо смутился и прежде чѣмъ можно было сообразить, что нужно отвѣтить въ этомъ случаѣ, онъ убѣжденно выпалилъ:

— Я... зналъ?—Никогда!..

— Послушайте, зачѣмъ вы врете, извините за выраженіе!.. Зачѣмъ вы врете, я не понимаю, ей-Богу!.. Вѣдь вы два дня складъ моете, двѣ ночи напролетъ занимаетесь въ конторѣ; конторщикъ вашъ ни-черта не дѣлаетъ, только пьетъ, пьютъ писцы,—всѣ вы пьете, а дѣло стоитъ; за двѣ недѣли книги не записаны!.. И только теперь,

узнавъ о моемъ прїѣздѣ, вы вздумали приводить все въ порядокъ... Мало того, вы еще утверждаете, что не знали о томъ, что я буду у васъ въ то время, когда всѣ ваши сторожа и рабочие знали объ этомъ: контрольные ворота въ два часа ночи стоятъ настежь, а сторожъ, какъ часовой, какъ дуракъ, караулитъ меня у открытыхъ воротъ съ фонаремъ въ рукѣ!.. И только вы одинъ не знали о моемъ прїѣздѣ? Да?

— Въ такомъ случаѣ, простите, ваше превосходительство... Виновать... Да, я зналъ.

— Еще бы! Но хорошо... Пришлите сейчасъ книги. Поговоримъ завтра.

Завѣдующій поспѣшилъ въ контору, собралъ по разнымъ столамъ пуда три конторскихъ книгъ, сгребъ ихъ въ охапку и притащилъ къ управляющему, краснѣя отъ стыда.

— А пока покойной ночи... Пора спать,— прощѣдилъ гость, не глядя на завѣдующаго и не подавая руки.

Завѣдующій вышелъ. Онъ чувствовалъ себя такъ, точно его оплевали со всѣхъ сторонъ: спереди, сзади, съ головы до ногъ.

Проходя мимо контрольной сторожки и увидѣвъ торчащаго у фонаря сторожа Степана, единственного виновника только-что пережитаго скандала, завѣдующій не выдержалъ и подойдя близко къ сторожу, горячо прокричалъ:

— Скотина!.. Дуракъ!.. Подлецъ!.. Я тебя, мерзавца, въ двадцать четыре часа выгоню!.. Осель ты!..

И прежде, чѣмъ Степанъ могъ очнуться отъ

этого крѣпкаго разговора, прежде чѣмъ могъ выкрикнуть одно изъ любимыхъ словъ своего солдатскаго лексикона, завѣдующаго уже не было: онъ исчезъ по направленію къ своей квартирѣ.

III.

Эту ночь спалось дурно и управляющему, и завѣдующему, и контрольному сторожу Степану. Всѣ они переживали одно и то-же. Эти люди, такъ глубоко разныя другъ отъ друга по своему служебному положенію, по своему умственному и нравственному развитію, теперь представляли изъ себя одно цѣлое, строго гармоничное, по переживаемымъ ими чувствамъ.

Управляющій долго не могъ уснуть. Поворачиваясь съ бока на бокъ, онъ никакъ не могъ примириться съ тѣмъ глупымъ положеніемъ, въ которое онъ попалъ, благодаря своей горячности.

«Не слѣдовало бы ѣхать, вовсе не слѣдовало-бы!»—думалъ онъ всякій разъ, когда его что-то какъ бы толкало со стороны на сторону, мѣшая ему уснуть, точно онъ все еще сидѣлъ въ экипажѣ и болталъ головой и всѣмъ туловищемъ впередъ и назадъ, направо и налево, когда тарантасъ то утопалъ въ ухабахъ, то выплывалъ наверхъ, невыносимо-отвратительной дороги. «Конечно, не слѣдовало-бы ѣхать!»—упорно думалъ онъ. «Слѣдовало бы послать ревизора, пусть бы онъ разобрался хорошенько... Вѣдь для того они, ревизоры-то, и даны мнѣ, чтобы примѣнять ихъ

на практикѣ, а не для того, чтобы круглый годъ сидѣть въ управленіи, да разсуждать о войнѣ англичанъ съ бурами... Это прямо-таки мой долгъ пристроить ихъ къ дѣлу, чтобы они не напрасно получали отъ казны жалованье... Да и не могу же я одинъ успѣть вездѣ и всюду! Чортъ знаетъ какая гадость! Тамъ ничего не дѣлаютъ, тутъ пьютъ водку, вездѣ безобразіе, халатное отношеніе къ дѣлу... Ужъ не выйти ли самому въ отставку?»

То же самое думалъ и завѣдующій складомъ, лежа въ постели и поворачиваясь съ бока на бокъ.

«Хотѣлъ было сдѣлать какъ лучше, пожалѣлъ другихъ, а вышло наоборотъ: и другимъ не помогъ, и самъ попалъ въ петлю,—думалъ онъ.—И нужно же было поставить этого дурака контрольнымъ сторожемъ?.. Открывъ, болванъ, ворота, вылъзъ на улицу и ожидаетъ... Конечно, такая глупость хоть кого взбѣситъ!.. Я бы самъ взбѣленился на мѣстѣ управляющаго... И вотъ, изъ-за какого-либо сторожа-идіота теперь придется выйти въ отставку... И уйду, ей-Богу, уйду со службы, если управляющій вздумаетъ сказать еще хоть одну дерзость!.. Чортъ съ ними и съ ихъ монополіей! Кажется и безъ того уже высосали всѣ соки!.. Я никогда не былъ такимъ нервнымъ; какимъ сталъ теперь...»

Тутъ завѣдующій взволновался до такой степени, что не могъ лежать въ постели. Онъ зажегъ свѣчу и зашагалъ по комнатѣ, жадно гло-

тая по цѣлому облаку удушливаго табачнаго дыма. «Завтра же уйду въ отставку... Честное слово, уйду со службы, если обстоятельства примутъ болѣе сложный характеръ!..»

То же самое, что думали управляющій и завѣдующій, то же думалъ и чувствовалъ контрольный сторожъ Степанъ. Исполнительности этого человѣка въ дѣлѣ службы и преданности его этой службѣ не было границъ. Если бы на Степана возложили какое-либо чудовищно-непосильное дѣло, то и тогда бы онъ не отказался отъ исполненія его. И такимъ онъ былъ всю жизнь: и на военной службѣ и по выходѣ въ отставку, и всѣ тѣ кому онъ служилъ, были довольны имъ. До сихъ поръ былъ доволенъ имъ и завѣдующій складомъ, а теперь хотъ уходи со службы. И Степанъ продолжалъ стоять у фонаря, какъ вкопанный, не шевеля ни однимъ членомъ, точно онъ самъ обратился въ такой же столбъ, на которомъ можно было пригвоздить фонарь, точно онъ вдругъ потерялъ всякую способность къ движенію, окаменѣлъ. Степанъ чувствовалъ одно, что внутри его грудной клѣтки, въ томъ самомъ ея мѣстѣ, гдѣ расположено сердце, что-то жжетъ немилосердно, и что въ теченіе всѣхъ 60 лѣтъ своей жизни онъ никогда не чувствовалъ такой боли... Главное, онъ не могъ понять своей вины передъ начальствомъ, что еще болѣе терзало его. Онъ терялся въ догадкахъ, припоминалъ каждое слово своего разговора съ управляющимъ: «Никакъ нѣтъ»... «Точно такъ»... «Слушаю-съ, ваше превосходительство»...—все это, кажется, бы-

ло произнесено имъ въ должной мѣрѣ и съ должнымъ чувствомъ и быстротой, какъ это приходилось произносить ему всю жизнь, несмѣтное число разъ. За десять минутъ до пріѣзда высокаго гостя Степанъ открылъ ворота, въ сотый разъ осмотрѣлъ съ фонаремъ мостовую и замѣтивъ на ней длинную соломенку, поспѣшилъ поднять ее и спрятать въ карманъ...

И послѣ этого раздумья Степану стало еще тяжелѣе, еще сильнѣе сказалась въ сердцѣ жгучая боль. Мелкая слеза проскользнула по обочкѣ старческаго глаза и дойдя до рѣсницы, остановилась на ней.

Изъ-за чего волновались и управляющій, и завѣдующій, и контрольный сторожъ Степанъ? Изъ-за чего страдали эти люди?

IV.

Управляющій проснулся раньше обыкновеннаго и чувствовалъ себя еще болѣе гадко, чѣмъ наканунѣ. Онъ не зналъ, что ему дѣлать, съ чего начать слѣдствіе, да и начинать ли его? Что книги были запущены и что ихъ «подогнали» за послѣднія двѣ ночи, онъ нисколько не сомнѣвался, какъ не сомнѣвался и въ томъ, что конторщикъ и прочіе пьютъ, и что въ складѣ вообще «неблагополучно».

«Послѣ этого, какое же можетъ быть тутъ слѣдствіе? — думалъ онъ. — Остается одно — уѣ-

хоть поскорѣе и «оттуда» принять мѣры: выгнать или оштрафовать или, по крайней мѣрѣ, сдѣлать строгій выговоръ...»

Тутъ управляющій невольно взглянулъ на грудѹ лежащихъ на столѣ конторскихъ книгъ и ему сдѣлалось стыдно. «Зачѣмъ я потребовалъ ихъ съ ночи? Зачѣмъ они мнѣ, разъ ихъ привели въ порядоѹ и разъ теперь нельзя опредѣлить по нимъ, насколько исправно вносились въ нихъ записи до моего прїѣзда?..»

И снѣ, какъ бы помимо желанія, подошелъ къ столу и открылъ одну изъ книгъ. Книга оказалась заполненной должными записями по послѣднее число мѣсяца.

«Все, все есть!—подумалъ управляющій, безцѣльно перелистывая книгу:—и двадцатки, и сороковки, и сотни, и двухсотки—«мерзавчики» и «чижики», какъ называютъ ихъ крестьяне... Все въ порядкѣ... Да!...»

«А сколько разъ поговаривали о томъ, чтобы упразднить эту мелочь, эти «мерзавчики» и «чижики»,—пришло въ мысль управляющему.—Говорятъ, что это большое зло, что эти самые мерзавчики и чижики служатъ разсадникомъ пьянства въ средѣ нищихъ и даже дѣтей. Пожалуй, такое предположеніе не лишено основаній... Ужъ больно они доступны по цѣнѣ, слишкомъ ужъ дешевы: «мерзавчикъ» стоитъ, кажется, 11 копеекъ, а «чижикъ»—6. И то вмѣстѣ съ посудой, а безъ посуды—тотъ 8, а тотъ 4. Къ тому же, ихъ удобно сунуть въ карманъ, въ рукавъ, куда вздумается, и выпить удобно: два-три глотка—

и готово... И конторщикъ, вѣроятно, тоже пьетъ изъ «мерзавчиковъ», либо изъ «чижиковъ», и писцы, и всѣ... А не будь этой мелочи можетъ быть и въ складѣ пьянства было бы меньше...»

«Кстати, нужно поговорить съ конторщикомъ относительно его несноснаго поведенія...»

И управляющій велѣлъ позвать конторщика.

— Скажите, вы пьете?—спросилъ онъ у него, еле отвѣтивъ на поклонъ и не подавая руки.—Только говорите правду.

— Пью.

— И напиваетесь до сумасшествія? Да?

— То-есть какъ?—робко спросилъ тотъ.

— Какъ? Пока помутится въ мозгахъ, а въ глазахъ запрыгаютъ чортики... Пока перо вывалится изъ рукъ... Пока книги останутся безъ записей на двѣ недѣли... Такъ вы пьете?..

Управляющій волновался, пронизывая вспылчивымъ взлядомъ все существо оробѣвшаго мопололиста. Послѣдній поблѣднѣлъ, задрожали руки, колѣни, а въ глазахъ, въ выраженіи лица, въ каждомъ его мускулѣ проскользнула тѣнь глубоко затаеннаго страданія.

— Книги у меня въ порядкѣ, ваше превосходительство,—рѣшительнымъ тономъ, но съ дрожью въ голосѣ произнесъ онъ.—Извольте пересмотрѣть всѣ.

— И все-таки вы не можете оставаться на службѣ въ складѣ... Слышите? Подыщите себѣ мѣсто заблаговременно, а иначе вы очутитесь на улицѣ...

Конторщикъ молчалъ, лишь все болѣе и болѣе дрожали руки, колѣни, вздрагивала голова.

— Предупреждаю васъ первый и послѣдній разъ,—продолжалъ управляющій, повысивъ голосъ:—если вы не оставите пить, я васъ устраню отъ должности! Слышите? Ступайте...

Конторщикъ поклонился и вышелъ.

«Кажется, теперь все,—подумалъ управляющій:—теперь можно уѣхать. Въ складъ я не пойду и съ завѣдующимъ говорить не стану—это тоже будетъ имѣть свое значеніе. Это твержѣ словъ будетъ свидѣтельствовать о томъ, что шутить съ ними я не намѣренъ».

Въ первомъ случаѣ управляющій дѣйствительно сдержалъ слово—не пошелъ въ складъ, ни въ одно изъ отдѣленій, а во второмъ—не выдержалъ: передъ отъѣздомъ заговорилъ съ завѣдующимъ.

— Скажите откровенно: конторщикъ вашъ пьетъ сильно?—спросилъ онъ завѣдующаго.

— Смотря какъ смотрѣть на вещи, ваше превосходительство. По моему—нѣтъ.

Такой отвѣтъ показался управляющему уклончивымъ и не только не удовлетворилъ его, а напротивъ, вызвалъ въ немъ вспышку.

— Старайтесь всегда смотрѣть на вещи такъ, какъ принято смотрѣть на нихъ съ точки зрѣнія общечеловѣческаго благоразумія,—процѣдилъ управляющій съ легкой, еле уловимой дрожью въ голосѣ.

— Вотъ потому-то именно мнѣ и кажется, что—нѣтъ, ваше превосходительство... Нельзя сказать, что конторщикъ пьетъ сильно...—настаивалъ на своемъ завѣдующій.—Пьетъ, какъ и всѣ... какъ пьютъ многіе...

Управляющій молчалъ; тонъ рѣчи завѣдующаго видимо смутилъ его. Раздраженіе на лицѣ исчезло на минуту, но потомъ выступило опять, еще въ болѣе рѣзкой формѣ.

— А что вы называете пить такъ, какъ пьютъ всѣ? По-сколько, напримѣръ, пьетъ вашъ конторщикъ?

— По соткѣ или двухсоткѣ въ день, къ обѣду и ужину, а можетъ быть иногда и больше... Правда, бываетъ иногда навеселѣ, но пьянъ не бываетъ... По крайней мѣрѣ, я не замѣчалъ.

Управляющій подумалъ: «Я не ошибся... Я такъ и полагалъ, что конторщикъ опрокидываетъ «мерзавчики» и «чижики»... Пролытая посуда!.. И нужно было казнѣ связаться съ этой дрянью, этимъ разсадникомъ пьянства!..»

— Ну, а сколько разъ въ день конторщикъ вашъ обѣдаетъ и ужинаетъ?—съ явной ироніей спросилъ онъ и, не выждавъ отвѣта, продолжалъ:—ну, а писцы ваши? И они пьютъ такъ же умѣренно, какъ и конторщикъ? Или совсѣмъ не пьютъ?

Скользнувшая на устахъ управляющаго нехорошая улыбка помѣшала завѣдующему отвѣтить на предложенные ему вопросы.

«Выйду въ отставку!—подумалъ онъ,—ей-Богу, уйду со службы, если онъ еще позволить себѣ такъ ехидно иронизировать!.. Чортъ знаетъ, что такое! Вѣроятно, онъ задался цѣлью довести меня до сумасшествія! Не школьникъ же я ему въ самомъ дѣлѣ?!»

Управляющій какъ-бы понялъ это. Улыбка

исчезла, уступивъ свое мѣсто разсѣянному раздумью.

— Ну, такъ какъ-же все-таки писцы-то ваши?—спокойно спросилъ онъ.

— Нѣкоторые пьютъ, а большинство не пьетъ вовсе,—отвѣчалъ завѣдующій, стараясь быть спокойнымъ.—Да я и не удивляюсь тому, ваше превосходительство, что нѣкоторые изъ нихъ пьютъ, а скорѣе не понимаю того, что большинство не пьетъ... Кто къ намъ порядочный пойдетъ въ писцы-то? Платимъ мы имъ 25—30 рублей въ мѣсяцъ, а заставляемъ работать по 16 часовъ въ сутки, сидѣть до часу ночи... Извольте присмотрѣться къ нимъ: они у насъ, какъ верблюды въ Сахарѣ, по недѣлѣ не ѣдятъ и ходятъ оборванными... И конечно, нѣкоторые изъ нихъ дорожатъ мѣстомъ только изъ-за водки, не иначе. Пойдетъ въ разливное за «рапортомъ» или иной предлогъ придумаетъ и хватить по пути въ карманъ или сунетъ въ рукавъ сотку или двухсотку, а то и штуки двѣ-три за разъ: посуда мелкая, удобная...

Управляющій опять подумалъ: «Такъ, такъ, завѣдующій говоритъ правду: «мерзавчики» и «чижики» и тутъ дѣлаютъ свое дѣло. Не будь ихъ, навѣрно, и межъ писцами пьяницъ было-бы меньше. Конечно, двадцатку или сороковку не такъ легко сунуть въ рукавъ и въ карманъ тоже оттопырилась бы... Мерзкая посуда, что говорить!...»

— А это ужъ вы сами обязаны поставить дѣло такъ, чтобы писцы не работали у васъ по 16 часовъ въ сутки и не голодали бы по не-

дѣлѣ,—сказаль управляющій совсѣмъ не то, что думаль.—Это можно отнести только къ вашей нераспорядительности. И нельзя имъ позволять пить: нужно учредить контроль. Очевидно, вы еще не позаботились объ этомъ.

«И такъ всѣ они разсуждаютъ, ей-Богу, всѣ, всѣ господа генералы!—подумаль завѣдующій, горячась.—У нихъ какой-то своеобразный, чисто-генеральскій складъ ума, не такой, какъ у прочихъ людей... Все они валять на меня, а что я могу сдѣлать, когда не хватаетъ средствъ!.. Завели нѣсколько десятковъ книгъ, миллионы документовъ, обо всемъ пиши, входи съ «представленіемъ», сочиняй «мотивы», когда и безъ «мотивовъ» все ясно какъ Божій день... Наконецъ, требуютъ, чтобы все дѣлалось во время, а штатъ служащихъ малъ, потому что нѣтъ средствъ... Поневолѣ будешь морить людей до часу ночи... Тутъ всякое человѣческое достоинство и въ себѣ и въ ближнемъ поидеть на смарку...»

Управляющій молча ходилъ по комнатѣ.

— Ну, а вотъ хотя бы взять трудъ и окладъ содержанія помощниковъ конторщика,—сказаль завѣдующій.—Неужели и тутъ отвѣчаетъ одно другому, ваше превосходительство? Мы требуемъ отъ нихъ, чтобы они были учеными бухгалтерами, чтобы умѣли сочинять бумаги, заставляемъ заниматься весь день, даже по вечерамъ, по праздникамъ; имъ некогда пойти въ парикмахерскую—подстричь волосы, а платимъ-то имъ за все это не больше и не меньше какъ 37 руб-

лей 50 копеекъ въ мѣсяцъ! Какъ имъ не пить при такихъ условіяхъ?! Они и говорятъ: «ну, чтожъ, пусть отказываютъ отъ службы! Ъли хлѣбъ до вашей монополии и впредѣ ѣсть будемъ... Эко счастье!..» — И, пожалуй, они правы на своемъ мѣстѣ.

— Мы отвлеклись отъ дѣла, — разсѣянно процѣдилъ управляющій. — Я, кажется, не о томъ васъ спрашивалъ... Я имѣлъ обратить ваше вниманіе на неправильную постановку дѣла конторы въ отношеніи продолжительности занятій служащихъ въ ней. Нужно сѣумѣть поставить дѣло такъ, чтобы и въ порядкѣ все было и чтобы не обременять писцовъ непосильной работой, строго сообразуясь при этомъ и съ отпускаемымъ вамъ на сей предметъ кредитомъ... А это можно сдѣлать, несомнѣнно... Это ужъ доказано на опытѣ... Вы разберитесь хорошенько...

Завѣдующій не нашелъ возможнымъ отвѣтить на слова управляющаго и этимъ какъ бы выразилъ свое согласіе.

«Что-жъ? — Генераль... И смотреть на вещи «по-генеральски», подумалъ онъ.

— Да, вотъ еще о чемъ скажите мнѣ, — прополжалъ управляющій послѣ минутнаго молчанія и въ голосъ его опять сказала нотка нервнаго раздраженія. — Былъ ли у васъ такой случай, что одинъ изъ писцовъ напился до отравленія, и что его отливали водой изъ ушата тутъ же, въ конторѣ?.. Это не такъ давно было...

— Это одно недоразумѣніе, ваше превосходительство. Писецъ этотъ не пьетъ вовсе... Онъ просто больной человѣкъ.

И завѣдующій подумалъ: «Какъ это скоро дошло до него! Правду говорятъ, что у генераловъ сто глазъ и сто ушей... А сколько же глазъ и ушей у управляющаго акцизными сборами?..»

— То-есть, какъ понять это?—спросилъ управляющій.—Все же имѣлъ мѣсто такой случай?.. Вы не отрицаете?

— Да, дѣйствительно, не такъ давно былъ случай, что писца Кузьмихина отливали водой въ конторѣ, приводили въ чувство. Но онъ вовсе не былъ пьянъ...

— А что же случилось съ нимъ?—Интересно знать.

И въ голосѣ, и въ улыбкѣ управляющаго сказалось недовѣріе.

— Страдаетъ сочленистымъ ревматизмомъ... И однажды въ конторѣ около часа ночи, когда всѣ ушли съ занятій, растеръ себя отгономъ (сивушнымъ масломъ) и такъ поусердствовалъ надъ этой операціей, что одурѣлъ: впалъ въ обморокъ.

— Вы такъ полагаете?

— Да, это такъ было.

— А не хватилъ ли онъ отгона?—все съ тѣмъ же недовѣріемъ спросилъ управляющій.

— Не думаю... Вообще онъ не пьетъ... Это видно по немъ, по всей его фигурѣ...

— А позовите его. Онъ и теперь служить?

— Да.

Явился Кузьмихинъ.

Высокій, тонкій, слабогрудый, съ длинными кривыми, точно переломанными въ нѣсколькихъ

мѣстахъ ногами, блѣднымъ изнеможеннымъ лицомъ, онъ представлялъ изъ себя скорѣе тѣнь человѣка, а не живое существо... Увидѣвъ его, управляющій какъ-бы нервно вздрогнулъ и слегка прищурилъ глаза, а въ мысляхъ его промелькнуло: «Батюшки! да онъ совсѣмъ безъ живота... Навѣрно, это и есть тотъ самый верблюдъ изъ Сахары, о которомъ говорилъ завѣдующій... Такъ, такъ... Онъ и похожъ на верблюда!»

— Вы что же, совсѣмъ больной человѣкъ?— спросилъ управляющій, теряясь въ мысляхъ и не находя исхода въ томъ, что можно было-бы сказать еще.

— Такъ точно, ваше превосходительство... Но я работать могу... Я исправно занимаюсь и по ночамъ...

— Ничего, ничего... хорошо... идите... Больше ничего...

Писецъ ушелъ.

— Откуда вы взяли его, скажите пожалуйста?— обратился управляющій къ завѣдующему по выходѣ Кузьмихина, и въ голосѣ его прозвучала нотка не то неудовольствія, не то раздраженія.

— Изъ казеннаго же склада.

— Изъ какого?

Завѣдующій назвалъ.

— И давно онъ служить въ складахъ?

— Съ девяносто пятаго года... со введенія казенной продажи питей... И понимаетъ дѣло.

— Отчего онъ такой жалкій?

— Больной.

— Онъ и раньше былъ такимъ?

— Да, насколько помнится.

— И говорите—не пьеть?

— Да.

— А можетъ быть онъ пьеть дома, по ночамъ?

— Не думаю; онъ всю ночь просиживаетъ тутъ же, въ конторѣ,—даже по праздникамъ, всегда...

— Вѣроятно, онъ пилъ раньше, до поступленія въ складъ?

— Можетъ быть... Не знаю...

Наступившее молчаніе продолжалось минуты двѣ, три.

— Вообще возьмите себѣ за правило: пьяницъ въ складѣ не держать...—твердымъ, рѣшительнымъ тономъ отчеканилъ управляющій.— Скажите вашему конторщику, что если онъ не оставитъ пить, я немедленно же отрѣшу его отъ должности... Скажите его помощникамъ, скажите всѣмъ... Такъ и скажите: управляющій пьяницъ терпѣть не можетъ и не можетъ допустить того, чтобы въ казенномъ складѣ творились безобразія!.. Вамъ же я долженъ сказать, къ сожалѣнію, что я ожидалъ отъ васъ бѣльшаго... Вы распустили служащихъ... мало вникаете въ дѣло... мало у васъ порядка... и быть спокойнымъ за ввѣренный вамъ складъ, къ несчастью, я не могу... До-свиданья!

Тутъ управляющій нервно протянулъ руку и черезъ десять минутъ уѣхалъ.

Въ тотъ же день подъ вечеръ, завѣдующій призвавъ къ себѣ въ кабинетъ контрольнаго сторожа Степана и сказалъ ему слѣдующее:

— Держать тебя контрольнымъ сторожемъ я не могу: ты не годишься для этой службы... Желаешь—переходи въ дворники, а не желаешь...

— Я желаю быть контрольнымъ сторожемъ ваше высокоблагородіе,—тихимъ дрожащимъ голосомъ произнесъ Степанъ и отвѣсилъ при этомъ низкій поклонъ.

Завѣдующій вспылить.

— А я желалъ бы быть управляющимъ акцизными сборами, да нѣтъ вакансій!—рѣзко прокричалъ онъ.—Мало ли чего мы не пожелали бы... Ну, уходи!

На слѣдующій день Степанъ взялъ расчетъ и съѣхалъ съ казенной квартиры.

У.

Четверикъ сытыхъ, надежныхъ лошадей дружно тащилъ экипажъ, въ которомъ сидѣлъ управляющій, и предполагать какую-либо случайность въ пути теперь уже не было оснований. Ямщикъ попался тоже лихой, бывалый, и на всякое первое слово обращаемой къ нему рѣчи почтеннаго пассажира, онъ быстро поворачивалъ назадъ голову и пріятнымъ мажорнымъ тономъ произносилъ: «Слушаю-сь! Что прикажете, ваше превосходительство?»

И управляющему было пріятно и то, что

лошади охотно несли свою службу, и то, что онъ не опоздаетъ къ поѣзду и, наконецъ, что ямщикъ понимаетъ «дѣло» и величаетъ его по чину,—и управляющій чувствовалъ себя недурно.

«Все-таки хорошо, что я побывалъ въ складѣ,—думалъ онъ:—по крайней мѣрѣ уяснилъ себѣ суть дѣла, уяснилъ все, что нужно было... Теперь они, конечно, «подтянутся»: и завѣдующій, и конторщикъ, и всѣ... А ревизоръ... Что ревизоръ? Онъ только больше бы запуталъ мнѣ дѣло, ввелъ бы меня въ заблужденіе и я сгоряча надѣлалъ бы глупостей: навѣрно, выгналъ бы конторщика и еще кого-либо, и еще... Несомнѣнно, такъ и было бы... Своихъ ревизоровъ я изучилъ, кажется: насчетъ доносовъ и всякихъ несуразностей—народъ способный, а дѣло дѣлать не хотятъ!...»

Управляющій бросилъ въ сторону, мимо правого плеча ямщика, безцѣльный взоръ, какъ-бы желая на нѣкоторое время не мыслить, не чувствовать, забыть обо всемъ томъ, что такъ озабочивало и волновало его въ послѣдніе дни. Увидѣвъ вдали, въ глубинѣ стени, чернѣющую точку, не то медленно движущуюся впередъ, не то стоящую на мѣстѣ, онъ разсѣянно спросилъ у ямщика:

— Извозчикъ! Что это чернѣетъ направо? Видишь?

— Слушаю-сь! Что прикажете, ваше превосходительство?—обычнымъ, веселымъ тономъ прокричалъ ямщикъ, ловко поворачивая голову и украшая и безъ того пріятное и добродушное лицо свое широкой, симпатичной улыбкой.

— Я говорю—что это чернѣть въ степи, направо... Видишь? Вѣроятно, кто-то загрузъ въ пути, лошади выбились изъ силъ...

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство! Это маякъ чернѣть... Вонъ другой и третій, а остальныхъ не видно... Большая почтовая дорога... она идетъ въ сторонѣ отъ нашего города, верстахъ въ пятнадцати.

Управляющій молчалъ.

— Окромя ничего не изволите приказать, ваше превосходительство?—спросилъ заботливый ямщикъ.

Отвѣта не послѣдовало: пассажиромъ вновь овладѣло раздумье.

«А конторщикъ, видно, человѣкъ порядочный, честный,—мелькнуло у него въ мысляхъ:—потому что, на мой вопросъ—не пьетъ ли онъ?—откровенно сказалъ: «пью»... И несомнѣнно, не такъ ужъ онъ много пьетъ какъ мнѣ о томъ наговорили. Вѣроятно, завѣдующій сказалъ правду: по соткѣ или двухсоткѣ въ день, къ обѣду и ужину... Ну, допустимъ, что конторщикъ пьетъ по два «мерзавчика» или по два «чижика» разъ—не больше... Къ тому же онъ и съ виду не похожъ на пьяницу: бодрый, свѣжій и лицо здоровое, чистое—совсѣмъ не то, что нѣкоторые изъ моихъ чиновниковъ».

Управляющій сталъ перебирать въ мысляхъ «пьющихъ» чиновниковъ, переходя отъ одного изъ нихъ къ другому и отводя въ этомъ случаѣ пальму первенства одному изъ нихъ.

«Этотъ «гусь», — думалъ управляющій, —

петь по призванію, всю жизнь петь: и лѣтомъ, и зимой, и осенью—круглый годъ петь и днемъ, и ночью, и только тогда не петь когда спать... Онъ совсѣмъ осовѣлъ отъ алкоголя; у него не только кожа имѣетъ особенный, своеобразный цвѣтъ, но даже ногти, оболочка глазъ. Мнѣ какъ-то пришлось видѣть у доктора отнятый отъ руки палецъ, плавающий въ банкѣ со спиртомъ въ теченіе многихъ лѣтъ. И вотъ точно такой же видъ наспиртованнаго пальца имѣетъ и мой чиновникъ... Совсѣмъ такой же, такой...—А все же онъ служить у меня, все же я не гоню его—примирился...

Управляющій опять бросилъ въ сторону безцѣльный взглядъ, снова какъ-бы желая забыть-ся, уйти отъ собственныхъ мыслей, отъ нахлынувшихъ воспоминаній.

«А конторщика хотѣлъ было выгнать,—продолжалъ онъ послѣ минутнаго забытья:—совсѣмъ было рѣшилъ, да во время одумался... Вообще чиновники вездѣ прочно сидятъ на своихъ мѣстахъ, а въ «акцизѣ» въ особенности; съ ними и говорятъ иначе, и требуютъ отъ нихъ иначе, и даже руку подають иначе, совсѣмъ иначе... И такъ вездѣ принято дѣлать, вездѣ и всюду... А монопольныхъ служащихъ вездѣ и всюду гонятъ, гонятъ за все: за одинъ-два выпитыхъ «мерзавчика» или «чижика»... Надняхъ мнѣ передавалъ одинъ изъ управляющихъ, что ему въ первый же годъ пришлось перемѣнить почти всѣхъ монопольныхъ служащихъ и набрать новыхъ, потомъ еще перемѣнить... и еще,

еще... И только одинъ нашелся управляющій, который сталъ было гнать чиновниковъ, да и самому пришлось уйти со службы... Да, пришлось...»

Экипажъ ввалился въ глубокую рытвину и управляющій, какъ-бы очнувшись отъ раздумья, заболталъ головой и всѣмъ туловищемъ впередъ и назадъ, направо и налево.

— Виноватъ, ваше превосходительство!—любезно прокричалъ ямщикъ, оборачиваясь назадъ, какъ-бы для убѣжденія, не вывалился-ли изъ экипажа почтенный пассажиръ.

«А это оттого такъ, а не иначе,—продолжалъ думать управляющій, не обращая вниманія на причиненное ему беспокойство, а тѣмъ болѣе на слова ямщика, и какъ бы боясь потерять нить своего раздумья:—это оттого такъ, что въ средѣ чиновниковъ вообще силенъ корпоративный духъ, а въ «акцизѣ» онъ силенъ въ особенности... Въ «акцизѣ» всѣ стоятъ за одного и одинъ за всѣхъ, кто бы ни былъ этотъ одинъ и кто бы ни были всѣ... И съ этимъ-то считается нужно... да, нужно... И считаешься...»

«А монопольные служащіе—это пчелы безъ матки... Это стадо безъ пастыря...—заклучилъ онъ:—и ихъ, какъ покорныхъ овецъ, можно загнать и въ огонь, и въ воду... Идутъ... И много ихъ блуждаетъ теперь изъ склада въ складъ... много...»

На этой мысли управляющій успокоился, точно онъ спѣшилъ прійти къ такому выводу, чтобы потомъ дать отдыхъ мозгамъ—ни о чемъ не

думать. Впрочемъ, такой перерывъ въ его мысляхъ продолжался не долго—минуты двѣ-три, не больше,—и имъ опять овладѣло раздумье. Но на этотъ разъ въ мысляхъ управляющаго уже не было той послѣдовательности, какая замѣчалась до сихъ поръ: онъ думалъ только потому, что не могъ не думать и при томъ думалъ не о томъ, о чемъ хотѣлъ, а что само по себѣ приходило ему въ голову по привычкѣ.

Пришла же управляющему въ голову прежде всего мысль о томъ, что больше мѣсяца тому назадъ онъ послалъ въ главное управленіе длинное «представленіе» о томъ, что у него нѣтъ денегъ по 21 параграфу и просилъ открыть кредитъ, а кредита до сихъ поръ не открываютъ. Онъ телеграфировалъ—не отвѣчаютъ и на телеграмму; очевидно, и тамъ нѣтъ денегъ. А бухгалтеръ говоритъ, что еще какому-то параграфу конецъ приходитъ и еще какому-то... «Вѣдь у насъ такая тѣма этихъ параграфовъ, что даже не всякому бухгалтеру подъ силу разобраться съ ними!»

«Опять, значитъ, нужно писать, а потомъ телеграфировать...»—думалъ генераль.

Покончивъ съ параграфами, управляющій вспомнилъ, что ему нужно пристроить въ продащицы, въ казенную винную лавку, одну даму, рекомендованную изъ Петербурга, и что вотъ уже прошла недѣля съ тѣхъ поръ, какъ получилось объ этой дамѣ письмо, а дама все еще не пристроена.

«Нужно поторопиться: не вышло бы осложненій...»

Наконецъ, пришло въ мысль управляющему, что какой-то инженеръ изобрѣлъ какіе-то особенныя ящики для перевозки вина и прислалъ рекламу съ чертежемъ, увѣряя, что лучше этого открытія ничего быть не можетъ.

«И еще какой-то инженеръ прислалъ что-то, и еще... Какая пропасть теперь всякихъ изобрѣтателей!..» — заключилъ управляющій.

VI.

На слѣдующій день послѣ своего пріѣзда, управляющій явился въ акцизное управленіе по обыкновенію къ 9 часамъ утра и принялся за разсмотрѣніе бумагъ, полученныхъ въ его отсутствіе. Прежде всего онъ внимательно прочелъ нѣсколько предписаній изъ главнаго управленія, оставшихся въ конвертахъ нескрытыми, сдѣлалъ на этихъ предписаніяхъ обычныя помѣтки фіолетовымъ карандашомъ, въ родѣ такихъ примѣровъ: «Почему же до сихъ поръ не донесено о томъ главному управленію?» «Подобрать переписку и доложить мнѣ», и проч.

Потомъ управляющій болѣе бѣглымъ взоромъ пробѣгалъ по строкамъ остальныхъ менѣе важныхъ бумагъ; это были донесенія акцизныхъ надзирателей, завѣдующихъ складами, заявленія подрядчиковъ и поставщиковъ и прочая дребедень, которой за время поѣздки накопилась цѣлая груда. На поляхъ всѣхъ этихъ бумагъ, въ верхнемъ лѣвомъ уголѣ, рукою старшаго ревизора, замѣ-

щавшаго эти дни управляющаго, было написано мелкимъ четкимъ почеркомъ: «доложить г. управляющему». И не было такой бумаги, вѣдомости, свѣдѣнія, гдѣ бы не было этой надписи, такъ какъ лишь въ одномъ этомъ и проявлялось господами ревизорами исправленіе должности управляющаго.

И всѣ—и управляющій, и секретарь, и прочіе служащіе акцизнаго управленія давнымъ-давно привыкли къ этому.

Просмотрѣвъ, такимъ образомъ, по порядку десятка три-четыре бумагъ и отложивъ ихъ одну за другой въ сторону, направо, въ такую же кипу, какая лежала налѣво, управляющій все еще продолжалъ свою работу, такъ какъ добрая половина бумагъ оставалась непрочитанной. Какъ вдругъ въ числѣ этихъ бумагъ попадаетъ ему телеграмма отъ завѣдующаго складомъ № 7-й:

«Прошу возможно скорѣе снабдить складъ пробками; двадцатокъ и сороковокъ нѣтъ вовсе. Жду распоряженія».

Читая телеграмму, управляющій нахмурилъ брови и даже вздрогнулъ, какъ будто онъ очнулся вдругъ отъ механической работы, которой былъ занятъ до сихъ поръ и только теперь пришелъ въ себя, почувствовалъ, что онъ живой человѣкъ, а не читальная машина, приобрѣтенная казной для акцизнаго управленія давнымъ-давно—болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ. Онъ еще разъ нервно пробѣжалъ глазами по строкамъ телеграммы, обратилъ вниманіе на время подачи и полученія ея и лишь потомъ за-

мѣтилъ на ней, въ верхнемъ, лѣвомъ уголкѣ обычную надпись ревизора: «доложить г. управляющему».

Теперь эта приписка показалась управляющему несносной, дикой и онъ подпрыгнулъ въ креслѣ отъ волненія, отъ прилива досады и боли—сильными, порывистыми ударами забилося въ немъ сердце. И не успѣлъ онъ нажать пуговку электрическаго звонка, чтобы чрезъ курьера пригласить ревизора, поставить ему на видъ такое, изъ рукъ вонъ, халатное отношеніе его къ службѣ,—не успѣлъ управляющій сдѣлать этого, какъ въ сосѣдней «ревизорской» комнатѣ, у самой двери, идущей въ кабинетъ управляющаго, раздались шумные звуки самоувѣренной, веселой рѣчи:

— Опять буры бьютъ англичанъ... опять колотятъ!.. Вотъ-такъ буры!.. Одинъ восторгъ, ей-Богу! Какъ вамъ нравится, господа?.. Ха-ха... И что за удалыцы, эти буры!..

Каждое слово этой рѣчи, нѣтъ, каждый звукъ этихъ словъ, мельчайшіе оттѣнки ихъ произношенія коснулись слуха управляющаго и все это какъ бы пришибло его, лишивъ сознанія и не позволивъ ему нажать пуговку звонка, чтобы позвать курьера, а тотъ чтобы позвалъ ревизора,—чтобы, наконецъ, устыдить этого ревизора, сказать ему, что когда же всѣ они, чортъ возьми, перестанутъ мучить, истязать его?!

Тутъ управляющій закрылъ лицо руками и глухо простоналъ:

— Ну-у положительно ничего не хотятъ дѣ-

затѣ!.. Ничѣмъ не интересуются!.. Ровно ничѣмъ!.. ничѣмъ!.. ничѣмъ!.. Ни акцизомъ, ни монополіей! Складъ три дня стоитъ безъ пробокъ, а отъ нихъ только и слышишь, что о войнѣ англичанъ съ бурами... Господи, да когда же уймутся эти поганцы-англичане, скоро-ли окончится эта не-сносная война?!

И управляющій позвонилъ.

— Секретаря!—лаконически приказалъ онъ.

Явился секретарь.

— Послушайте,—не выписывайте вы, ради Бога, на канцелярскія суммы никакихъ газетъ... Слышите? Никакихъ... ни одной... Ни «Новаго Времени», ни «Русскихъ Вѣдомостей»,—ничего... Чтобы мнѣ не было въ управленіи ни одной ежедневной газеты!.. А иначе...

И управляющій не досказалъ.

— Слушаю,—отвѣтилъ изумленный секретарь, не зная въ чемъ дѣло и совершенно не понимая управляющаго, относившагося до сихъ поръ съ полной терпимостью къ приобрѣтенію газетъ. И секретарь подумалъ: «Что случилось съ «превосходительствомъ?» Какая муха укусила его?» Управляющій тоже подумалъ въ свою очередь: «Ревизоры не станутъ выписывать на свои средства дорогихъ газетъ. И хорошо... По крайней мѣрѣ не будутъ знать, что дѣлается съ бурами. А то вѣдь совсѣмъ вгонять въ чахотку!»

— Есть срочныя донесенія въ главное управленіе, ваше превосходительство,—обратился секретарь послѣ нѣкотораго молчанія.—Прикажете принести?

— Какъ? О чемъ?

— О стеклянной посудѣ, о пробкахъ, о...

— Кстати... Какъ вамъ не стыдно, скажите пожалуйста!—опять вспылить управляющій:— вы сунули въ общую переписку вотъ эту телеграмму о пробкахъ... Ну, какъ вамъ не стыдно такъ дѣлать—скажите?

И управляющій ткнул телеграмму и тутъ же прибавилъ:

— Неужели до сихъ поръ ничего не сдѣлано по ней?

Секретарь мелькомъ пробѣжалъ по строкамъ телеграммы и сдвинулъ плечомъ.

— Не понимаю,—въ недоумѣніи сказалъ онъ:—эту телеграмму я вижу въ первый разъ... Навѣрно, ничего не сдѣлано. Прикажете, я справлюсь у Николая Степановича (имя-отчество старшаго ревизора, исправлявшаго должность управляющаго).

— Ахъ оставьте! Какія теперь могутъ быть справки... Да и къ чему онѣ!.. Уже все кончено. Складъ, навѣрно, стоитъ безъ пробокъ, а вы ожидали управляющаго... И все это почему-то долженъ дѣлать я... Все я... я!.. Вы даже о пробкахъ не сумѣли позаботиться во время... Чортъ знаетъ, что вы дѣлаете, господа! И какъ вамъ не стыдно!

— Да причемъ же тутъ я, ваше превосходительство?—спросилъ обиженный секретарь.

Управляющій ничего не отвѣтилъ на это и секретарь понялъ, что разговоръ окончился и что оставаться въ кабинетъ его превосходитель-

ства—не мѣсто. Онъ бочкомъ сдѣлалъ два-три шага и проскользнулъ въ дверь.

— Вѣдь только и знаешь, что переносишь изъ-за нихъ всякія непріятности, чортъ ихъ возьми совсѣмъ, этихъ ревизоровъ!—шумѣлъ секретарь, удаляясь въ глубь длиннаго коридора, по направленію къ выходу изъ управленія.—И нѣтъ того дня, чтобы не было скандала!.. И все изъ-за нихъ, изъ-за нихъ же, ревизоровъ!.. И чего онъ, этотъ управляющій, церемонится съ ними—не понимаю, ей-Богу!.. Ну положительно ни звука отъ нихъ въ дѣлѣ; какъ мебель,—нѣтъ хуже мебели: на стулѣ, на примѣръ, можно посидѣть, на диванѣ—полежать, а ревизоры—ни къ чему... безъ всякаго примѣненія, точно они выросли на лунѣ, гдѣ нѣтъ ни «акциза», ни монополіи, никакихъ земныхъ комбинацій!.. И только злятъ управляющаго, а черезъ нихъ попадаетъ мнѣ... И все мнѣ, одному мнѣ!.. Во всемъ я виноватъ... Ну, ужъ служба!...

Секретарь звонко плюнулъ въ сторону и быстро повернулъ въ комнату бухгалтера.

— Опять мнѣ влетѣло изъ-за ревизоровъ,—глухо проговорилъ онъ, тяжело вздыхая и усаживаясь за столъ, противъ бухгалтера.—И когда всему этому будетъ конецъ... Фу-фу-у-у... Дай папироску, Володька!

Бухгалтеръ вынулъ изъ ящика коробку съ папиросами и сунулъ секретарю.

— И знаешь, ни за что—какъ ты Господи видишь!—продолжалъ секретарь, закуривши папиросу.—Ругается, чертыхается; злой, какъ сто чертей!

И секретарь махнулъ рукой.

— А ты изъ-за какого чорта волнуешься?— хладнокровно спросилъ бухгалтеръ.— Управляющій злится потому, что его злать, а ты почему?

— Почему? Изъ-за чего?— скотина ты, Володька! Когда воду подогреваютъ—она кипить, потому что таковъ законъ природы... Ты сидишь себѣ въ бухгалтеріи и никакого дѣла не имѣешь съ ревизорами... Нѣтъ, ты войди въ мое положеніе, сядь хотя на день, на два на мое мѣсто... Эхъ ты, Володька, Володька!.. Ска-а-тина ты, скатина!.. — Пойдешь сегодня на шашлыки?— Дай-ка еще папироску!

Въ комнату запыхавшись вбѣжалъ курьеръ Иванъ.

— А я васъ ищу по всему управленію,— переводя духъ сказалъ онъ, глядя на секретаря.— Господинъ управляющій требуютъ...

— Не хочу!.. Не пойду!.. Обождетъ!..—скороговоркой произнесъ секретарь, поднимаясь со стула.—Эй ты... Скажи, что иду,—спохватившись крикнулъ онъ вслѣдъ удаляющемуся курьеру.— Скажи, что забираю справки въ бухгалтеріи... Сейчасъ молъ, сію минуту...

— И вотъ такъ всегда, какъ видишь: каждый часъ, каждую минуту.—направляясь къ двери и глядя на бухгалтера, проговорилъ секретарь.— Не успѣешь сѣсть, взяться за перо—управляющій требуетъ... Придешь, только усядешься—опять требуетъ... И такъ, двѣсти разъ на день... И каждый разъ дрожи, чтобы не влетѣло... А тебѣ что? Эхъ ты, ассигновка этакая!

Секретарь встряхнул кулаком по направлению бухгалтера, съ которым онъ жилъ душа въ душу и бѣгомъ пустился по коридору, толкая по пути встрѣчныхъ служащихъ и не обращая вниманія на ихъ слова и просьбы.

— Къ чертямъ! Къ чертямъ! Идите всѣ вы къ чертямъ! Управляющій злится!—сыпалъ онъ направо и налево, пока не проскользнулъ въ дверь кабинета.

— Что прикажете, ваше превосходительство?

— Составьте сейчасъ телеграмму завѣдующему складомъ № 2-й, чтобы тотъ немедленно отправилъ въ складъ № 7-й пробки двадцатокъ и сороковокъ—тысячъ по сто, по двѣсти каждого сорта,—угрюмо приказалъ управляющій.—А завѣдующему складомъ № 7-й сейчасъ же напишите, что если онъ еще разъ оставитъ складъ безъ пробокъ, то-есть не будетъ доносить обо всемъ заблаговременно, я его оштрафую... Такъ и напишите: «Вы будете о-штра-фо-ва-ны, милостивый государь!»—Да-съ, сейчасъ же это сдѣлайте!

Но когда минутъ пятнадцать-двадцать спустя, секретарь вновь явился къ управляющему съ предписаніемъ на имя завѣдующаго складомъ № 7-й и подалъ его къ подписи одновременно съ телеграммой о передвиженіи пробокъ изъ склада въ складъ, управляющій молча подписалъ телеграмму, а отъ подписи предписанія отказался.

— Видите ли... Мнѣ кажется, что можно обойтись и безъ этого... Слишкомъ уже много соли...—сказалъ управляющій, виновато засматривая се-

кретарю въ глаза.— Не нужно упоминать о штрафѣ... Это подорветъ престижъ завѣдующаго... Бумагу прочтетъ конторщикъ, писцы, всѣ... Понятно, если мы станемъ штрафовать завѣдующихъ складами, къ нимъ потеряютъ уваженіе ихъ подчиненные. Это вредно для дѣла. Онъ и безъ этого пойметъ свою ошибку...

Управляющій исправилъ бумагу фіолетовымъ карандашемъ: вычеркнулъ въ ней то мѣсто, гдѣ говорилось о штрафѣ, измѣнилъ еще кое-что и передалъ секретарю со словами:

— Теперь можно переписать и подать ~~мнѣ~~ съ общимъ докладомъ; можете зайти черезъ часъ—полтора.

Выйдя изъ кабинета управляющаго, секретарь превратилъ въ комокъ забракованное предписаніе, отдалъ телеграмму одному изъ курьеровъ и опять направился въ бухгалтерію.

— Я говорилъ тебѣ, Володька, что ты скотина? Да? Ты скотина и есть!..—сказалъ секретарь, усаживаясь на тотъ же стулъ, гдѣ онъ сидѣлъ полчаса назадъ и показывая видъ, что онъ взволнованъ.—Ты вѣдь до сихъ поръ не имѣешь понятія о томъ, что за странные люди эти господа «превосходительства»... Н-на!.. Читай!

И секретарь пустилъ въ фізіономію бухгалтера комокъ предписанія.

Тотъ не проронилъ ни звука, лишь тряхнулъ головой, а потомъ поднялъ отлетѣвшій въ сторону бумажный шарикъ и молча съ серьезнымъ видомъ принялся развертывать его, приглаживая измятый листъ бумаги обѣими ладонями.

— Въ чемъ дѣло? О какихъ пробкахъ идетъ тутъ рѣчь?—спросилъ бухгалтеръ, не отрывая глазъ отъ бумаги.

— Конечно для тебя все это и ново, и непонятно, потому что ты ничего не знаешь и знать не хочешь, кромѣ однѣхъ ассигновокъ... А вотъ, если бы ты хотя день побылъ въ моей шкурѣ, ты бы запѣлъ не то...—Дай папироску.— На чертей онъ прячетъ ихъ въ ящикъ!

— Ну да объясни же толкомъ—въ чемъ дѣло! Чего кипятишься?—я все-таки не понимаю,— все тѣмъ же спокойнымъ тономъ продолжалъ бухгалтеръ, бросая черезъ столъ нѣсколько папирозъ.—Перемаралъ твое сочиненіе? Ну, что же... Напишешь снова: на то ты секретарь!..

— Да ты пойми, Володька, что эта бумага написана со словъ же управляющаго минутъ двадцать тому назадъ, а теперь онъ говоритъ, что нѣтъ въ ней надобности... много соли... Понимаешь? Или это для тебя сложнѣе двойной бухгалтеріи?

Бухгалтеръ молча глядѣлъ на секретаря.

— Ахъ, да, прости Володька! Я не сообщилъ тебѣ о томъ курьезѣ, какой произошелъ съ телеграммой, полученной въ отсутствіе управляющаго,—продолжалъ секретарь, перемѣнивъ обидчивый тонъ рѣчи на игривый.—Уморительно, ей-Богу!—Ревизоръ сунулъ телеграмму въ карманъ... торопился выспаться, чтобы пораньше отправиться въ маскарадъ... Комедія, доложу тебѣ, Володька!.. Комедія безъ конца и все въ одномъ и томъ же дѣйствіи...

— Какая телеграмма? О чемъ?

— Да о пробкахъ же... Володька, ты отупѣлъ совсѣмъ? Пойми же, наконецъ, что на другой день послѣ отъѣзда управляющаго, около часу пополудни была получена телеграмма изъ склада № 7-й о томъ, что тамъ нѣтъ ни одной пробки... И вотъ эту телеграмму нужно было передать мнѣ: я бы, конечно, сейчасъ же снесся съ другими складами, чтобы тѣ выслали пробки. А оно вышло наоборотъ: телеграмма всю ночь прогуляла на маскарадѣ, въ тужуркѣ ревизора... А потомъ онъ совсѣмъ позабылъ о ней...

Тутъ секретарь закрылъ рукой глаза, напряжинулъ спину, какъ будто онъ усиливался поднять кукую-то непомѣрную тяжесть и нараспѣвъ продекламировалъ:

Ревизоры, ревизоры!
Устремились ваши взоры
Лишь на крупные оклады,
Лишь на винтъ, да маскарады...

— Бери перо, Володька, пиши скорѣе!.. Ей-Богу, никогда въ жизни не былъ поэтомъ, а теперь, гляди, что творится!.. Вѣдь это форменное вдохновеніе! Пиши же или дай перо!

У бухгалтера засверкали глазенки, чего съ нимъ никогда не случалось: творчество секретаря, очевидно, расшевелило и его. Онъ быстро схватилъ карандашъ и лежавшую тутъ же, на столѣ, вѣдомость и, волнуясь отъ восторга, проговорилъ:

— Диктуй... чудное четверостишіе!.. Какъ бы не забыть...

Секретарь задумался.

— Что, забылъ?—испуганно спросил бухгалтер и тутъ же написалъ:

Ревизоры, ревизоры!

Устремились ваши взоры...

— А дальше... не помню...—уныло произнесъ бухгалтеръ.

Секретарь подсказалъ:

Лишь на крупные оклады,

Лишь на винтъ, да маскарады...

— Браво!—Ха-ха-ха!...

— Не мѣшай!—воскликнулъ секретарь, упорно напрягая мысль и закрывая лицо рукой.—Еще не все, еще будетъ... На чемъ остановились? Прочти послѣднія двѣ строчки... Скорѣе!

Бухгалтеръ прочелъ:

Лишь на крупные оклады,

Лишь на винтъ, да маскарады....

Секретарь прибавилъ:

И стоять безъ пробокъ склады...

Нѣтъ отрады! Нѣтъ отрады!..

— Все! Больше не могу!—со вздохомъ проговорилъ сочинитель послѣ упорнаго раздумья.—Исчезло вдохновеніе!... Кончено!..—Ну-ка, прочти.

Бухгалтеръ прочелъ:

Ревизоры, ревизоры!

Устремились ваши взоры

Лишь на крупные оклады,

Лишь на винтъ, да маскарады!...

И стоять безъ пробокъ склады...

Нѣтъ отрады! Нѣтъ отрады!...

Дружный взрывъ здороваго, задушевнаго хохота послѣдовалъ въ заключеніе прочитаннаго.

— Довольно! Оставь! Ха-ха-ха!... Лучше уже быть не можетъ!.. Не сочиняй, а то испортишь!..—твердилъ бухгалтеръ, краснѣя отъ восторга.—Довольно! довольно!.. Ха-ха-ха!...

Секретарь глубоко вздохнулъ, точно онъ безъ отдыха поднялся на вершину крутой горы.

— Говорятъ, что поэтъ Козловъ съ горя обратился въ поэта: запѣлъ лишь тогда, когда ослѣпъ. Такъ случилось и со мной, Володька: ревизоры до того насолили мнѣ, что я, какъ видишь, тоже обратился въ поэта и можетъ быть буду сочинять не хуже Козлова.

Вечерній звонъ, вечерній звонъ...
Какъ много думъ наводитъ онъ...

Вѣдь это кажется Козловъ сочинилъ, да?—А я:

Ревизоры, ревизоры!
Устремились ваши взоры!..

Положительно, какъ и у Козлова. Нѣтъ, пожалуй, лучше... У меня болѣе легкій стихъ, да и рифма полнѣе...

Опять прибѣжалъ курьеръ Иванъ и положилъ конецъ веселому разговору канцеляристовъ.

— Господинъ управляющій приказали объявить, что черезъ полчаса изволятъ принимать съ докладомъ... Пожалуйте, господа, всѣ, всѣ... А кто не приготовилъ—приказано потопиться.

Секретарь вскочилъ со стула.

— Голубчикъ, Володька! Ступай съ докладомъ ты: мнѣ еще нужно сочинять цѣлыхъ пять бумагъ... ей-Богу, не успѣю!.. Неси свои под-

лыя ассигновки, а потомъ ужъ нагряну и я. Вѣдь у меня докладъ—во!..

При этомъ секретарь широко развелъ руками и бѣгомъ пустился по коридору.

И стоять безъ пробокъ склады...

Нѣтъ отрады! Нѣтъ отрады!..

беззаботно шумѣлъ онъ на ходу въ то время, когда бухгалтеръ, шелестя ассигновками, готовился къ докладу.

VII.

Управляющій вышелъ изъ управленія около трехъ часовъ пополудни и всѣ шесть часовъ— «отъ 9 до 3-хъ»—онъ просидѣлъ за столомъ, не разгибая спины. Какую массу самыхъ разношерстныхъ бумагъ пересмотрѣлъ и подписалъ онъ за это время! И нужно было разобраться во всемъ этомъ хламѣ, разобраться не механически, а разумно, представляя себѣ въ деталяхъ все то, о чемъ писалось и его подчиненными и имъ самимъ; нужно было сопоставить одно другому, основательно взвѣсить, припомнить предыдущую переписку, или даже вновь пересмотрѣть ее и только потомъ прійти къ заключенію, какъ поступить въ томъ или иномъ случаѣ, чтобы соблюсти и интересы казны, и интересы подчиненныхъ, и личные интересы—интересы совѣсти. Вообще у него не было такой работы, какую бы онъ дѣлалъ по шаблону, не сообразуясь съ положеніемъ вещей, какъ это зачастую принято дѣлать въ канцеляріяхъ,—и такого же разумнаго

отношенія къ дѣлу онъ требовалъ и отъ другихъ. Когда же подчиненные исполняли работу не такъ, какъ ему хотѣлось, онъ прежде всего задавалъ себѣ вопросъ: почему не такъ сдѣлано, какъ нужно было сдѣлать?—потому ли, что не могли сдѣлать за недостаткомъ соображенія или же потому, что спѣшили покончить съ работой, лишь бы такъ или иначе сбыть ее съ рукъ. Въ первомъ случаѣ управляющій охотно мирился съ несовершенствомъ работы и передѣлывалъ ее; онъ не рѣдко самъ сочинялъ циркуляры, дѣлалъ расчеты по заготовкѣ матеріаловъ для винныхъ складовъ, писалъ болѣе важныя донесенія въ главное управленіе и т. под. Зато въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ управляющій воочію убѣждался, что его порученія не исполнялись въ точности отъ нежеланія работать—онъ выходилъ изъ себя и настойчиво требовалъ исполненія. Въ такихъ случаяхъ онъ въ особенности не церемонился съ ревизорами, стараясь вылить всю желчь наболѣвшаго сердца, все свое нерасположеніе къ нимъ. Но ревизоры и тутъ находили лазейку... Чтобы избѣжать непріятности, они задерживали работу; то, что можно было сдѣлать въ три дня, они тянули три недѣли и отъ этого оставались въ полныхъ барышахъ: управляющій, послѣ двухъ-трехъ напоминаній, молча передавалъ работу секретарю или бухгалтеру или еще кому-либо иному, только не ревизорамъ...

Усталый и унылый, плелся онъ теперь изъ управленія. Въ своемъ городѣ управляющій не любилъ пользоваться услугами извозчиковъ: и

на службу и со службы всегда ходилъ пѣшочкомъ, даже въ дурную погоду. Это практиковалось имъ много лѣтъ и онъ такъ же привыкъ къ этому, какъ привыкъ къ службѣ, къ подписи бумагъ, къ креслу, стоявшему у него въ кабинетѣ, гдѣ онъ просиживалъ ежедневно отъ «9-ти до 3-хъ»,—ко всему, что составляло необходимую принадлежность акцизнаго управленія—и даже къ ревизорамъ. Да, онъ привыкъ и къ нимъ, ко всѣмъ четверемъ ревизорамъ, и если бы всѣхъ ихъ вдругъ убрали отъ него неожиданно-негадано, ему бы сдѣлалось скучно... И какъ онъ ни горячился, какъ тяжело подчасъ ни приходилось ему, а все же онъ избѣгалъ той мысли, чтобы принять противъ бездѣтельности ревизоровъ репрессивныя мѣры: написать о томъ куда слѣдуетъ.

А теперь, когда онъ, слишкомъ ужъ разбитый и усталый отъ труда, шелъ домой, еле волоча ноги, ему гвоздемъ засѣла въ голову нехорошая мысль объ изгнаніи хотя одного изъ четырехъ ревизоровъ. Казалось, онъ твердо остановился на этой мысли и только нужно было рѣшить вопросъ—кого изъ четырехъ ревизоровъ надлежитъ сдать въ багажъ: перваго, второго, третьяго или четвертаго? Но сколько управляющій не переходилъ въ мысляхъ отъ одного изъ нихъ къ другому—отъ перваго до четвертаго и обратно—въ результатѣ все же получалось одно и то же: или всѣхъ, или ни одного...

«Нѣтъ, придется разъ навсегда примириться съ этимъ,—подумалъ управляющій.—Богъ съ нами, пусть служатъ!.. Очевидно, этотъ крестъ

несу не я одинъ, а всѣ управляющіе акцизными сборами... Къ тому же, ревизоровъ гнать не принято: въ Петербургѣ считаютъ это признакомъ дурного тона въ человѣкѣ... — Нужно примириться...»

На самомъ же дѣлѣ управляющій давнымъ-давно примирился съ тѣмъ, съ одной стороны, глупымъ, а съ другой—невыносимо тяжелымъ для него положеніемъ, въ которое онъ поставленъ по существу организаціи акцизно-монопольнаго дѣла, какъ глава этого дѣла въ цѣлой губерніи. Помимо акцизной операціи, которая сама по себѣ является довольно обширной и сложной, если ее производить такъ, какъ требуетъ долгъ службы и совѣсть, на него еще взвалили и монополию, то-есть болѣе чѣмъ утроили работу. Допустимъ, это еще ничего: онъ не боялся труда и легко мирился съ тѣмъ, что касалось его лично, зато ему, какъ главному агенту-чиновнику крупнаго коммерческаго предпріятія не такъ легко было мириться съ тѣмъ, напримѣръ, что почти ежедневно приходилось писать «представленія» и все объ одномъ и томъ же; нѣтъ, молъ, то того, то другого, необходимаго для дѣла—приходилось прямо-таки кланчить если не одно, то другое, точно милостыню. И уже одно это способно было испортить управляющему столько же крови, сколько этой крови портили ему ревизоры, которыхъ присылали какъ бы въ наказаніе за какую-то съ его стороны крупную провинность, которую онъ никакъ не могъ понять.

Тѣмъ не менѣе, управляющій все же оста-

вался на службѣ, а если изрѣдка и помышлялъ объ отставкѣ, то дѣлалъ это просто такъ, сгоряча.

Придя домой, управляющій, по обыкновенію, уселся въ кабинетѣ, въ глубокомъ креслѣ, обитомъ темно-зеленой клеенкой и взялъ въ руки газету. Просмотрѣвъ телеграммы и еще кое-что, что имѣло связь съ предыдущими номерами, онъ оставилъ газету и, откинувъ на спинку кресла голову и закрывъ глаза, предался отдыху. Это дѣлалось имъ ежедневно по привычкѣ, и это, пожалуй, являлось единственнымъ для него удовольствіемъ въ его трудовой жизни. Театра онъ не посѣщалъ, общества не любилъ, въ искренность женщинъ не вѣрилъ и далъ слово на всю жизнь остаться холостякомъ. Правда, злые люди поговаривали, что управляющій и теперь бы не прочь жениться, не смотря на свои 58 лѣтъ, но ему что-то не везло въ любви; очевидно, женщины лишь тогда бросаются на крупный чинъ въ крупномъ возрастѣ, когда для нихъ не остается иного исхода. Поговаривали еще, что года два-три назадъ, управляющій имѣлъ неосторожность объявить себя женихомъ хорошенькой, пухленькой дѣвицы, лѣтъ 25-ти (классной дамы мѣстной женской гимназіи), но за недѣлю до свадьбы дама измѣнила ему изъ-за того, что ей представился случай выйти замужъ за учителя гимназіи. Впрочемъ, этимъ слухамъ не слѣдуетъ придавать важнаго значенія, такъ какъ они пущены по городу подчиненными управляющаго, его же акцизными чиновниками, а подчиненные, какъ извѣстно, въ

большинствѣ случаевъ дурно отзываются о своихъ начальникахъ.

Свободны и послѣдовательны были теперь мысли управляющаго, когда онъ, предавшись отдыху, сидѣлъ въ креслѣ, откинувъ назадъ голову. Казалось, онъ не мыслилъ, а спалъ мирнымъ, безмятежнымъ сномъ полугодового ребенка—до того было спокойно выраженіе мужественнаго сухощаваго лица его, съ высокой горбиной орлинаго носа, съ плотно закрытыми вѣками глазъ, нѣсколько углубившихся въ орбитахъ, съ блѣднымъ выпуклымъ, какъ-бы омертвѣвшимъ лбомъ, на которомъ нельзя было прочесть и тѣни мысли. А между тѣмъ, въ его рабочемъ мозгу мысль смѣнялась мыслью, какъ капли воды безконечно смѣняются одна другой, падая съ высоты и производя глухой, монотонный звукъ, слегка раздражающій нервы.

Въ это самое время, въ одномъ изъ лучшихъ ресторановъ города, въ отдѣльномъ кабинетѣ, за большимъ круглымъ столомъ сидѣли гости. На столѣ стояло блюдо съ шашлыками и много бутылокъ, по внѣшнему виду которыхъ можно было опредѣлить присутствіе бенедектина, казенной водки, кахетинскаго вина и проч.

Гостями были: секретарь, бухгалтеръ, «наспиртованный палецъ» и другіе акцизные чиновники.

Секретарь пилъ бенедектинъ, бухгалтеръ—кахетинское, а «наспиртованный палецъ» все:

сначала—казенную водку, потомъ—бенедектинъ и наконецъ—кахетинское.

Съ устъ пирующихъ не сходило:

И стоять безъ пробокъ склады...

Нѣтъ отрады! Нѣтъ отрады!..

Очевидно, секретарь пригласилъ товарищей съ цѣлью познакомить ихъ съ «похвальнымъ словомъ», написаннымъ имъ въ честь ревизоровъ.

VIII.

Прошло нѣсколько дней. Управляющій по-прежнему энергично скрипѣлъ перомъ у себя въ кабинетѣ, являясь на занятія аккуратно въ 9 часовъ утра и уходя домой около 3-хъ пополудни. Но вотъ однажды, «вскрывая почту», то-есть разрѣзывая ножомъ слоновой кости адресованные на его имя пакеты и письма, онъ невольно обратилъ вниманіе на одно изъ заказныхъ писемъ съ надписью на конвертѣ: «Его Высоко Превосходительству Господину Управляющему Всѣхъ Акцизныхъ Сборовъ и Казенныхъ Монопольныхъ Складовъ».

Уже по одному адресу письма управляющій склоненъ былъ предположить, что подъ сѣренькой, грязной, измятой оболочкой скрывается что-то непріятное, и онъ на минуту какъ-бы затуднился вскрыть письмо. Но это колебаніе мгновенно уступило мѣсто обычной привычкѣ быстро и своеобразно вскрывать конверты, и

управляющій съ жадностью впился глазами въ вынутый изъ конверта листъ, испещренный сверху до низу крупными каракулями.

Это было прошеніе контрольнаго сторожа Степана, собственноручно написанное имъ и оплаченное двумя гербовыми марками въ рубль шестьдесятъ копеекъ.

По содержанію своему прошеніе не лишено было нѣкотораго интереса. Прежде всего каждое слово его дышало неподкупной правдивостью, и нужно было быть слѣпымъ, не понимать людей, жизни, чтобы усомниться въ искренности воззваній Степана и отнестись съ недовѣріемъ хотя къ одному изъ словъ его прошенія—тѣхъ безхитростныхъ, задушевныхъ словъ, которыя вылились на бумагу въ избыткѣ чувствъ, свидѣтельствуя о глубокой вѣрѣ челоуѣка въ незыблемую силу закона, въ людскую справедливость.

«Ваше Высокопревосходительство!—хватилъ, между прочимъ, Степанъ въ своемъ прошеніи.— За то, что я встрѣтилъ Ваше Высокопревосходительство съ отданіемъ надлежащей чести: при открытыхъ воротахъ и съ фонаремъ въ рукѣ, какъ и подобаетъ по долгу присяги и государственной службы, когда Ваше Высокопревосходительство изволили наводить ревизію въ нашемъ монопольномъ складѣ,—за это господинъ завѣдующій выгналъ меня... За это самое, Ваше Высокопревосходительство, истинно за это, за мое усердіе къ начальству... Кладу на себя крестъ святой и готовъ принять евангельскую присягу, если не за это!..»

Прочитавъ прошеніе, управляющій подумаль: «Какъ это гадко, несправедливо! Выгнать человека со службы ни за что, ни про что, пользуясь правомъ сильнаго... И зачѣмъ завѣдующій сдѣлалъ это, зачѣмъ? Правда, глупость не въ мѣру услужливаго сторожа выдала завѣдующаго съ головой: онъ былъ обличенъ во лжи—поступокъ и некрасивый и непріятный,—но разъ это прошло безъ послѣдствій, не слѣдовало бы обижать старика, не слѣдовало бы отказывать ему отъ службы,—нужно быть справедливымъ...»

И подъ вліяніемъ этихъ соображеній управляющій положилъ на прошеніи Степана такую резолюцію:

«Предложить завѣдующему складомъ Яхонтову немедленно же принять на службу уволеннаго контрольнаго сторожа, и объ исполненіи сего донести мнѣ».

Получивъ предписаніе, Яхонтовъ палъ духомъ. Перечитывая его нѣсколько разъ, онъ все время переживалъ состояніе человека, котораго неожиданно схватила за горло въ глухомъ закоулкѣ, въ темную ночь, дюжая рука грабителя съ требованіемъ: «деньги, а не то—смерть!» Схватившая рука сильна и опытна, а стальная тяжесть ея слишкомъ ощутительна: въ грудной клѣткѣ не хватаетъ воздуха, въ глазахъ потемнѣло, въ ушахъ бессмысленный шумъ, и еще одинъ-два приступа удушья и жизнь покорно уступить свое мѣсто смерти, такой же вѣроломной, такой же мощной, какъ и рука грабителя...

А все же отдать деньги не хочется: въ отдаленной глубинѣ души таится искра сознанія, что исполненіе требованія врага—малодушіе. И погибающій продолжаетъ бороться...—Такое именно состояніе переживалъ Яхонтовъ отъ предъявленнаго къ нему требованія, исполненіе котораго превышало его силы. Прочитаная имъ бумага, казалось, парализовала все его существо; парализовала физически и нравственно; казалось, что отъ этого до сихъ поръ осмысленнаго существованія чловѣка осталась теперь одна оболочка, а внутри ея—пустота... Мало того, все то, что теперь окружало Яхонтова и что имѣло до сихъ поръ въ его глазахъ свое значеніе, строго опредѣленный смыслъ,—все окружавшее его—и люди и обстановка—обратились въ ничто, въ пустоту...

Когда Яхонтовъ поднялся съ кресла, въ которомъ онъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, поднялся инстинктивно, самъ не зная для чего, онъ почувствовалъ слабость въ ногахъ и легкое головокруженіе. «Нужно выйти поскорѣе во дворъ, на улицу», подумалъ онъ, направляясь къ выходу изъ конторы склада. Онъ прошелъ весь дворъ, проскользнулъ на улицу, но не черезъ контрольный проходъ, куда обыкновенно пропускаются въ казенныхъ складахъ рабочіе и посторонніе посѣтители, а черезъ калитку у жилого дома, отведеннаго подъ квартиры для служащихъ. Минувъ два-три квартала, завѣдующій вышелъ въ открытое поле, такъ какъ винный складъ находился на окраинѣ города, какъ это бываетъ въ большинствѣ случаевъ. Пройдя по-

лемъ съ версту, онъ остановился, осматриваясь вокругъ и сосредоточивая свой взглядъ на колоссальныхъ постройкахъ склада: вонъ жилой домъ для служащихъ съ его 10-ю дымовыми трубами, съ высокими узкими окнами, окрашенными въ грязно-желтый цвѣтъ—большой неархитектурный, похожій издали на солдатскую казарму или на острогъ; дальше, рядомъ съ нимъ—главное зданіе склада, представлявшее собой съ фасада не фабрику, а скорѣе колоссальную оранжерею, по своей обширной площади оконъ, почти вплотную прилегающихъ другъ къ другу и заботливо украшенныхъ пилястрами и карнизами,—съ большой свѣтлой мансардой, окна которой, въ свою очередь, были украшены деревянной рѣзбой. И только высокая, стройная дымовая труба склада, расположенная особо отъ зданія, со двора, но казавшаяся издали какъ бы примкнувшей къ зданію, портила его видъ и свидѣтельствовала о томъ, что красивое сооруженіе не оранжерея, а фабрика.

«А сколько затрчено мною труда, энергіи, пока эта казенная водочная оранжерея, пріобрѣла способность шевелить всѣми своими мускулами!—невольно пришло въ мысль Яхонтову.—Тутъ были и безсонныя ночи, и вѣчный страхъ за потерю казеннаго имущества, и упорная эксплуатація маленькихъ безотвѣтныхъ людей, съ быстротою молніи вколачивающихъ въ горлышко бутылокъ пробки, и проводящихъ свой десятичасовой трудовой день въ положеніи глухонѣмыхъ.—Да, сколько тутъ пришлось испытать всего, сколько!»

И завѣдующій лѣниво зашагалъ впередъ, направляясь въ глубь степи, чтобы не видѣть построекъ склада, вызывавшихъ тяжелыя воспоминанія. «Тамъ, навѣрно, уже ищутъ меня,—подумалъ онъ:—стоитъ только отлучиться на нѣсколько минутъ, какъ безъ меня не ступать ногой. У одного сломалась купорочная машинка, у другого не хватаетъ посуды, у третьяго опрокинули и разлили ящикъ съ виномъ, у четвертаго напился рабочій, и т. д. и т. д. Чтожъ, пусть ищутъ! Все равно, такъ или иначе, а отставка на носу! Придется наплевать на все...»

Такое заключеніе, повидимому, должно было привести Яхонтова къ какому либо выходу изъ переживаемаго имъ непривлекательнаго положенія и этимъ самымъ умѣрить его тревожное состояніе, насколько бы ни былъ неудовлетворителенъ этотъ выходъ; въ самомъ дѣлѣ, лучше имѣть плохой, но опредѣленный исходъ, чѣмъ никакого. Между тѣмъ, въ данную минуту далеко нельзя было сказать этого, такъ какъ оставленіе Яхонтовымъ службы въ складѣ не только не упрощало положенія вещей, а напротивъ, усложняло его: къ выходу въ отставку онъ не приготовился, а если и говаривалъ объ этомъ частенько, то просто ради краснаго словца, чтобы хотя мысленно побаловать себя тѣмъ отдаленнымъ, призрачнымъ счастьемъ, которое наступило бы для него, если бы ему удалось пристроиться иначе и которое хотя на мгновеніе уняло бы острую боль сердца; у Яхонтова была

семья—жена и дѣти, и не было никакихъ средствъ къ жизни, помимо ежемѣсячно получаемого жалованья, почему оставить службу онъ не могъ,—тѣмъ болѣе нельзя было оставить ее зимой, въ декабрѣ мѣсяцѣ. Правда, у Яхонтова были связи въ земствѣ, гдѣ онъ служилъ до поступленія въ монополію, но съ тѣхъ поръ прошло пять лѣтъ и онъ успѣлъ утратить эти связи и даже не зналъ, остались ли въ живыхъ тѣ хорошіе, интеллигентные люди, съ которыми онъ служилъ и которые умѣли понимать и цѣнить его. Да и писать имъ послѣ пятилѣтняго молчанія слишкомъ тяжело! И мысль о томъ, что недурно было бы опять возобновить службу въ земствѣ, мелькнула у него и мгновенно исчезла, какъ несбыточная мечта. А иного исхода не было.

Тѣмъ не менѣе, всѣ послѣдующія мысли и дѣйствія Яхонтова клонились къ тому, чтобы оставить службу. Такъ, по крайней мѣрѣ, нужно было понимать ихъ, эти мысли и дѣйствія, такими они складывались у него, помимо его воли, хотя онъ и не давалъ себѣ въ этомъ отчета и какъ бы искалъ иного исхода.

Онъ рѣшилъ написать управляющему письмомо... И сидя въ ночной тиши у себя въ кабинетѣ, онъ писалъ:

«Ваше превосходительство! Будьте хотя на минуту не генераломъ, а человѣкомъ: дайте понять себя и поймите другихъ. Тамъ, гдѣ идетъ война—нужны сильные и храбрые люди; тамъ, гдѣ идетъ война на бумагѣ—нужны чиновники; а тамъ, гдѣ разливаютъ и продаютъ казенную водку—

нужны обыкновенные живые люди... Поймите же это и не дѣлайте изъ насъ солдатъ, чиновниковъ: мы просто не годимся для этой цѣли! И замѣтьте, ваше превосходительство, что чѣмъ человѣкъ менѣе похожъ на солдата, чиновника, то-есть, чѣмъ онъ обыкновеннѣе, тѣмъ болѣе нужно подумать надъ тѣмъ, чтобы понять его... И если вы, ваше превосходительство, испытали въ жизни искренность, если вы цѣните этотъ лучший даръ природы человѣка, то поймите, что искренность скорѣе всего вы найдете въ обыкновенныхъ людяхъ, а у солдатъ, чиновниковъ нѣтъ ея, да и быть не можетъ (не «полагается по штату!») и разъ у нихъ появится это святое чувство—они перестанутъ быть солдатами, чиновниками и примкнутъ къ лагерю обыкновенныхъ людей... Теперь позвольте приступить къ дѣлу. Вы, ваше превосходительство, изволили предъявить ко мнѣ требованіе принять на службу уволеннаго сторожа, но вы упустили изъ виду спросить: дѣйствительно ли я уволилъ его и по какимъ причинамъ. Понимаю, ваше превосходительство, что вы возмущены тѣмъ, что я наказалъ сторожа. И за что же?—За то, что онъ, не осязая всей нелѣпости моего положенія, какъ вольнонаемнаго лица, которое вы во всякое время не затруднитесь выбросить за окно, какъ негодную косточку отъ съѣденной вами сочной вишни,—поставилъ меня въ смѣшное и даже, если хотите знать, въ опасное положеніе. Гдѣ же причина? Дайте же возможность и мнѣ понять васъ, дайте возмож-

ность понять то, кто научил насъ быть такими и почему вашему превосходительству хочется найти справедливость именно тамъ, гдѣ разливаютъ водку?..»

Яхонтовъ писалъ въ сильномъ волненіи, не думая надъ тѣмъ, что пишетъ, и каждое слово письма, въ моментъ передачи его на бумагу, приносило ему такое удовлетвореніе, какъ будто онъ не писалъ, а лично высказывалъ все это управляющему, сидѣвшему тутъ же въ кабинетѣ и покорно выслушивавшему его рѣчи. И до того богатъ былъ въ Яхонтовѣ наплывъ чувствъ и мыслей, что онъ, изъ боязни потерять вдохновеніе, не дописывалъ словъ, макая перо въ чернила, насколько позволяла глубина чернильницы, и роняя крупныя капли чернилъ на зеленое сукно стола, на письмо, на другіе предметы... А писать все же хотѣлось, хотѣлось писать безъ конца, высказаться на всю жизнь, дать почувствовать, что не у однихъ лишь генераловъ имѣется храбрость и чувство благороднаго негодованія, а есть они и у маленькихъ, заброшенныхъ въ глухой провинціи людей, разливающихихъ водку...

Яхонтовъ прочелъ все, что до сихъ поръ было написано имъ, и все написанное—отъ первой до послѣдней строки—показалось ему смѣшнымъ, ребяческимъ, и онъ въ раздумьи положилъ перо.

«Нѣтъ, такъ не принято разсуждать людямъ серьезнымъ,—подумалъ онъ:—выходить что-то слишкомъ ужъ шумящее, задорное... Такъ изла-

гають мысли одни гимназисты въ анонимныхъ письмахъ къ наставникамъ, когда тѣ невпопадъ сыплютъ въ нихъ «двойками». Къ чему всѣ эти доводы, разсужденія, разъ они понятны и убѣдительны лишь для меня лично, а въ глазахъ другихъ они, пожалуй, послужать поводомъ къ тому, чтобы судить о моей невоспитанности, вызвать на устахъ холодную, злую улыбку... Нѣтъ, въ такихъ случаяхъ нужно быть умѣреннымъ».

И Яхонтовъ бросилъ письмо въ корзинку и на первомъ подвернувшемся подъ руку «бланкѣ» изложилъ конфиденціальное донесеніе:

«Имѣю честь донести, что я лишенъ возможности исполнить требованіе вашего превосходительства относительно принятія на службу уволеннаго мною контрольнаго сторожа, къ которому я потерялъ довѣріе и который уволенъ мною на общемъ основаніи, то-есть согласно изданныхъ и утвержденныхъ вами правилъ».

Это донесеніе вызвало въ управляющемъ вспышку негодованія, какъ этого и нужно было ожидать:

«А-а!... Онъ хлопочетъ лишь о своемъ престижѣ, а на престижъ управляющаго ему наплевать!—Далеко шагнулъ, голубчикъ!.. Шалишь!..»

И управляющій, послѣ нѣкотораго раздумья, отдалъ секретарю распоряженіе:

— Написать приказъ о переводѣ завѣдующихъ складами № 13-й и № 7-й—Яхонтова и Кириллова—одного на мѣсто другого.

Секретарь подумалъ: «Это, батенька, твое дѣ-

ло... Стегай по комъ попало, я перечить не стану... Оставилъ бы меня въ покоѣ...»

— Да не забудьте упомянуть въ приказѣ, что... для пользы службы...—прибавилъ управляющій въ слѣдъ удаляющемуся секретарю. — Слышите?

— Слушаю, ваше превосходительство!

IX.

Распоряженіе управляющаго акцизными сборами о переводѣ завѣдующаго складомъ Яхонтова вызвало много толковъ. Объ этомъ заговорили не только въ складѣ № 13, но и въ городѣ, гдѣ находился этотъ складъ; заговорили на улицахъ, въ магазинахъ—всюду. Уѣздный городишко былъ настолько захолустень и малъ, что всякая перемѣна въ личномъ составѣ служащихъ того или иного изъ немногихъ учрежденій его, не могла не составить для горожанъ событія первой важности. Къ тому же, винный складъ № 13 и по грандіозности своихъ сооружений и по своему обширному обороту, не говоря уже о тѣхъ матеріальныхъ выгодахъ, какія онъ приносилъ казнѣ, внушалъ къ себѣ довѣріе, какъ большая, прекрасно устроенная и во всѣхъ отношеніяхъ правильно организованная фабрика, гдѣ все должно служить примѣромъ для частныхъ предпринимателей. И вдругъ ни съ того, ни съ сего, глава этого обширнаго дѣла теряетъ подъ собой почву и среди

зимы, въ январѣ мѣсяцѣ, оставляетъ складъ... Такое положеніе вещей тѣмъ болѣе было непонятнымъ для большинства постороннихъ лицъ, что Яхонтовъ слылъ въ глазахъ горожанъ чело-вѣкомъ толковымъ, умѣреннымъ и до педантизма преданнымъ интересамъ казны. И только одинъ исправникъ, добродушный, симпатичный старичекъ, неизмѣнно служившій на своемъ мѣстѣ 25 лѣтъ и привыкшій смотрѣть на жизнь скептически, узнавъ о переводѣ завѣдующаго, подумалъ: «Профершпилился, голубчикъ! Вѣроятно, стебанулъ съ кого-то не въ мѣру...» Исправникъ изъ любопытства частенько хаживалъ въ складъ и всякій разъ, прощаясь съ Яхонтовымъ, дружески говорилъ: «Да какъ же у васъ, родненькій, голова-то на плечахъ держится въ такомъ водоворотѣ? Тутъ однихъ дѣвицъ-красавицъ, небось, больше сотни наберется... И помимо того и водка, и деньги, и всякія иныя принадлежности, улащающія нашу хмурую жизнь... Ужъ больно много соблазна!..»

Зато менѣе другихъ думалъ и говорилъ о своемъ переводѣ самъ Яхонтовъ. Онъ ожидалъ худшаго—увольненія отъ службы, и полученное имъ извѣщеніе о переводѣ скорѣе огорчило его, чѣмъ обрадовало.

«Къ чему всѣ эти полумѣры, не понимаю ей-Богу!—подумалъ онъ.—По моему, ужъ если рубить, то рубить съ плеча... А перебрасывать чело-вѣка съ мѣста на мѣсто, точно вещественный шарикъ и при томъ же... «для пользы службы...» Фи! какая дешевенькая декорація,

расчитанная на плохихъ знатоковъ сценическаго искусства!...»

Главнымъ же образомъ все вниманіе Яхонтова, всѣ его мысли были сосредоточены теперь надъ тѣмъ, чтобы успокоить семью. Нужно было доказать женѣ, что все это пустяки, что не въ томъ состоитъ цѣль жизни, чтобы завѣдывать казеннымъ виннымъ складомъ, а что есть и должны быть въ человѣкѣ болѣе существенныя стремленія: вѣра въ Бога, въ самого себя, наконецъ, въ хорошихъ, добрыхъ людей, которые все же существуютъ на свѣтѣ... Нужно было убѣдить жену во всемъ этомъ и въ томъ, между прочимъ, что можно иногда и не обѣдать... да, можно иногда и не обѣдать въ то время, когда ежедневно ѣсть хочется...

Жена Яхонтова молча выслушивала увѣренія мужа и молча плакала, и отъ этого Яхонтову сдѣлалось еще тяжелѣе, то-есть не отъ того ему стало тяжелѣе, что жена плакала, а отъ того, что она молча выслушивала его, не упрекая ни въ чемъ и ничего не требуя.

— Конечно, я поступилъ необдуманно, нетактично... виновать прежде всего предъ тобой,— глухо и неубѣжденно проговорилъ Яхонтовъ, чтобы хотя этимъ отдать свой поступокъ на судъ жены и тѣмъ самымъ облегчить себя.—Я виновать въ томъ,—продолжалъ онъ,—что причинилъ тебѣ боль, осложнивъ борьбу за существованіе и безъ того сложную и невыносимо тяжелую... Я сознаю... понимаю... Быть можетъ я не правъ и предъ управляющимъ: нужно было

подчиниться его волѣ, нужно было принять сторожа, хотя бы это и подорвало мой престижъ, поставило бы меня въ смѣшное положеніе предъ моими подчиненными, предъ тѣмъ же сторожемъ. Думаю, что изъ сотни людей, можетъ быть, нашелся бы одинъ, кто поступилъ бы такъ, какъ поступилъ я, а остальные—поступили бы иначе... Впредь постараюсь быть умнѣе, практичнѣе... Постараюсь...

Но отъ этихъ словъ Яхонтову стало еще тяжелѣе. И не потому усилилась въ немъ боль ноющего сердца, что жена попрежнему упорно молчала, безцѣльно глядя въ уголь комнаты большими задумчивыми и покраснѣвшими отъ слезъ глазами, а потому, что Яхонтовъ говорилъ совсѣмъ не то, что думалъ и чувствовалъ. Онъ сознавалъ, что поступить иначе онъ не могъ и не можетъ, и что и впредь будетъ поступать именно такъ, а не иначе, и что никогда онъ не будетъ «умнѣе» и «практичнѣе»; и что, наконецъ, если онъ и виноватъ передъ кѣмъ-либо въ своемъ поступкѣ, такъ это прежде всего предъ сторожемъ Степаномъ, котораго онъ не понималъ и не оцѣнилъ и который первый выступилъ смѣлымъ и гордымъ борцомъ за справедливость, такимъ же борцомъ, ставящимъ на карту и службу, и личное благополучіе, какимъ впоследствии оказался самъ Яхонтовъ; это были люди однихъ убѣжденій, одного лагеря, сыгравшіе на разныхъ полюсахъ и каждый по своему одну и ту же роль.

Послѣдніе три-четыре дня пребыванія Яхон-

това въ складѣ № 13, были для него еще болѣе тяжелыми, болѣе мучительными. Нужно было сдать складъ со всѣми его многочисленными предметами, со всѣми мелочами; нужно было приготовить къ передвиженію и свои вещи; нужно было сдѣлать прощальные визиты всѣмъ знакомымъ, такъ или иначе уважавшимъ Яхонтова, выслушивая при этомъ ихъ распросы и сѣтованія: «Какъ жаль!» «Изъ-за чего все это!» «Какъ неожиданно!» «И отчего бы вамъ не остаться!» «Поѣзжайте, просите управляющаго»... «Ну, останьтесь хотя до лѣта, до весны: куда же теперь ѣхать съ семьей, съ ребятишками».—И при всемъ этомъ нужно было еще посѣщать складъ, встрѣчаться со служащими, выслушивать отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ слова искренняго сожалѣнія, а въ фізіономіяхъ другихъ видѣть грубое проявленіе нѣмого торжества. Нужно было видѣть это торжество въ фізіономіяхъ тѣхъ пошленькихъ, неблагодарныхъ людей, для которыхъ Яхонтовъ сдѣлалъ многое и которые первые готовы были бросить въ него комокъ грязи только потому, что въ Яхонтовѣ миновала надобность и что онъ сходитъ со сцены... Нужно было видѣть это и пережить... Словомъ, съ одной стороны, нужно было играть роль жалкаго, безсильнаго, обиженнаго человѣка, съ другой же—быть въ роли развѣнчаннаго короля, съ котораго не сняли корону, а публично нанесли пощечину...

Служащіе склада вздумали было поднести Яхонтову адресъ, но онъ отклонилъ ихъ желаніе,

находя въ принципѣ такую форму выраженія преданности слишкомъ узкой, официальной, недостигающей своей цѣли. Пригласивъ къ себѣ въ квартиру болѣе преданныхъ ему сослуживцевъ, онъ сказалъ:

— Сердечно радъ вашей признательности, и если бы вы пожелали выразить ее лишь въ формѣ доброй обо мнѣ памяти—я бѣльшаго не желалъ бы. Соглашаюсь, что такую преданность почти всегда принято выражать вещественно: въ формѣ адреса или еще чего-либо иного; мнѣ же кажется, что это не усиливаетъ, а напротивъ, умаляетъ значеніе истиннаго чувства: выходить какъ-то шаблонно, по-чиновнически... А мы съ вами не чиновники, а мастеровые люди, фабричные труженики...

Зато не такъ легко было предусмотрѣть и отклонить то, что дѣлалось въ это время въ средѣ рабочихъ склада—мужчинъ и женщинъ. Зная о времени отъѣзда завѣдующаго, эти сѣренькіе, грязненькіе, захудалые люди съ затаеннымъ волненіемъ сидѣли на своихъ мѣстахъ, нетерпѣливо ожидая того времени, когда въ складъ явится Яхонтовъ и скажетъ имъ послѣднее «прощайте»... «Вѣдь долженъ же онъ проститься съ нами»,—думали они. Наконецъ, имъ сообщаютъ, что завѣдующій уѣзжаетъ, уже садится въ экипажъ... Это извѣстіе дѣйствуетъ на нихъ магически, какъ вѣсть о пожарѣ. Всѣ они оставляютъ свои мѣста и тѣсной гурьбой бѣгутъ къ жилому дому, къ квартирѣ завѣдующаго. И какъ будто всѣ они показались теперь на поверхности

рѣки, вынырнувъ вдругъ изъ ея глубины—до того неожиданно и поспѣшно было появленіе этой двухсотглавой толпы, окружившей плотнымъ кольцомъ сани Яхонтова.

И изъ устъ всѣхъ ихъ, какъ одного человека, вырвалось и долго, долго не умолкало одно и то же слово:

— Прощайте!.. Прощайте!.. Прощайте!..

И это слово, какъ стройный и строго размѣренный мотивъ задушевной пѣсни, медленно расплывалось въ январьскомъ, морозномъ воздухѣ и отъ этого звуки его казались еще громче, еще чище, еще мелодичнѣе... Эти звуки не только ударили по слуху и по всѣмъ струнамъ сердца—они, какъ нѣчто вещественное, какъ легкій прозрачный туманъ, поднимались вверхъ, но не уносились въ глубь лазурнаго неба, а оставались тутъ же, надъ головой толпы, и, какъ волна, играли въ воздухѣ своими слегка размѣренными переливами и, какъ та же волна, то поднимались вверхъ, то опускались... Не видя того, что происходило сейчасъ, не видя этой массы лицъ, а лишь слыша ихъ голоса, можно было подумать, что передъ вами лежитъ исполинскихъ размѣровъ мраморная плита, на которую обильнымъ градомъ сыплется мелкая золотая монета, издавая тонкій, пріятный звукъ драгоценнаго металла.

Но вотъ упала на «плиту» еще одна послѣдняя монета, и звуки умолкли... Яхонтовъ стоялъ у саней въ какомъ-то опьяненіи, не давая себѣ отчета въ томъ, что вокругъ него происходило. Онъ чувствовалъ одно, что ему нужно

отвѣтить на этотъ торжественный гимнъ народной любви и что его отвѣтъ долженъ быть такимъ же чистымъ, легкимъ, душевнымъ, какъ и ихъ «прощайте!» И не успѣлъ Яхонтовъ собраться съ силами, не успѣлъ онъ окинуть продолжительнымъ взглядомъ окружавшихъ его лицъ, какъ изъ заднихъ рядовъ толпы, разрывая ея цѣпь, показался высокаго роста бравый мужчина, въ грязномъ полотняномъ фартукѣ, держа передъ собой въ рукахъ какой-то предметъ, скрытый подъ шелковымъ бѣлоснѣжнымъ платкомъ. Слѣдовавшій за нимъ другой рабочій дрожавшею рукою приподнялъ вверхъ платокъ, какъ приподнимаютъ занавѣсъ, и передъ Яхонтовымъ открылся большой образъ Спасителя въ золотой оправѣ. Рабочій, державшій образъ, переживалъ сильное волненіе: лицо его блѣднѣло, дрожали губы, вздрагивали руки, а въ рукахъ дрожалъ образъ... Бросивъ мимолетный взглядъ на толпу и какъ-бы ожидая отъ нея помощи, онъ внятно произнесъ:

— Это... отъ насъ...

— Отъ насъ!.. Отъ насъ!.. Отъ насъ!..—слышалось со всѣхъ сторонъ,—и опять разлился волной въ плотномъ морозномъ воздухѣ тотъ-же дивный аккордъ волшебныхъ звуковъ, взятый исполинской рукой на двухструнной арфѣ, и долго, долго не умолкалъ...

Снявъ шапку и не спѣша осѣнивъ себя большимъ крестомъ, Яхонтовъ поцѣловалъ образъ. И какъ будто отъ того, что онъ снялъ шапку и прикоснулся губами къ холодному стеклу образа,

онъ почувствовалъ сильный ознобъ во всемъ тѣлѣ, а протянутыя имъ дрожащія руки скользили по рамкѣ образа, какъ бы не находя мѣста, чтобы взять его... И когда образъ перешелъ къ Яхонтову, руки его еще болѣе задрожали, а въ груди, въ головѣ, во всемъ тѣлѣ почувствовался сильный приливъ лихорадочнаго зноя.

И ни о чемъ не думая въ эту минуту, ничего не соображая, Яхонтовъ сказалъ:

— Простите меня хорошіе, добрые, сердечные люди... Я не заслужилъ этого...

— Заслужили!.. Заслужили!.. Заслужили!.. — прервалъ рѣчь Яхонтова хоръ двухсотъ голосовъ. — Заслужили!.. Это отъ насъ!.. Отъ насъ!.. Отъ насъ!.. Отъ насъ!..

— Одно могу сказать вамъ отъ чистаго сердца: ни въ комъ изъ васъ я не видѣлъ себѣ врага и ни для одного изъ васъ я тоже не былъ врагомъ. А если я изнурялъ васъ непосильной работой, изнурялъ повседневно, безстыдно, то... А впрочемъ, вы способны все перенести на своихъ могучихъ плечахъ!.. Пошли же Господи, вамъ здоровья!.. — Прощайте!

Съ этими словами Яхонтовъ сердечно поклонился толпѣ и поспѣшно сѣлъ въ сани. Возница неохотно дернулъ возжами и озябшіе лошади быстро умчались со двора.

Толпа рабочихъ бросилась вразсыпную, посылая въ слѣдъ утѣшающаго послѣднее «прощайте!»

Х.

Поразительно-странную смѣсь чувствъ переживалъ Яхонтовъ. Сидя въ саняхъ съ женой и съ дѣтьми, онъ какъ-бы не замѣчалъ ихъ присутствія и въ то же время не уносился мыслями и къ тому, что произошло сейчасъ... Того сильнаго чувства, которое нѣсколько минутъ назадъ переживалъ Яхонтовъ и которое въ то время, казалось, навсегда овладѣло всѣмъ его существомъ, какъ ничто въ жизни,—того бурно-захватывающаго и неизмѣримо-пріятнаго чувства уже не существовало, и какъ будто отъ того, что оно исчезло, а на смѣну не появлялось ничего, ему подобнаго,—какъ будто отъ всего этого стало вдругъ на душѣ холодно, пусто... Весь лихорадочный зной, какой такъ недавно, полчаса назадъ, чувствовался въ его груди, весь этотъ зной, казалось, перешелъ теперь въ голову, въ мозгъ, вызывая въ немъ смутное сознаніе какой-то ужасной, чудовищно-нелѣпой ошибки, никогда и ничѣмъ уже неоправимой... Самъ Яхонтовъ пока не могъ дать себѣ опредѣленнаго отчета—въ чемъ именно заключалась тутъ ошибка—насколько онъ лично виновенъ въ ней и насколько виновны другіе; но онъ чувствовалъ, что ошибка есть и что если эта ошибка всецѣло произошла по его винѣ, онъ не въ силахъ будетъ изгладить ее въ своей памяти. Тутъ чувствовалось что-то сложное, далеко выходящее изъ ряда повседневныхъ проявленій

будничной жизни, что-то такое, надъ чѣмъ нужно подумать послѣ, а не теперь, когда Яхонтовъ чувствовалъ себя пришибленнымъ, какъ будто его хватили по головѣ тяжелымъ молотомъ въ то время, какъ онъ совсѣмъ не ожидалъ этого.

— Видно, они любятъ тебя...—процѣдила сквозь зубы жена Яхонтова, не глядя на мужа и какъ бы обращаясь съ этими словами не къ нему, а къ иному лицу.—Въ такомъ случаѣ, ты и тутъ не правъ: нужно было остаться хотя бы для этихъ любящихъ людей; нужно было пожалѣть ихъ...

Яхонтовъ молчалъ.

— А кто та дѣвушка, которая стояла ближе всѣхъ къ санямъ, когда подносили тебѣ образъ и все время плакала навзрыдъ, закрывая лицо грязными, будто окрашенными въ сажу руками, съ глубокими кровавыми трещинами на ладоняхъ и между пальцевъ?..

— Это Маша... Таганцова... лучшая купорщица, искалѣчившая себѣ руки надъ закупоркой бутылокъ, этой адски-чудовищной работой, которую могутъ выносить далеко не всѣ дѣвушки, насколько бы онѣ ни были крѣпки физически и трудолюбивы. Маша же сидитъ за купорочной машиной вотъ уже болѣе двухъ лѣтъ и въ послѣднее время перестала жаловаться на боль пальцевъ и на боль рукъ въ плечахъ. Прежде же она частенько обращалась ко мнѣ съ просьбой, дать ей иную работу, но всякій разъ, когда я освобождалъ Машу отъ закупорки бутылокъ и поручалъ эту работу другимъ дѣ-

вушкамъ, въ складѣ падала «норма» по выработкѣ вина, изъ-за чего было у меня столько непріятностей съ управляющимъ... И я разъ навсегда запретилъ Машѣ такую вольность... И она подчинилась...

— Ну, а другія дѣвушки-купорщицы?

— И другія купорщицы такія же мученицы, какъ и Маша... И у нихъ такія же искалѣченныя руки, съ такими же кровавыми трещинами, такая же боль въ плечахъ, во всемъ организмѣ... И неудивительно—сдѣлать одной правой рукой въ теченіе часа болѣе двухъ тысячъ движеній: опустить въ гнѣздо машинки хотя бы тысячу пробокъ (каждую врозь) и не менѣе тысячи разъ ударить той же рукой по рычагу машинки—думаю, чего-либо стоитъ! А такихъ рабочихъ часовъ съ двухтысячнымъ движеніемъ у насъ бываетъ ежедневно ровно десять...

— Странно...

— Отчасти...

— Ну, а прочія работницы?—спросила жена.

— Удивляюсь, право! Ты же не разъ бывала у меня въ складѣ и могла бы, кажется, составить себѣ понятіе обо всемъ, что тамъ дѣлается.

— Какъ-то не приходилось обращать вниманія. Къ тому же у васъ въ казенныхъ складахъ такъ хорошо обставлено все съ виду, что и въ голову не придетъ подумать о томъ. Вездѣ чистота: въ рабочихъ отдѣленіяхъ полы блестятъ, какъ въ танцъ-классахъ, нигдѣ ни пылинки; работницы въ бѣлоснѣжныхъ фартучкахъ и въ

такихъ же чепцахъ; и прочая одежда у нихъ, кажется. одной формы... Словомъ, какъ институтки! Подойдешь къ нимъ—веселыя, улыбаются, охотно кланяются... И совсѣмъ не видно того, что онѣ страдаютъ... Напротивъ, кажется, что тутъ люди чувствуютъ себя облагодѣтельствованными, и что ихъ посадили не за работу, надъ которой не выдерживаютъ мускулы и огрубѣвшая кожа рукъ, давая трещины, а какъ будто они сидятъ за большимъ обѣденнымъ столомъ на именинахъ...

— Да... У этихъ людей можно поучиться кое-чему...—въ раздумьи процѣдилъ Яхонтовъ.— Можно... Лишь бы была охота...

— Однако и у васъ можно кое-чему поучиться, если присмотрѣться къ вамъ ближе, господа администраторы!—замѣтила жена Яхонтова съ явной ироніей.

— Еще-бы! У насъ прежде всего можно поучиться «политикѣ», то-есть обману зрѣнія, слуха, вкуса, обонянія и осязанія—словомъ, всѣхъ пяти внѣшнихъ чувствъ, а о внутреннихъ... душевныхъ чувствахъ, не можетъ быть и рѣчи... Мы профессора своего дѣла! Ты очень кстати замѣтила, что въ нашихъ складахъ такъ великолѣпно обставлено все съ виду, что никому и не раскусить того, что скрывается подъ этой великолѣпной оболочкой—никому, никому, кромѣ однихъ насъ, несчастныхъ эксплуататоровъ! Ты правду сказала, что наши рабочіе съ виду кажутся облагодѣльствованными, и ни одни рабочіе, а всѣ мы, всѣ кажемся такими: и я, и мои помощники, и конторщикъ, и машинистъ,

и даже тѣ жалкіе измученные писцы, которые просиживаютъ на своихъ мѣстахъ по 16 часовъ въ сутки, зато въ хорошемъ помѣщеніи, съ блестящими отъ мастики полами и красивыми дорожками линолеума!.. И если ты, жена того человека, который нѣсколько лѣтъ стоитъ во главѣ этихъ страдальцевъ и который самъ страдаетъ не меньше ихъ всѣхъ,—если, говорю, ты только сейчасъ поняла и пожалѣла насъ, то сколько же должно пройти времени для того, чтобы поняли насъ другіе?.. Вѣроятно, не хватитъ на то нашей жизни...—Оставимъ! Не будемъ говорить!

Но Яхонтовъ первый началъ рѣчь, правда, послѣ продолжительнаго молчанія.

— «Онъ» можетъ уволить меня отъ службы въ 24 часа... Отъ меня взята подписка, оплаченная крупнымъ гербовымъ сборомъ, подписка въ томъ, что я обязанъ служить ему въ теченіе трехъ лѣтъ и исполнять всѣ его требованія, инструкции, правила, какъ уже изданныя имъ, такъ и имѣющія появиться въ свѣтъ въ неопредѣленномъ будущемъ... А онъ... онъ, съ своей стороны, можетъ уволить меня во всякое время безъ объясненія причинъ!.. Ха-ха-ха-ха-ха-ха...

Чиста и прозрачна глубокая лазурь утренняго весенняго неба... И какъ та же лазурь, чистъ и прозраченъ окружающій землю воздухъ... Но къ вечеру—тучка за тучкой, какъ перышко за перышкомъ—и въ угрюмой, холодной тучѣ грохочутъ раскаты грома...

Откуда?

ГОРОШКОВСКІЙ ИКОНОПИСЕЦЪ





ГОРОШКОВСКІЙ ИКОНОПИСЕЦЪ

(Психологическій очеркъ)

I.

Въ 1888 году я служилъ учителемъ въ селѣ Горошкахъ. Мѣстная дирекція народныхъ училищъ вмѣнила въ обязанность всѣмъ школамъ приобрести образъ великихъ славянскихъ просвѣтителей, св. Кирилла и Меѳодія.

Получивъ объ этомъ циркуляръ, я отправился въ сельское управленіе.

— Что-жъ, коли нужно—выполнимъ... Икона вещь важная...—съ сознаніемъ собственной власти и со смиреніемъ набожнаго человѣка рѣшилъ староста.—Кстати, у насъ скоро ярмарка. Ужъ гдѣ, а на ярмаркѣ можно сыскать всякаго «святого»...

— Нѣтъ, староста, Кирилла и Меѳодія вы тамъ не сыщете,—замѣтилъ я.—Образъ нужно заказать порядочному мастеру.

Староста смутился.

— Заказать... Оно-то хорошо... я самъ это знаю... И мастеръ есть хорошій, но...

— Что?

— А то, что дорого будетъ стоить...

— А кто-же этотъ мастеръ?

— Да мастеръ нашъ... Сафронычъ... Только онъ дешево не срисуешь.

Я не зналъ Сафроныча и не видѣлъ его работы, но то, что приходилось мнѣ слышать о немъ, заставляло меня усомниться въ творческихъ силахъ горошковскаго иконописца.

— Слушайте, староста,—сказаль я:—если желаете повѣсить въ школѣ икону, то все же нужно, чтобы она имѣла образъ и подобіе Божіе... Значить, нужно пріискать иконописца, правда, недорогого, но тѣмъ не менѣе, порядочнаго. А Сафронычъ... какъ вамъ сказать?.. Онъ просто не годится...

— Какъ, и Сафронычъ не годится? Да онъ въ наши церкви сколько иконъ списываль!

— Знаю. Отецъ Кипріанъ говорилъ объ этомъ. У Сафроныча всѣ «святые» выходятъ съ такими ужасными лицами, что батюшкѣ не разъ приходилось возвращать его работу... Нѣтъ, этотъ человекъ для насъ неподходящій...

— Воля ваша,—сказаль староста:—пусть отдають меня подъ судъ, а иконы я заказывать не стану!

Староста былъ глупъ и упрямъ, какъ большинство сельскихъ старостъ, и какъ я не убѣждалъ его—ни доводы, ни просьбы на него не дѣйствовали. Онъ твердо признавалъ свою власть, хорошо понималъ безсиліе «нашихъ» циркуляровъ и поэтому, какъ на послѣдній исходъ, указаль на Сафроныча.

Дѣлать было нечего—я согласился и мы тогда-же отправились къ иконописцу.

Сафронычъ имѣлъ собственный домъ, расположенный вблизи базарной площади, почти на

срединѣ довольно обширнаго двора, который, по-видимому, былъ когда-то огороженъ, о чемъ свидѣтельствовали кое-гдѣ уцѣлѣвшіе по межѣ полусгнившіе столбики. Дворъ и прилегающій къ нему огородъ были запущенны: высокая, почти саженнаго роста лебеда, казалось, укоренилась тутъ вѣками, напоминая собой дѣвственный лѣсъ. Въ знойные лѣтніе дни въ ней скрывались собаки, свиньи, а иногда и болѣе почетные гости — пьяные мужички, такъ какъ черезъ улицу красовалось «распивочно и на выносъ».

Домъ Сафроныча также имѣлъ свои особенности и не менѣе свидѣтельствовалъ о томъ, что въ немъ обитаетъ «разночинецъ». Это было узкое, но довольно длинное строеніе съ низкими глинобитными стѣнами, непропорціонально большими окнами, тщательно выкрашенными ставнями и крылечкомъ. Крыша зданія выглядѣла удивительно оригинальной: крытая соломой, поросшей отъ времени мхомъ, она имѣла до того пострадавшій гребень, что торчавшая посрединѣ его печная труба раза въ три превышала свою обыкновенную величину, нахально выдаваясь вверхъ и какъ бы щеголяя своимъ отвратительно-неряшливымъ видомъ.

Не безъ страха вошелъ я подъ кровъ иконописца. За крыльцомъ слѣдовали грязныя, темныя стѣны, изъ которыхъ шло двое дверей — въ каждую изъ половинъ дома; въ одну изъ нихъ дверь оставалась открытой, — это была кухня.

Тутъ, на широкой кровати, полулежала женщина среднихъ лѣтъ, съ откормленнымъ крас-

нымъ лицомъ и зловѣщими черными глазами. Увидѣвъ насъ, она не измѣнила своей позы, показавшейся мнѣ неприличной, даже не мигнула глазомъ на наше «здравствуйте», а на вопросъ старосты—«гдѣ-же Сафронычъ?»—молча указала на противоположную дверь.

Мы вошли въ другую половину дома—свѣтлую и довольно обширную, раздѣленную деревянной перегородкой на двѣ комнаты. Первая изъ нихъ именовалась у Сафроныча «залой» и была обставлена простой, довольно приличной мебелью. Грязныя стѣны ея почти сплошь убраны были самими разнообразными картинами, писанными на полотнѣ, а въ красномъ углу громоздились одинъ на другомъ большіе и малые, тщательно отдѣланные образа. Глядя на всѣ эти изображенія, чувствовалось, что тутъ затрачена цѣлая жизнь человѣка, добровольно осудившаго себя на такой неблагодарный, кропотливый трудъ...

Около получаса мы расхаживали по залѣ, разсматривая работу Сафроныча. Изъ всѣхъ его произведеній заинтересовало меня одно—«Зима на Днѣпровскихъ порогахъ». Этотъ видъ былъ знакомъ мнѣ въ натурѣ и теперь меня удивляла вся художественность его изображенія. Та буйная, стихійная сила «пороговъ», которая такъ злобно бушуетъ лѣтомъ, зимой обыкновенно скована морозомъ, представляя изъ себя нѣмыя и безобразныя глыбы льда. «Пороги» Сафроныча, несмотря на видимую торопливость работы, говорили за его наблюдательность и удивительно тонкое пониманіе природы. Мнѣ даже не вѣри-

лось, чтобы картина эта была созданиѣмъ кисти Сафроныча, котораго я представлялъ себѣ самымъ отпѣтымъ иконописцемъ.

— Что, хороша картинка?—спросилъ я у старосты.

— Пустячки!..

— А вы понимаете пустячки-то эти?

— Вѣстимо.. Снѣгъ и ледъ—значить зима!—авторитетно отвѣтилъ «администраторъ» и отошелъ къ большому холсту, изображавшему Іоанна Богослова.

Образъ былъ исполненъ плохо, но въ общемъ, особенно издали, производилъ нѣкоторый эффектъ.

— Вотъ видите-ли,—сказалъ староста:—вы говорили, что Сафронычъ не срисуетъ «Кирилла»...

— Тсс...—прервалъ я рѣчь старосты, кивнувъ головой въ сторону слѣдующей комнаты.—Вѣдь туда все слышно...

Староста сконфузился и подошелъ къ двери, ведущей въ мастерскую. Опасеніе мое оказалось напраснымъ: ни движеній, ни малѣйшаго шороха не слышно было за плотно прикрытой дверью. Очевидно, Сафронычъ работалъ съ увлеченіемъ, какъ и полагается художнику. Признаюсь, у меня не хватало духу нарушить подобное состояніе человѣка, но староста выручилъ меня.

— Здравствуй, Сафронычъ! Какъ поживаешь? Какъ здоровье?—обычнымъ рѣзкимъ тономъ прокричалъ онъ, перешагнувъ порогъ двери въ мастерскую и направляясь къ хозяину.

По тону этихъ словъ я понялъ, что староста попалъ въ такое мѣсто, гдѣ ему церемониться нечего.

Сафронычъ сидѣлъ молча. Передъ нимъ, изнанкой къ двери, помѣщался большихъ размѣровъ холстъ, за которымъ онъ работалъ. Холстъ закрывалъ всю фигуру мастера, исключая однѣхъ ногъ. Я оставался у двери, любопытно разсматривая ноги Сафроныча. Длинные, исхудалые, обутые на босую ногу въ старыя туфли и обтянутые узкими грязными штанами, съ большой заплатой на колѣнѣ, ноги эти достаточно уже свидѣтельствовали о всей фигурѣ моего будущаго знакомя.

— Славная икона!—съ достоинствомъ прощѣдилъ староста, разсматривая работу Сафроныча.—Какъ долженъ называться этотъ святой?

— Маркъ...—неохотно отвѣтилъ хозяинъ, не покидая кисти.

— Въ нашу церковь?

— Да.

— А сколько за работу? Небось, рублей пятнадцать?

Сафронычъ смолчалъ, лишь ноги его судорожно дрогнули.

Такое невниманіе обидѣло властолюбиваго мужика.

— Что-жъ не спрашиваешь, зачѣмъ пришли?..—все тѣмъ жъ грубымъ тономъ продолжалъ староста.—Работы-то у тебя много?

— Да, есть....

— А я пришелъ съ учителемъ... Нужно списать икону...

Сафронычъ вытянулъ изъ-за холста голову и взглянулъ на меня; взоры наши встрѣтились. Я почувствовалъ себя неловко, да и онъ сконфузился. Оставивъ кисть, Сафронычъ вышелъ изъ засады и пожалъ мнѣ руку, а затѣмъ пригласилъ насъ въ залу... Но интересенъ его портретъ.

На видъ Сафронычу можно было дать лѣтъ около сорока. Высокій, тонкій, сутулый, со впалой грудью, длинными костлявыми конечностями и такой-же шеей, онъ могъ-бы показаться самымъ ужаснымъ привидѣніемъ, если бы все это уродство не стушевывалось его фizioноміей: величавымъ спокойствіемъ, кротостью и добродушіемъ дышала она, не говоря уже объ общемъ ея благообразіи. Правда, носъ Сафроныча былъ нѣсколько неудаченъ, напоминая собою одну изъ формъ недозрѣлаго картофеля, но до бѣды тутъ было далеко: такой носъ, какъ нельзя лучше, шелъ къ его фizioноміи. Остальныя черты лица были правильны: блѣдный, выпуклый лобъ, умѣренный ротъ, тонкія, строго очертанныя губы.

Я съ цѣлью не упомянулъ о глазахъ Сафроныча, ибо всегда внимательно останавливаюсь на этомъ важномъ органѣ человѣческаго образа. И если не рѣдко встрѣчаются люди, глаза которыхъ служатъ лишь обыкновеннымъ органомъ зрѣнія, ничего не говоря за внутренній міръ человѣка, зато, во всякомъ случаѣ, часты примѣры и обратнаго явленія. Въ этомъ отношеніи Сафроныча можно было назвать феноменомъ. Въ глазахъ этого человѣка отражалась вся прошедшая и настоящая жизнь... Казалось, не было чув-

ства, думы, малѣйшаго сердечнаго движенія, которыя не проглядывали-бы сквозь стекло умѣренныхъ по величинѣ и черныхъ, какъ воронье крыло, глазъ, съ пожелтѣвшими отъ утомленія бѣлками. Эти глаза спокойно двигались въ орбитахъ, не имѣя признака того остраго блеска, язвительная искра котораго такъ часто присуща этого рода глазамъ,—напротивъ, въ глазахъ иконописца просвѣчивала любовь, ласка, смѣнявшіяся по временамъ глубоко-затаенной грустью...

Я и староста сидѣли, а Сафронычъ ходилъ по комнатѣ, жадно курия папиросу. Его движенія были вялы и неловки: ноги поднимались неуклюже, руки болтались, какъ плети.

— Очевидно, у васъ много работы?—спросилъ я, предварительно обмѣнявшись съ нимъ нѣсколькими пустыми фразами.—Очень жаль, что мы попали къ вамъ въ такое время, когда...

— Вамъ нужно написать икону?—спросилъ Сафронычъ, прерывая мою рѣчь.—Какую и для какой надобности?

— Видите-ли, въ чемъ дѣло,—отвѣтилъ я:—начальство наше велитъ пріобрѣсти въ школу образъ Кирилла и Меѳодія. И вотъ по этому-то поводу мы зашли къ вамъ...

— Да, постарайся, братъ...—съ своей стороны добавилъ староста.—Главное, чтобы не дорого... Для «общества» долженъ уважить...

— Къ чему же преждевременно говорить о платѣ,—съ укоризной возразилъ я:—вѣдь плата должна быть дѣломъ личной совѣсти... Сначала

нужно обусловливать работу, а стоимость ея будетъ очевидна сама по себѣ.

Сафронычъ внимательно посмотрѣлъ на меня, оригинально искрививъ свои блѣдныя губы; во взглядѣ его и въ улыбкѣ я подмѣтилъ что-то крайне наивное,—такъ выражаетъ свои чувства полугодовой ребенокъ, который и въ радости, и въ горѣ одинаково искажаетъ художественное очертаніе миниатюрнаго ротика.

— Да... Кирилла и Меѳодія?... Что-же... я, пожалуй, навишу...—процѣдилъ Сафронычъ.—Я радъ... Мнѣ очень пріятно... Но позвольте...—и онъ остановился.

Я наблюдалъ за лицомъ иконописца, въ особенности—за его глазами. Чувство радости и какой-то дѣтски-скрытой надежды сказалось въ нихъ. Какое это было чувство—я не могъ понять.

— Кирилла и Меѳодія?... Хорошо... благодарю васъ... Я возьмусь... Только, видите-ли, все дѣло въ томъ...

— Въ чемъ? Въ цѣнѣ?

— О, нѣтъ, помилуйте... далеко нѣтъ!.. Я за цѣной не гонюсь... Мнѣ нужно знать... какъ бы это сказать?...—И онъ опять замаялся.

Мнѣ хотѣлось выручить Сафроныча, но могъ ли я знать его мысли?

— Ахъ, видите-ли,—продолжалъ онъ:—наша работа... ужасна... Каждый заказчикъ тычетъ намъ пальцемъ, водить нашей кистью... Вотъ поэтому-то я и хотѣлъ знать... какъ вы желаете... какъ вамъ нравится... какія краски, то-есть, сколько свѣта и тѣни, и любите ли вы оригинальность?

— Удивляюсь, право, вашимъ словамъ,—ска-
заль я.—Разъ заказчикъ довѣряетъ мастеру, то
при чемъ тутъ такая предусмотрительность вкуса?
Въ особенности это неудобно при написаніи иконъ.
Сдѣлайте одолженіе—пользуйтесь полной свободой.

Нужно было видѣть, во что обратился Са-
фронычъ послѣ моихъ словъ. Удивленіе, во-
сторгъ, чувство искренней признательности до
того взволновали его слабую грудь, что онъ не
могъ вымолвить слова. Напрасно шевелились его
блѣдныя губы, напрасно онъ силился сдержать
свое порывистое дыханіе—рѣчи не было, а какъ
бы взамѣнъ ея костлявыя руки дѣлали нелов-
кіе, жалкіе жесты, краснорѣчиво говоря за его
душевное состояніе.

— О, я понимаю!—вырвалось, наконецъ, изъ
устъ иконописца.—Вы умный, благородный че-
ловѣкъ!.. Вы цѣните... вы понимаете искусство...
Сердечно благодарю!.. Позвольте быть знако-
мымъ!..—И онъ протянулъ мнѣ обѣ руки.

Что взволновало Сафроныча—для меня оста-
лось загадкой.

Наступившее молчаніе пришлось очень кста-
ти. Я отошелъ въ сторону и чтобы не смотрѣть
на иконописца, началъ крутить папиросу. Онъ
понялъ это, растерялся, или вѣрнѣе—skonфyзился,
и вслѣдъ за тѣмъ, безъ всякой видимой при-
чины, поспѣшилъ въ мастерскую.

Минуты черезъ двѣ онъ возвратился.

— Это все ваша работа?—спросилъ я, глядя
на стѣны комнаты и придавая своему лицу
сосредоточенное выраженіе.

— Моя...—какъ-то нехотя подтвердилъ онъ.

Я перевелъ взглядъ на Сафроныча. Въ глазахъ его свѣтилась та же дѣтская откровенность, съ тою лишь разницей, что она подавлялась теперь не то досадою, не то стыдливостью,—такъ глядятъ раскаивающіяся дѣти, когда у нихъ не совсѣмъ чиста совѣсть...

— И «Пороги» тоже ваша работа? Чудная вещица! Какъ мастерски уловлена природа! И знаете, я говорю не шутя: видъ этотъ мнѣ знакомъ въ натурѣ.

— Какъ? Вы видѣли пороги? Видѣли ихъ зимой? Но обратили-ли вниманіе?..

— Да, видѣлъ и обращалъ вниманіе... Поэтому-то и говорю, что «Пороги» ваши уловлены превосходно... Мало того, вы вылили на холстъ ту инстинно-художественную суть, которая дѣлаетъ природу болѣе рельефной, болѣе доступной нашему пониманію, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ...

— Ахъ, Господи!... Но знаете... картина не окончена... Тутъ недостаетъ многого... Я набросалъ ее наскоро... Я...

И Сафроныча опять нервно передернуло, опять судорожно запрыгали мускулы его лица: приливъ разнородныхъ чувствъ опять взволновалъ все его существо... Я съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на иконописца; этотъ человѣкъ становился для меня понятнымъ. Чистота души, отсутствіе самообладанія, дѣтская доброта и незащитность слишкомъ явно проглядывали въ немъ.

— Напрасно такъ волнуетесь... Вы сли-

шкоть нервы,—замѣтилъ я.—При вашемъ здоровьѣ нужно избѣгать острыхъ ощущеній.

Сафронычъ понялъ меня, улыбнулся и, ничего не отвѣтивъ, присѣлъ къ столу.

— А какой же размѣръ иконы?—спросилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.—Вѣдь это дѣло условное...

— Да. Объ этомъ упомянуть необходимо. Но я, право, самъ не знаю. Слишкомъ большого образа, думаю, не нужно? Вы какъ полагаете?

— Мнѣ кажется, что полтора аршина и аршинъ вполне достаточно; это будетъ вотъ такой величины...

И Сафронычъ указалъ мнѣ на одну изъ иконъ, висѣвшихъ въ залѣ.

— И превосходно!—одобрилъ я:—размѣры вполне подходящіе. — Теперь скажите цѣну.

Переходъ къ цѣнѣ непріятно подѣйствовалъ на Сафроныча; очевидно, ему еще хотѣлось поговорить со мной о чемъ-то... Онъ разсѣянно взглянулъ на меня и на старосту и, закрывъ глаза и потирая лицо руками, тихо проговорилъ:

— Что же, образа такой величины во весь ростъ и въ два лика я пишу для церквей по тридцати, по сорока рублей, а съ васъ, какъ для школы... пусть будетъ десять... Кажется, это недорого?

Сафронычъ отвелъ отъ лица руки и опять взглянулъ на насъ.

Я хотѣлъ-было благодарить его за такую умеренность, но меня предупредилъ грубый голосъ старосты:

— Десять рублей?! Что ты! А что скажешь «общество»!.. Оно прогонитъ меня!.. Какъ можно!

И староста направился къ двери.

— Погодите!—умоляюще воскликнуть Сафронычъ:—что же вы уходите! Хотя скажите, сколько можете дать.

— Да что мнѣ говорить съ тобой! Я и раньше зналъ, что не будетъ дѣла...

— Ну, извольте, я напишу за восемь...—И это дорого?

Староста махнулъ рукой и опять направился было къ двери, но тутъ же вернулся къ столу и, глядя въ упоръ Сафронычу, нагло прокричалъ:

— Ты живешь на нашей землѣ и просишь съ насъ такія деньги?!.. А?

— Да... я живу... Но усадьба куплена... А я еще сверхъ того плачу вамъ ежегодно...

— Что съ того, что ты платишь? А если намъ не угодно будетъ, чтобы ты жилъ на нашей землѣ? Нѣтъ, лучше не спорь!.. Хочешь, возьми два рубля... ну пусть будетъ три... и концы въ воду!..

Тутъ староста, изобразивъ изъ себя «губернатора», съ достоинствомъ вышелъ изъ комнаты.

— Что, хороши наши «власти»?—обратился я къ Сафронычу, по уходѣ старосты.—Повѣрьте, меня болѣе всего удивляетъ то, что дирекція наша, желая имѣть для школы образъ, пишетъ учителю, а къ сельскимъ властямъ ни слова. Съ ними, молъ, споеется самъ учитель... Что послѣ этого прикажете дѣлать?..

— Странно. Напишите вашему директору, чтобы онъ вздулъ его хорошенько!—замѣтилъ простодушный Сафронычъ.

— Эхъ, любезнѣйшій Сафронычъ! Напрасно вы такъ думаете! Наши директора-то—люди со смысломъ... И если мы пожалуемся на старосту, то вина будетъ не его, а наша... Учитель, моль, не сумѣлъ поставить себя... не сумѣлъ заручиться добрыми отношеніями... Вотъ и страдаетъ дѣло... страдаетъ вся школа...

— Въ такомъ случаѣ я напишу образъ бесплатно... Изъ уваженія къ школѣ... Нѣтъ, собственно—къ вамъ...

Предложеніе иконописца тронуло меня... Но меня поразила не доброта этого человѣка, а скорѣе ея форма, то чисто-дѣтское добродушіе, которое побуждало Сафроныча принять во мнѣ участіе.

— О, вы слишкомъ великодушны!—съ неподдѣльнымъ восторгомъ воскликнулъ я.—Но вправѣ ли мы пользоваться подобной жертвой? При томъ же, я увѣренъ, что старосту можно понудить и помимо дирекціи... У меня отыщется болѣе простое и болѣе вѣрное средство. А пока—прощайте! Скоро увидимся.

Придя домой, я написалъ мѣстному сельскому писарю—добродушному и неглупому хохлу, уваженіемъ котораго я пользовался—письмо прилизительно такого содержанія:

«Какъ поживаетъ высокошануемый Иванъ Максимовичъ?!

«Сегодня я былъ въ управленіи по поводу извѣстнаго вамъ циркуляра, смыслъ котораго

вы общали разъяснить старостѣ, но къ сожалѣнію, не могъ видѣть васъ. Теперь же, вашъ милѣйшій староста просто измучилъ меня и на цѣлыхъ десять лѣтъ разстроилъ нервы Сафронычу... За образъ въ полтора аршина длины и аршинъ ширины иконописецъ проситъ десять рублей, а тотъ даетъ два или три и то съ угрозой выселить его изъ Горошокъ... Ради Бога, урезоньте вашего «звѣря»!..»

На это письмо я получилъ лаконическій отвѣтъ: «Добре!»

Убѣжденіе мое, что Иванъ Максимовичъ уговорить старосту, оправдалось, хотя, впрочемъ, не скоро. Не мало усилій нужно было употребить настойчивому писарю, пока необузданный сельскій правитель рѣшился, наконецъ, подчиниться его вліянію. Вѣроятно, если бы Иванъ Максимовичъ нѣсколько иначе редактировалъ свой отвѣтъ ко мнѣ, то-есть, если бы вмѣсто — «Добре» (что въ переводѣ на русскій языкъ означаетъ: «Хорошо, исполню, молъ... Даю честное слово!») было сказано что-либо иное, писарь, пожалуй, отказался бы отъ этой миссіи, такъ какъ староста старался во всемъ быть самостоятельнымъ и при томъ-же недолюбливалъ Ивана Максимовича.

Но такъ или иначе, а образъ св. Кирилла и Меѳодія былъ вскорѣ же написанъ и это случайное обстоятельство дало мнѣ возможность поближе познакомиться съ Сафроничемъ.

II.

Сафронычъ былъ сыномъ одного изъ тѣхъ горемычныхъ мѣщанъ, нищенская жизнь которыхъ говоритъ за всю безсмысленность существованія у насъ этого жалкаго сословія... Отецъ Сафроныча, какъ это часто случается съ людьми этого класса, никогда не заглядывалъ въ будущее, ничему опредѣленному не учился въ молодости, а сдѣлавшись отцомъ семейства, торговалъ фруктами и т. п. мелочью.

Сначала Сафронычъ пользовался вниманіемъ отца и двѣнадцати лѣтъ былъ опредѣленъ въ уѣздное училище. Страсти къ наукамъ онъ не имѣлъ, но въ рисованіи оказывалъ большіе успѣхи. Эта способность, вѣроятно, развивалась въ немъ въ ущербъ другимъ, такъ какъ и дома, и въ школѣ страсть къ малеваніямъ не покидала его. Последнее обстоятельство еще тогда могло охарактеризовать до нѣкоторой степени его будущность, но изгнанный изъ училища за какую-то нескромную каррикатуру на смотрителя училища, Сафронычъ попалъ въ немилость отца и отданъ былъ въ приказчики. И тутъ онъ оставался недолго: неповоротливый и молчаливый, онъ не удовлетворялъ законамъ низшаго торгашества и былъ изгнанъ изъ лавки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и изъ дому. Тогда онъ поступилъ на службу къ иконописцу Цыбаркину, и съ четырнадцати лѣтъ началъ свою самостоятельную жизнь.

О мастерской Цыбаркина Сафронычъ сохранилъ, съ одной стороны, самое грустное, а съ другой же—самое пріятное воспоминаніе. Это было то дорогое время, когда проявился въ немъ первый пылъ юношескаго сердца,—время, безспорно, незабвенное въ жизни каждаго талантливаго человѣка.

Мастерская Цыбаркина представляла изъ себя нѣчто грандіозное и недаромъ именовалась «иконописнымъ, малярнымъ и столярнымъ заведеніемъ». Тутъ всѣ эти отрасли труда дѣйствительно находили широкое примѣненіе, не говоря уже объ иконописномъ дѣлѣ, надъ которымъ работали пользовавшіеся въ то время извѣстностью «чугуевскіе» мастера... Самъ Цыбаркинъ былъ человѣкъ съ особенностями. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ талантливыхъ русскихъ кулаковъ, которые ни въ одно дѣло не вносятъ свѣта, любви, зато умѣло и терпѣливо ведутъ всякое предпріятіе, разъ оно служитъ для нихъ предметомъ наживы.

Помимо работъ въ мастерскихъ, Цыбаркинъ имѣлъ подряды по постройкѣ церквей и занимался земледѣліемъ.

Школа, гдѣ должно было закончиться воспитаніе Сафроныча, представляла изъ себя удивительную смѣсь нравовъ и фізіономій. Тутъ встрѣчались сухопарые и карапузы, черномазые и рыжіе, молодцоватые и неуклюжіе русскіе люди, готовые работать въ будніе дни до кроваваго пота и способные перерождаться въ праздники въ буйныхъ сорвиголовъ, склонныхъ къ

пьянству и разврату. Такому складу нравовъ способствовалъ отчасти самъ хозяинъ, который частенько твердилъ свою любимую поговорку: «Въ будень работай, въ праздникъ пей—опохмѣляться не смѣй,—вышвырну!»

Сначала Сафронычъ не несъ у Цыбаркина опредѣленной роли: онъ былъ и нянькой, и горничной, и растиральщикомъ красокъ, и лишь потомъ, когда хозяинъ подмѣтилъ въ немъ способности, ему открытъ былъ доступъ къ кисти. Сафронычъ съ любовью принялся за работу, но расписываніе цвѣтовъ на экипажахъ и шкафахъ (вначалѣ это только и поручалось ему) скоро опротивѣло, и онъ съ замираніемъ сердца косился на иконописное дѣло. Однако, долго еще пришлось ему поновлять всякое старье, пока онъ удостоился званія иконописца, доплывъ, наконецъ, до этого завѣтнаго берега, казавшагося ему чѣмъ-то неземнымъ и, на самомъ дѣлѣ, стоявшаго ниже всякаго ремесла. Чугуевскіе мастера были бездарными и бездушными богомазами, неимѣвшими понятія о живописи, и до педантизма преданными своимъ ремесленнымъ традиціямъ. Они-то и исковеркали талантъ Сафроныча и если не успѣли погубить его оригинальнаго дарованія, то, во всякомъ случаѣ, навсегда зародили въ этомъ человѣкѣ поразительный разладъ между чувствомъ и дѣломъ,—остававшійся долгое время непобѣдимымъ, какъ увидимъ впоследствии.

Иконописи Сафронычъ учился довольно оригинальнымъ способомъ:

Послѣ долгихъ и разнообразныхъ упражненій, скорѣе затемнявшихъ тайны человѣческой фізіономіи, чѣмъ открывавшихъ ихъ, Сафроныча усадили за иконописное дѣло, предупредивъ, что во всемъ «нужно подражать старшимъ». Первыми уроками Сафроныча было—умѣть писать носъ «святого», потомъ ротъ, усы, бороду, уши и, наконецъ, лобъ и глаза. Всѣ эти части лица должны были имѣть отпечатокъ безупречной божественности, понимаемый подъ видомъ мертвенности, слащавости, чего-то до отвращенія приторнаго, безжизненнаго. И только потомъ изъ этихъ «идеальныхъ» частей складывалось лицо «святого», складывалось такъ же просто, какъ строятся изъ кубиковъ дѣтскіе домики: намѣчалась соответствующая лицу окружность и на нее накладывались заранѣе приготовленные уши, ротъ, носъ, глаза. Въ результатѣ такого способа творчества получалось то, что всѣ «святые» были родными братьями, такъ какъ являлись на свѣтъ Божій съ одинаковыми носами и усами. Мало того, въ подобныхъ изображеніяхъ положительно не было цѣльности, не говоря уже о той строгой идеѣ, которая должна характеризовать трудъ художника. Всѣ части лица оставались неприклеенными другъ къ другу, почему каждая изъ нихъ существовала лишь въ отдѣльности, сама по себѣ, не представляя въ общей сложности той гармоніи, какой уже по одной природѣ является человѣческій обликъ. Такъ, съ почтенной сѣдой бородой находилъ примѣненіе миниатюрный, совершенно дѣт-

скій ротикъ, со вздутыми алыми губками; рядомъ же со свѣтлымъ, мастерски исполненнымъ лбомъ, помѣщались плаксивые глаза; на скуластомъ мужественномъ лицѣ произрастали крошечные, тщательно зализанные усики, достойные скорѣе современнаго поповича, а не тѣхъ могучихъ представителей «духа», какими были Божьи угодники.

И на подобныхъ противорѣчiяхъ развивался талантъ Сафроныча, талантъ пылкій, воспріимчивый, могущій при другихъ условіяхъ достигнуть грандіознаго развитiя; юноша-иконописецъ уже тогда стоялъ выше своихъ учителей. Онъ работалъ страстно, до изнеможенiя, не заглядывая въ будущее и не отдавая себѣ отчета въ настоящемъ... Пребываніе въ мастерской Цыбаркина, было для него непрерывнымъ сномъ, исполненнымъ лучшихъ грезъ. Не подлежить сомнѣнію, что только эта страсть къ творчеству сохранила его натуру отъ нравственной порчи, навсегда оставивъ его художникомъ, въ истинномъ значеніи этого слова.

Въ двадцатипятилѣтнемъ возрастѣ съ Сафронычемъ произошла перемѣна. Онъ пріѣхалъ въ невѣдомое ему село Горошки, куда его послалъ Цыбаркинъ для поновленiя иконостаса. Молодой иконописецъ поселился у одной вдовы, женился на ея дочери и навсегда остался жить въ домѣ тещи.

Этотъ домъ вскорѣ перешелъ въ наслѣдство молодой четѣ и былъ тѣмъ самымъ оригинальнымъ строеніемъ, гдѣ мнѣ суждено было познакомиться съ иконописцемъ.

III.

Съ женитьбой Сафроныча начинается новый періодъ въ его жизни. Это время уже нельзя было назвать тѣмъ безотчетнымъ сномъ, какимъ характеризовалось пребываніе иконописца въ мастерской Цыбаркина,—напротивъ, это были дни и годы той упорной борьбы, на которую побуждаютъ человѣка лишь высшіе инстинкты его души. Эти годы самъ Сафронычъ называлъ временемъ преобразованія своего таланта, но я пока не стану говорить о нихъ, а скажу нѣсколько словъ о той особѣ, которая привлекла вниманіе молодого иконописца.

Меланья Петровна Дубинина была единственной дочерью одного изъ мелкихъ базарныхъ торговцевъ, именуемыхъ въ народѣ «краснорядцами». Отецъ ея умѣло велъ свое дѣло, былъ преданъ семьѣ, хотя почти всю жизнь свою провелъ въ странствованіяхъ изъ села въ село, посѣщая ихъ въ базарные дни. Во время одной изъ такихъ поѣздокъ Дубининъ былъ ограбленъ и лишился не только состоянія, но и жизни, оставивъ семью безъ средствъ. Меланьѣ было тогда четырнадцать лѣтъ; на нее-то мать и возложила свои надежды.

Она внушила Меланьѣ, что отъ нея зависитъ ихъ общая судьба и дѣятельно занялась пріисканіемъ выгоднаго жениха. Въ женихи, конечно, прочился торговецъ. Такимъ образомъ,

Меланья въ шестнадцать лѣтъ является настоящей невѣстой: принимаетъ гостей, подносить имъ чай, ведетъ хитрыя бесѣды... Дѣло, повидимому, шло на ладъ... Но Меланья слишкомъ уже увлеклась своей ролью—поддалась «любви» и была обманута удалымъ парнемъ, красивымъ и ловкимъ «краснорядцемъ». Тѣмъ не менѣе, охота на жениховъ не прекратилась. Нашелся новый молодецъ, а за нимъ еще одинъ, и обманутая дѣвушка въ 20 лѣтъ узнаетъ жизнь далеко не по-дѣвичьи и теряетъ надежду на хорошую партію. Въ это время явился въ село Сафронычъ.

Домъ Дубининыхъ находился недалеко отъ церкви, почему и послужилъ удобной квартирой для пріѣзжаго иконописца. Ему отвели отдѣльную комнату, большую и достаточно свѣтлую, предложили по умѣренной цѣнѣ столъ и вообще отнеслись къ нему очень внимательно. Меланья то и дѣло вертѣлась передъ гостемъ: подавала обѣдъ, чай, убирала комнату, показывая видъ, что дѣлаетъ это по обязанности, и лишь изрѣдка взглядывала на работу мастера, терпѣливо разставляя сѣти.

Въ молодости Меланья была недурна собой. Высокая грудь, широкія мощныя плечи говорили о ея цвѣтущемъ здоровьѣ, а полное смуглое лицо, съ черными блестящими глазами, надъ которыми, точно кистью художника, была отмѣчена такого же цвѣта широко-лоснящаяся бровь, обличали въ ней присутствіе сильной страсти. Даже въ голосѣ ея сказывалось что-то страстное, нетерпѣливое.

Сафронычъ, по обыкновенію, всецѣло поглощенъ былъ своей работой. Онъ долго подновлялъ старыя иконы, потомъ принялся за написаніе новыхъ. Ему даже не приходило въ мысль присматриваться къ Меланью, этому пышно-расцвѣтшему созданію, окружавшему его своимъ вниманіемъ. Кто она—дѣвушка или женщина, занято ли ея сердце или нѣтъ—для него въ то время было безразлично. Но вотъ Сафронычъ какъ-то вступилъ съ нею въ бесѣду, внимательно выслушивая ея рѣчи; улыбка Меланьи и голосъ ея проникають ему въ душу. Будто тронутое тихой отдаленной мелодіей, сердце его съ жадностью ловить волшебные звуки: они пріятны, милы, они такъ нѣжно заставляютъ трепетать душу... Но что они? гдѣ они?—опять непонятно... Онъ сильнѣе напрягаетъ слухъ, шире открываетъ глаза, все существо его устремляется въ даль; звуки кажутся яснѣе, мелодичнѣе... Дальше—больше... и чудная гармонія наполняетъ его душу... Кроткій, цѣломудренный, съ дѣтскими взглядами на жизнь, Сафронычъ, наконецъ, видитъ передъ собой новый міръ, тотъ міръ прекрасныхъ грезъ, который заставляетъ сердце биться сильнѣе, который и самое искусство дѣлаетъ животворнѣе,—и онъ, какъ подкошенный стебелекъ травы, падаетъ къ ногамъ Меланьи...

Первое время семейной жизни Сафроныча прошло, главнымъ образомъ, въ хозяйственныхъ заботахъ. Онъ передѣлалъ домъ, отдѣлилъ въ немъ залу, спальню, мастерскую, при чемъ послѣдняя была устроена съ юго-восточной сторо-

ны. Съ какой радостью, съ какимъ довольствомъ онъ уѣлся за работу!.. Гамъ и шумъ, какими сопровождалась его жизнь у Цыбаркина, теперь тѣмъ болѣе казались ему противными, невыносимыми и онъ удивлялся—какъ можно было до сей поры жить тамъ? «А здѣсь не то,—неоднократно думалъ Сафронычъ:—здѣсь тишина, удобство; здѣсь я самъ—хозяинъ... И кисть крѣпче держится въ рукѣ, и взмахи ея смѣлѣе, животворнѣе...»

— Ланечка!—обращался онъ къ женѣ.—Милая!.. Какъ я люблю живопись! А съ тобой... О, моя дорогая!..

И онъ нѣжно цѣловалъ жену въ ея жирныя, алыя губы.

Въ этихъ случаяхъ Меланья упорно молчала и, какъ-то неестественно улыбаясь, съ удивленіемъ выслушивала мужа. Сафронычъ цѣнилъ эту молчаливость, находя въ ней идеальную скромность, такъ высоко имъ цѣнимую. О, бѣдный, жалкій ребенокъ! Онъ такъ и не постигъ истиннаго значенія улыбки жены, ея молчаливости... Ему, невинному, даже не западала мысль, что «милая Ланечка» въ подобныхъ случаяхъ проводила параллель между нимъ и тѣми молодцами, съ которыми она такъ забавно поиграла въ свое время... Мало того, это сравненіе заканчивалось далеко не въ пользу Сафроныча. Всѣ дѣйствія «красноярядцевъ» казались Меланьѣ нормальными, человѣческими. Они пили, разыгрывали веселыя штуки, моргали усомъ, бровью, а когда дѣло касалось «любви», душили въ своихъ

объятіяхъ, вышибая изъ головы умъ, всякое соображеніе... О, то было незабвенное для Меланьи время! А если «краснорядцы» и посмѣялись надъ ней, то виной тому—она, несумѣвшая взять ихъ въ свои лапы... Этотъ же... этотъ «мужъ» казался Меланѣ просто чудакомъ—потѣшнымъ чудакомъ, неумѣющимъ ни обнять, ни поцѣловать какъ слѣдуетъ... Она, Меланья, даже не предполагала, чтобы могли существовать подобные мужчины... И вдругъ Богъ посылаетъ ей такого мужа!..

Такая находка казалась ей чѣмъ-то забавнымъ и она не рѣшалась пока ни радоваться, ни грустить.

Впрочемъ, первые годы своего замужества Меланья вела себя степенно. Она прервала съ «краснорядцами» всякія связи и на первыхъ-же порахъ сумѣла прибрать мужа къ рукамъ. Во всемъ руководя имъ, Меланья, зачастую, касалась его работы и хотя Сафронычъ попрежнему оставался въ ея глазахъ смѣшнымъ, она все-же уважала его, принимая въ расчетъ тѣ средства къ жизни, какія онъ добывалъ своими трудами. А онъ работалъ безъ усталы, съ энергіей, со страстью, какъ могутъ работать лишь истинные художники. Отецъ Кипріанъ (священникъ села Горошекъ), убѣдившись въ способностяхъ новаго иконописца, рекомендовалъ его окрестнымъ церквямъ, такъ что Сафронычъ не въ силахъ былъ справиться съ поступающими къ нему заказами. И не смотря на то, что трудъ его оплачивался дешево, онъ сознавалъ всю доходность своего

дѣла, мечталъ открыть у себя «Иконописное заведеніе», привлечь лучшія силы... совершить многое...

Вѣроятно, такъ и случилось бы, если бы Сафронычу суждено было остаться ремесленникомъ.

IV.

Спустя пять-шесть лѣтъ послѣ того, какъ Сафронычъ поселился въ домѣ Дубининыхъ, съ нимъ произошла странная перемѣна. До сихъ поръ онъ не только работалъ, но и наслаждался работой, и это наслажденіе было иногда настолько велико, что ему положительно не хотѣлось разставаться съ любимымъ созданіемъ своей кисти. Но потомъ увлеченіе его время отъ времени замѣтно уменьшалось и, наконецъ, почти исчезло и даже перешло въ совершенно противоположное чувство—отвращеніе. Какъ ни удивлялся Сафронычъ этой странности и какъ ни старался побѣдить ее, силы его отказывали ему въ этомъ.

И вотъ, всякій разъ съ какой-то тревогой, даже съ боязнью, брался онъ за кисть, съ величайшимъ вниманіемъ слѣдилъ за работой, отбѣнялъ малѣйшія ея штрихи и, будучи убѣжденнымъ въ достоинствѣ новаго произведенія, осторожно переносилъ его съ мольберта къ стѣнкѣ, закрывая простыней. Черезъ два-три дня Сафронычъ опять глядѣлъ на образъ и лицо его блѣднѣло, глаза горѣли огнемъ досады: предъ нимъ стояло не его произведеніе, не тотъ драгоцѣнный

холстъ, на который, какъ казалось ему, онъ вылилъ всю душу, а жалкій безжизненный обликъ, искаженный до отвращенія. Онъ снова брался за работу и снова оказывалось тоже, будто невидимая рука похищала его труды, замѣняя ихъ какими-то ужасными карриатурами. Сафронычъ приходитъ въ ужасъ, сомнѣвается въ своихъ силахъ, становится близкимъ къ отчаянію, но любовь къ творчеству, все болѣе и болѣе возрастающая въ немъ, спасаетъ его. Онъ опять работаетъ, стараясь не придавать значенія своей странности, даже мысленно поощряетъ ее, ищетъ, наконецъ, одного—причинъ.

Теперь онъ болѣе равнодушно глядитъ на свои произведенія. «Они мизерны, отвратительны!.. Но почему? почему?—шепчетъ онъ.—Что дѣлаетъ ихъ такими?—долженъ же я знать, долженъ понимать это?» Последняя мысль нѣсколько облегчаетъ его: ему кажется, что вотъ-вотъ онъ откроетъ тайну и тогда устранить всѣ недостатки, тогда и начнется то истинное довольство своимъ трудомъ, къ которому такъ чутка его душа. Но надежда его не оправдывается: онъ стоитъ предъ «образомъ», какъ безумный, поворачиваетъ его во всѣ стороны,—стоитъ часъ, другой, и что-же?—чувствуетъ къ нему отвращеніе, но не понимаетъ его.... Это превышаетъ его силы: онъ дрожить, какъ въ лихорадкѣ, бросается въ кухню, тащить жену.

— Ланечка, дорогая, гляди!.. Одно безобразіе!.. Но гдѣ оно?.. не вижу... Тутъ-ли? тутъ-ли? тутъ?..

И онъ съ эжесточеніемъ тычетъ пальцемъ въ икону,—тычетъ въ ротъ, въ носъ, въ глаза «святого»...

Меланья глядитъ въ ужасѣ, но глядитъ не на образъ, а испытующимъ окомъ пронизываетъ мужа...

— Сафронычъ! А, Сафронычъ! Обезумѣль, что-ли? Опомнись!..—Да что тычешь пальцемъ? Что грубишь святому образу?

И она въ досадѣ плюетъ ему подъ ноги и убѣгаетъ въ кухню.

Сафронычъ остается одинъ. Поступокъ Меланьи нѣсколько отрезвляетъ его, но душевная боль—все та-же. Онъ томится въ ожиданіи вечера, а затѣмъ идетъ къ священнику, сознается во всемъ, проситъ совѣта.

Священникъ идетъ въ мастерскую иконописца.

— Ну-ка, посмотримъ!... Покажь послѣднюю работу...

— Вотъ она... вотъ!—указываетъ Сафронычъ, не рѣшаясь приподнять простыню, которой былъ занавѣшенъ большой образъ Николая Чудотворца.

— Ну покажи-же!.. Смѣяѣ!

Сафронычъ прикоснулся къ простынѣ, но рука его дрогнула... Онъ отступилъ отъ образа.

Батюшка глядитъ въ испугѣ... Невольный страхъ насквозь пронизываетъ его душу. Онъ протягиваетъ къ простынѣ руку, но... о ужасъ! и онъ не можетъ открыть образа...

— Что же это? что-о? Да тутъ что-то неладно!..—шепчетъ поблѣднѣвшій священникъ.—Ну-ка... ну-ну!.. Открывай-же!

Но Сафронычъ стоялъ, какъ окаменѣлый; искаженное отъ волненія лицо его выражало одно безуміе.

— Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его!...—дрожащимъ голосомъ произносить священникъ, осѣняя образъ крестнымъ знаменіемъ и касаясь рукой покрывала. О. Кипріану казалось, что онъ слегка приподнимаетъ прѣстолъ, на самомъ же дѣлѣ онъ до того сильно вздернулъ ее, что стоявшій у стѣнки образъ свалился ему на голову. Батюшка въ испугѣ замахалъ руками, мужественно оттолкнулъ образъ, но такъ какъ мастерская Сафроныча была не шире сажени, то образъ, ударившись о стѣнку, опять навалился на батюшку. Тутъ о. Кипріанъ потерялъ отъ испуга всякое соображеніе, издалъ пронзительный крикъ и опрометью бросился въ дверь...

Богъ вѣсть, чѣмъ бы это окончилось, если бы въ это время въ залѣ не показалась хозяйка. Меланья преспокойно шла въ мастерскую со свѣчей въ рукѣ, желая узнать, почему такъ поздно извоиливъ пожаловать батюшка...

— О. Кипріанъ! Что случилось?—въ испугѣ спросила она, глядя на священника, на которомъ не было лица.

— Господи помилуй!.. Ахъ... ахъ... Меланья! Это ты?.. ты?—бормоталъ священникъ, тяжело переводя дыханіе и схвативъ ее за руку, выше локтя.

— Батюшка! Да что-же?.. Что съ вами?.. Сафронычъ! Гдѣ ты? Что сдѣлалъ съ батюшкой, окаянный?!

Какъ-бы повинуюсь этому крику, изъ мастерской высунулась фигура Сафроныча. Онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго и на лицѣ его выражался не то испугъ, не то изумленіе. Вообще Сафронычъ былъ не изъ трусливыхъ и теперь онъ скорѣе потерялся, чѣмъ струсиль... Впрочемъ, нѣкоторый страхъ, вѣроятно, затронулъ и его душу, но страхъ этотъ былъ не субъективнымъ, а, такъ сказать, переходнымъ—какъ слѣдствіе ужаса, овладѣвшаго батюшкой и оставшагося для иконописца загадкой... Сафронычъ помнилъ—съ какимъ трепетомъ онъ подводилъ священника къ образу, какъ замирало въ немъ сердце въ ожиданіи суда надъ нимъ и какъ его давило предчувствіе, что батюшка не пойметъ работы и признаетъ ее хорошей. «О, что тогда будетъ со мной!»—думалъ онъ. Помимо этого, Сафронычъ ничего не чувствовалъ, не видѣлъ и не слышалъ: преждевременный испугъ зрителя, слова «Да воскреснетъ Богъ», совершенное надъ образомъ крестное знаменіе и, наконецъ, причина его паденія—все это оставалось внѣ сознанія Сафроныча. Когда же упала со стола свѣча, что-то мягкое, на подобіе края легкой одежды, ударило по его лицу, поднялся шумъ, трескъ—и Сафронычъ какъ-бы очнулся. Но тутъ кто-то сшибъ его съ ногъ и вслѣдъ затѣмъ послышался голосъ Меланьи.

— Ты побилъ батюшку? Ты?—допрашивала она.

— Ланечка! Я? Кто? Что ты!

— Охъ... охъ... это грѣхи наши!—крестясь произнесъ священникъ.—Оставъ, Меланья!.. Оставъ!..

Отецъ Кипріанъ, повидимому, приходитъ въ себя.

Наступила нѣмая сцена... Сафронычъ терялся въ догадкахъ, Меланья съ открытымъ ртомъ глядѣла на мужа и на священника, а послѣдній шепталъ что-то, не переставая осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ...

V.

На слѣдующій день утромъ Меланья была приглашена въ домъ священника. Ее проводили на парадный ходъ, въ кабинетъ батюшки.

О. Кипріанъ сидѣлъ въ креслѣ. Случившееся наканунѣ сильно повліяло на него: онъ былъ угрюмъ и блѣденъ, во взглядѣ же и голосѣ его сказывалась твердость.

— Слушай, Меланья... Все, что произошло вчера, должно остаться тайной... Даже матушка не должна знать о случившемся...

— Да что-же случилось? Что? Господи!

— Я говорю—тайна... Ну и молчи!—сурово произнесъ священникъ.—А если-бы спросила матушка, скажи, что со мной сдѣлалось дурно... Понимаешь?

Меланья утвердительно кивнула головой въ то время, когда по открытому рту и выпученнымъ глазамъ ея видно было, что она все-таки ничего понять не можетъ.

— Теперь-же отправляйся домой, Меланья,—продолжалъ батюшка нахмутивъ брови.—возьми

замокъ и запири мастерскую... Чтобы туда никто ни ногой... Слышишь? Никто—ни ты, ни Сафронычъ...

— Охъ, да что-же это? Что?—съ испугомъ воскликнула она.

— А то, что ты ничего понять не хочешь,—сердито пояснилъ о. Киприанъ.—Завтра я приду и отслужу молебенъ. Такъ и скажи Сафронычу.—Да, вотъ еще что не упусти изъ виду,—поспѣшно прибавилъ онъ:—изъ мастерской не выносить ничего, ни одной вещицы; краски, соръ, все, все должно остаться на мѣстѣ...

Меланья покорно удалилась, но на душѣ у нея стояла буря. Неопредѣленность случившагося до такой степени возбуждала въ ней любопытство, что это послѣднее, какъ червь, сосало ея душу. Кромѣ того, торжественность обстановки—прежде всего «тайна», а потомъ «молебенъ»—тѣмъ болѣе сокрушали ее. «Значить, что-то случилось... случилось что-то важное»,—думала она. И Меланья рѣшила, что виновникомъ всей этой бури былъ никто иной, какъ тотъ же Сафронычъ, и что онъ, мерзавецъ, все знаетъ, но не хочетъ сознаться своей законной женой, которая по глупости рѣшилась быть супругой такого дурня...

— Говори!.. говор-ри!.. не притворяйся непомнящимъ!—въ дикой злобѣ завопила она, вихремъ врываясь въ домъ.

— Что? Что-о, Ланечка?!

— Молчи! Ты... ты... безпутный теленокъ!.. Ты еще смѣешь спрашивать—«что-о-о?»!

— Ахъ, это ужасно! Но что-же?... Что?... —
опять вырвалось у него...

— Не знаешь?... Вотъ что!.. Вотъ!..

И Меланья выбѣжала изъ комнаты, а черезъ минуту опять явилась, держа въ рукѣ большой заржавленный замокъ.

— Видишь? Вотъ что!..—въ бѣшенствѣ прокричала она, тыча замокъ въ носъ мужу:—вотъ что! во-отъ!..

Тутъ приливъ гнѣва лишилъ ее возможности къ дальнѣйшему объясненію и она, бросившись къ двери, заперла ее.

— Теперь про-падешь съ го-олоду!—задыхаясь отъ злости, прокричала она и, будучи вполне удовлетворенной, скрылась въ кухню.

Сафронычъ остался одинъ...

Какъ автоматъ, стоялъ онъ среди комнаты, ничего не видя, не слыша, не чувствуя. Для него вчерашняя исторія, болѣе чѣмъ для Меланьи, оставалась тайной. Меланья, по крайней мѣрѣ, была убѣждена въ причинѣ случившагося: она твердо вѣрила, что во всемъ виновенъ ея мужъ, а онъ ничего не зналъ, ровно ничего не вѣдалъ. Что испугало священника—у горемычнаго Сафроныча даже не нашлось средствъ къ предположенію, а батюшка на всѣ вопросы оставался глухъ и нѣмъ и только упорно крестился. Помимо этого, тотъ же батюшка, такъ любившій Сафроныча, сталъ сторониться его и даже какъ-бы вздрагивалъ при одномъ звукѣ его голоса, въ чемъ воочію убѣдился Сафронычъ наканунѣ,—тѣмъ болѣе, что о. Кипріанъ, придя въ себя и

отправляясь домой, взялъ за провожатого не его, а Меланью.

Всю ночь бѣдный иконописецъ провелъ, какъ въ лихорадкѣ. Съ вечера неотвязно осаждала его жена своими распросами, а потомъ какая-то непосильная тяжесть камнемъ навалилась ему на душу. Онъ уснулъ только къ утру, но проспавши часа два, услыхалъ голосъ жены: «вставай, меня зовутъ къ священнику». Послѣднее слово дѣйствуетъ на него магически: онъ наскоро одѣвается, идетъ на кухню, но жены уже нѣтъ. «Какъ, ее позвали?—была первая его мысль:—зачѣмъ?» Но тутъ вчерашняя исторія во всей свѣжести воскресаетъ въ его памяти. Сафронычъ опять недоумѣваетъ, спѣшить въ мастерскую, глядѣть то на одинъ, то на другой предметъ, наконецъ, на образъ Николая Чудотворца. Образъ попрежнему кажется отвратительнымъ, но бѣда не въ томъ—на образѣ царапина, точно слѣдъ отъ гвоздя или отъ когтя хищнаго звѣря... «Откуда? Неужели это въ испугѣ сдѣлалъ батюшка? Что поразило его?»—вотъ какіе вопросы овладѣли теперь умомъ Сафроныча. Наконецъ, приходитъ Меланья; онъ встрѣчаетъ ее въ залѣ, сгорая отъ нетерпѣнія. И вдругъ—опять такая же путаница, какъ и вчера: гнѣвъ, брань, ужасъ жены; словомъ, опять одни послѣдствія, а причины скрыты...

Когда Сафронычъ нѣсколько успокоился, первымъ его чувствомъ было—не потребность въ молитвѣ, не голодъ и не жажда, а желаніе работать... Какъ бы не вѣря своей памяти, онъ

подошелъ къ двери мастерской и пощупалъ замокъ. «Да, дверь дѣйствительно заперта... Но что-же это? насмѣшка, что ли?»—съ досадой прошепталъ онъ, направляясь къ женѣ. Меланья сидѣла за столомъ и плакала; слезы катились у нея скорѣе со злости, нежели съ горя. Тутъ опять произошла непріятная сцена, но на этотъ разъ Сафронычъ съ одной стороны получаетъ удовлетвореніе: жена передаетъ ему о своемъ разговорѣ съ батюшкой.

— Какъ? Это онъ?.. Ты шутишь, Ланечка... Кому какое дѣло... какое право... Это... это... Нѣтъ, это невозможно!..

Жена убѣждаетъ его; онъ не вѣритъ, беретъ шляпу, идетъ къ священнику, чтобы объяснить-ся резонно, переговорить обо всемъ, но ему отвѣчаютъ черезъ прислугу, что его принять не могутъ.

— Какъ? Почему?—въ испугѣ шепчетъ онъ,— Скажи, что дѣло... важное... безотлагательное...

И не смотря на это, его все-таки не принимаютъ.

Сафронычъ приходитъ въ отчаяніе, глядитъ въ окно, ищетъ глазами батюшку, открываетъ ротъ, чтобы сказать что-то вѣское, убѣдительное...

— Что ты? Что-о?.. Ты совсѣмъ обезумѣлъ?..—предупреждаетъ его повелительный голосъ священника.

— Отецъ Кипріанъ!.. Отецъ!..

— Сафронычъ!—ни слова!.. Иди и подчинись «сказанному»!—сурово заключаетъ о. Кипріанъ, удаляясь изъ кабинета.

Весь этотъ день прошелъ для Сафроныча въ ужасной пытѣ... Еще никогда жизнь не была для него такой тяжелой дѣйствительностью, никогда она не приносила ему столько жгучихъ, безысходныхъ мученій. Онъ, прожившій тридцать два года, не зналъ иной жизни, кромѣ своей, личной, доставлявшей ему одно наслажденіе. Даже женитьба не нарушала до сихъ поръ этой строгой гармоніи. И хотя Сафронычъ любилъ Меланью, эту жгучую полногрудую женщину, съ пасмурнымъ блескомъ ея очей, широкой сладострастной улыбкой, но все же онъ старался избѣгать, по возможности, всего будничнаго, упиваясь до болѣзненности своей работой.

Впрочемъ, въ послѣднее время Сафронычъ не могъ не замѣтить разлада въ своей жизни. Разладъ этотъ былъ, такъ сказать, общимъ, ибо проявлялся не въ одномъ лишь творчествѣ, но и въ семейной жизни. Меланья все болѣе и болѣе охлаждѣвала къ мужу, дѣлалась раздражительной, капризной и даже видимо мстила ему. Такъ, когда онъ тихой, робкой походкой изрѣдка появлялся въ комнатѣ жены, Меланья глухо и грубо шептала: «Опять явился... иди себѣ: я нездорова...» — Ланечка! только «спокойной ночи»... одинъ поцѣлуй... — «Иди, иди, не мѣшай спать!» — болѣе внушительнымъ тономъ возражала жена. И онъ уходилъ.

Зная нравъ своей Ланечки, Сафронычъ имѣлъ основаніе предположить, что подобное неудовольствіе жены есть ничто иное, какъ слѣдствіе неоправданныхъ имъ надеждъ. Въ на-

чалъ онъ получалъ за свою работу сравнительно хорошія деньги и Меланья, любившая поѣсть и одѣться, думала зажить на славу... Но ей пришлось разочароваться: въ работѣ иконописца послѣдовалъ кризисъ. Недовольство своими произведеніями, постоянная хандра затормазили доходное дѣло: работа подвигалась медленно, за каждой новой иконою слѣдовали перерывы,—самъ иконописецъ видимо избѣгалъ заказовъ. Все это въ его глазахъ не могло остаться безысходнымъ, и какъ ни тяжело переживались имъ эти минуты, но онъ тутъ же стушевывались надеждами на будущее,—той вѣрой въ собственные силы, которая сулила Сафронычу и новое, еще большее наслажденіе, и матеріальныя выгоды, и ласки капризной жены...

Того же дня, подъ вечеръ, зашелъ въ Сафронычу священникъ. За нѣсколько минутъ до этого Меланья, уступая просьбамъ мужа, а можетъ быть, подстрекаемая собственнымъ любопытствомъ, открыла запрещенный входъ въ мастерскую. Она и сама вошла туда, какъ-бы въ качествѣ надзирателя. Этотъ контроль, повидимому, тяготилъ Сафроныча и онъ, взявъ палитру и кисть, засуетился по комнатѣ. Когда же показалась во дворѣ фигура священника, Меланья, чувствуя свою вину, схватила мужа за руку и проводила изъ мастерской, но едва она успѣла запереть дверь, какъ въ комнату вошелъ священникъ. Оторопѣлый Сафронычъ, какъ робкій школьникъ, стоялъ среди комнаты: въ опущенныхъ рукахъ его еле держались палитра и кисть, а

умоляющій взглядъ безъ словъ говорилъ: «О, да объясните же, наконецъ, что вы со мной дѣлаете!»

— Очень жаль, что вы не сочли нужнымъ исполнить мое приказаніе,—сказалъ о. Кипріанъ при входѣ въ комнату; въ выраженіи лица его, такъ же, какъ и въ голосѣ, проглядывало явное неудовольствіе.

— Ахъ, батюшка!..

— Меланья!—прервалъ священникъ рѣчь хозяйки:—я смотрѣлъ на тебя, какъ на благодатную женщину, а ты...

И не окончивъ этой фразы, о. Кипріанъ присѣлъ на стулъ, положивъ на колѣни принесенный имъ довольно объемистый узелокъ.

Послѣдовало изворотливое объясненіе Меланьи, но священникъ не слушалъ ее, внимательно наблюдая за Сафронычемъ. Во взглядѣ пастыря замѣчалось не то участіе, не то какая-то боязливая напряженность.

— Меланья, выйди на минутку изъ комнаты: намъ нужно остаться наединѣ...—сухимъ тономъ проговорилъ о. Кипріанъ и этимъ самымъ какъ бы давая знать, что онъ далеко не намѣренъ простить виновницѣ ея прегрѣшенія.

Меланья повиновалась.

О. Кипріанъ всталъ со стула, положилъ узелокъ и, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, твердо и громко произнесъ: «Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!» Затѣмъ, приказавъ Сафронычу отнести въ мастерскую палитру и кисть, онъ не безъ волненія началъ:

— Слушай, Сафронычъ! Съ тѣхъ поръ, какъ ты поселился въ Горошкахъ, прошло не мало времени и, кажется, ты могъ узнать меня... Я полюбилъ тебя за твою кротость и по первой твоей работѣ опредѣлилъ, что ты человѣкъ не безъ дарованія... Тѣ заказы, которые и я, и прочіе давали тебѣ и которые ты выполнялъ такъ добросовѣстно, безусловно оправдали мое довѣріе, и я радовался за тебя отъ души. Теперь же скажи откровенно—съ какого времени произошла съ тобой перемѣна... та ужасная перемѣна, которая только вчера открыла мнѣ глаза...

— Я... отецъ Кипріанъ!.. Я... радъ... постараюсь...

Рѣчь Сафроныча, обличавшая въ немъ какое-то непонятное замѣшательство, какъ нельзя лучше, выдавала теперь его душевное состояніе. Онъ не могъ понять словъ священника и съ замираніемъ сердца ожидалъ надъ собой окончательнаго приговора.

— Будь откровененъ, Сафронычъ, и отвѣчай спокойно на мои вопросы... Лишь въ такомъ случаѣ я могу помочь тебѣ...

Несчастный иконописецъ шире открылъ глаза и ротъ, но рѣчи не было.

— Ну-ну... Не скрывай-же!.. Говори правду!.. Давно-ли ты замѣтилъ въ себѣ вражду къ тѣмъ священнымъ изображеніямъ, которыя раньше писались тобою съ такою рѣдкой любовью?..

— Нѣтъ... недавно... Но это такъ... это пройдетъ... Я убѣжденъ... Постараюсь...

Священникъ замолчалъ; по взгляду его можно было понять, насколько онъ былъ огорченъ нечистосердечностью Сафроныча.

— Быть хорошимъ иконописцемъ—дѣло нелегкое... Прими во вниманіе, Сафронычъ, что тутъ недостаточно однихъ способностей; тутъ неразлучно должны сопутствовать и чистота душевная, и глубина религіознаго чувства!.. Тебѣ, какъ христіанину, извѣстно, что мы, вѣруя въ Бога, ежеминутно пребываемъ въ борьбѣ съ діаволомъ... Этотъ врагъ рода человѣческаго настолько силенъ, что далеко не всякому приходится побѣждать его... Да, не всякому...

И о. Кипріанъ испытующимъ окомъ взглянулъ на Сафроныча.

— Вотъ почему я и велѣлъ закрыть твою мастерскую,—продолжалъ священникъ.—Но не подумай, Сафронычъ, что это сдѣлано надолго,—нѣтъ, это важно лишь въ ожиданіи молебна, чтобы ты могъ работать съ Божьей помощью...

Священникъ опять замолчалъ.

Но оригинальной выглядѣла въ это время фигура Сафроныча. Вытянувшись во весь ростъ и наклонясь въ сторону своего собесѣдника, онъ съ величайшимъ вниманіемъ слѣдилъ за его рѣчью... Расширенные зрачки глазъ, поднятыя брови, наконецъ, полуоткрытый ротъ—всѣ эти части лица до того были въ напряженномъ состояніи, что, какъ бы наперекоръ одна другой, цѣликомъ глотали каждое слово священника. Въ глазахъ иконописца упорно сказывалось одно недоумѣніе, потомъ легкій испугъ проскользнулъ

въ нихъ и, наконецъ, острая неожиданная радость заискрилась въ черныхъ зрачкахъ. Вмѣстѣ съ этимъ—брови, глаза, ротъ приняли нормальное положеніе и легкая чисто-дѣтская улыбка задрожала на поблѣднѣвшихъ губахъ. «О, только теперь я понялъ все!—хотѣлъ было воскликнуть онъ.—Но зачѣмъ-же такъ безчеловѣчно мучили меня?»

— Благодарю, батюшка!.. Я радъ... Я вижу...—съ дѣтскимъ восторгомъ пролепеталъ онъ.— Я готовъ молиться, готовъ просить... Но не могу... не могу разстаться со своимъ трудомъ!..

— Да, ты долженъ просить и молиться,—проговорилъ священникъ, глядя на Сафроныча и въ свою очередь не мало обрадовавшись;—и вотъ, пока душа твоя возбуждена искрой милосердія Божьяго, я сейчасъ же приступлю къ молитвѣ... Скажи Меланѣ, пусть войдетъ и приготовится къ молебну...

Сафронычъ, какъ ребенокъ, поспѣшилъ изъ комнаты; въ походкѣ, въ движеніяхъ, во всемъ его существѣ проглядывала теперь неподдѣльная радость.

Не менѣе былъ доволенъ и о. Кипріанъ. По уходѣ Сафроныча, онъ самодовольно провелъ рукой у себя по головѣ и, весело зѣвнувъ, подошелъ къ узелку, гдѣ были связаны церковныя принадлежности, необходимыя для служенія молебна.

Заранѣ торжествуя побѣду надъ діаволомъ, батюшка твердой и вѣрной рукой разложилъ священные предметы и, въ ожиданіи хозяевъ, зашагалъ по комнатѣ.

VI.

О. Кипріанъ Пивоваровъ былъ веселаго нрава и принадлежалъ къ типу тѣхъ священниковъ, которые, съ одной стороны, почти отходятъ у насъ въ область преданія. Глубоко-религіозный, съ добрымъ, чуткимъ сердцемъ, поэтической душой, онъ, къ сожалѣнію, лишенъ былъ характера. Зато добротѣ и простотѣ о. Кипріана, казалось, не было границъ, и эти качества дѣлали его примѣрнымъ пастыремъ. Онъ любилъ своихъ прихожанъ, былъ отзывчивъ къ бѣднымъ, надѣляя ихъ деньгами, съѣстными продуктами, хозяйственнымъ инвентаремъ... Подобныя пожертвованія какъ бы имѣли форму займовъ, но на самомъ же дѣлѣ оставались обыкновенной подачей, ибо должники въ большинствѣ случаевъ мало заботились объ интересахъ добродушнаго батюшки. Въ священники о. Кипріанъ пошелъ по призванію и, какъ служитель церкви, не заставлялъ желать лучшаго. Онъ аккуратно относился къ службѣ, съ благоговѣніемъ держалъ себя въ храмѣ, нерѣдко читалъ проповѣди собственнаго сочиненія, не лишенная нѣкотораго краснорѣчія, но, къ сожалѣнію, почти всегда носившія отпечатокъ чего-то слишкомъ устарѣвшаго, ветхозавѣтнаго.

Въ домашней жизни о. Кипріанъ, какъ и большинство людей, былъ человекомъ не безъ слабостей: живая, чисто-русская натура иногда

сказывалась въ немъ во всю ширь и глубь. Всегда веселый и благодушествующій, онъ любилъ принять гостей, любилъ иногда выпить, хотя, конечно, «по маленькой»... Одно было странно въ этомъ человѣкѣ: будучи способнымъ молиться до умиленія, онъ оказывался совсѣмъ безсильнымъ въ борьбѣ со своими страстями и эта двойственность натуры выработала въ немъ оригинальный взглядъ на вещи. Когда, вслѣдъ за молитвой, онъ впадалъ въ искушеніе, въ немъ все болѣе и болѣе крѣпла мысль, что подобная несуразность натуры есть ничто иное, какъ происки діавола. И вотъ, съ этимъ діаволомъ происходитъ у батюшки потѣшная борьба: въ молитвѣ побѣждается сатана, въ страстяхъ—батюшка, и въ заключеніе не получается полного эффекта... Но во всякомъ случаѣ отецъ Кипріанъ былъ прекрасный человѣкъ и было бы несправедливымъ предпочесть ему тѣхъ молодыхъ чопорныхъ священниковъ, которые гордятся своей нравственностью, разумѣя ее въ формѣ супружеской вѣрности и которые теперь являются у насъ на смѣну стараго поколѣнія.

Вскорѣ вошли въ комнату хозяева и о. Кипріанъ приступилъ къ молебну.

— Я не пригласилъ причетника,—предварительно пояснилъ онъ,—что сдѣлано мною не безъ цѣли: мы будемъ молиться въ тайнѣ и Господь Богъ воздастъ намъ явно... Молись-же, Сафронычъ, молись всѣмъ сердцемъ своимъ, чтобы вновь не впасть во искушеніе!

И Сафронычъ молился.

Но странна была его молитва... Устремивъ глаза на образъ, онъ какъ будто силился выкрикнуть что-то, пасть ницъ, зарыдать... Дрожащая рука его изрѣдка совершала крестное знаменіе, тонкія губы то сжимались въ плотную энергическую складку, то судорожно дрожали, то наконецъ, дѣлали ротъ полуоткрытымъ, какъ бы выражая при этомъ его отчаяніе. И это былъ не религіозный экстазъ человѣка, не сознаніе своей грѣховности предъ Богомъ, а то удивительно своеобразное состояніе души, которое, будучи своего рода молитвой, въ тоже время такъ далеко стояло отъ молитвы къ Богу...

Да и могъ-ли молиться Сафронычъ, этотъ глубоко-оригинальный человѣкъ! Оставленный съ малолѣтства на произволъ судьбы, онъ еще тогда чувствуетъ страсть къ творчеству. Эта страсть захватываетъ все его существо, не допуская войти въ него чему-либо иному, будничному. Съ тѣхъ поръ, какъ почувствовалъ Сафронычъ свое призваніе, для него навсегда закрылся міръ Божій: предъ нимъ не осталось иного идеала, иного божества, помимо того чистаго, возвышеннаго труда, который онъ видѣлъ въ своемъ творествѣ, приносившемъ ему истинный рай неизъяснимаго блаженства,—гревившемся во снѣ и отвѣчавшемъ на каждое его дыханіе, на каждое бѣненіе сердца! Даже религія не могла нарушить этой строгой гармоніи, и если Сафронычъ имѣлъ въ дѣтствѣ смутное понятіе о Богѣ, то потомъ это понятіе заглохло, исчезло, улетучилось, помимо его желанія и воли. Изо-

бравшая такъ часто Спасителя и великихъ представителей Его ученія, онъ не могъ испытать на себѣ ихъ божественнаго вліянія,—онъ, чистый душой и тѣломъ, не имѣлъ съ ними никакого общенія и, будучи всегда готовымъ лить предъ ихъ образомъ слезы умиленія, онъ чтилъ въ немъ не духовный оригиналъ, а созданіе своей кисти, тотъ идолъ искусства, который такъ обаятельно дѣйствовалъ на его душу...

Да, Сафронычъ не могъ молиться.

И теперь, когда священникъ понуждалъ его къ этому, онъ, повидимому, молился страстно, всею душой, но опять-таки не предъ Богомъ, а предъ своимъ идоломъ... Въ ту минуту, когда слуха его коснулись слова—«Молись, Сафронычъ, чтобы вновь не впать во искушеніе...»—онъ почувствовалъ въ этихъ словахъ что-то роковое для себя, потрясающее. Возможность предстоящаго «искушенія» взволновала его и онъ готовъ былъ кричать, плакать, чтобы подавить эту душевную тяготу, покончить съ этой ужасной пыткой, понимаемой имъ не въ смыслѣ искушенія отъ діавола, а какъ что-то непосредственное, субъективное, какъ опасный разладъ между нимъ и его идоломъ...

Подъ конецъ молебна о. Кипріанъ перешелъ въ мастерскую и съ величайшимъ вниманіемъ окропилъ святой водой всѣ находившіеся тамъ предметы. Краски, палитра, кисти—все, все, во что могъ проникнуть зоркій глазъ батюшки, не избѣжало этой возвышенной участи. Особенное же вниманіе въ этомъ отношеніи выпало на долю

образа Николая Чудотворца: священникъ трижды осѣнилъ его крестнымъ знаменіемъ и въ такой же мѣрѣ окропилъ святой водой...

— Сафронычъ!.. А это что? Ца-арапина?— въ недоумѣніи спросилъ онъ, не успѣвъ закончить надъ иконой религіозной церемоніи и указывая взоромъ на ту самую, знакомую намъ царапину, которую въ испугѣ сдѣлалъ самъ о. Кипріанъ.

— Это?.. Не знаю... это вчера... До вашего прихода этого не было.

— Неужели?— съ чувствомъ затаеннаго страха произнесъ о. Кипріанъ.— Это... что-о-же? Что-о?

Сафронычъ въ недоумѣніи повелъ плечомъ.

— Мнѣ кажется, что царапина сдѣлана ногтемъ... въ суматохѣ,— робко прибавилъ онъ, боясь обидѣть батюшку.

— Что-о? Говоришь—въ суматохѣ? Какой? Тутъ работалъ не «ноготь», а «ко-оготь»!.. Понимаешь?!

И о. Кипріанъ, расширивъ обращенные на образъ глаза, трижды перекрестился.

Смотрѣлъ на образъ и Сафронычъ, хотя нѣсколько иначе. Боязливо прищутивъ глаза, онъ не только не усиливался понять истинную причину, вызвавшую въ священникѣ чувство страха, напротивъ, по мѣрѣ закрытія глазъ, иконописецъ старался оградить себя отъ подавляющаго впечатлѣнія: образъ Святителя еще болѣе отталкивалъ его, а глубокая царапина, проведенная наискось, по длинѣ всего лица, черезъ правый глазъ и носъ, придавала изображенію отпечатокъ чего-то ужаснаго, искалѣченнаго.

И онъ, закрывъ глаза, поспѣшилъ выйти изъ мастерской, а вдогонку за нимъ выбѣжалъ и о. Кипріанъ, опять подавляемый страхомъ.

— Что, все тѣмъ же кажется тебѣ этотъ образъ?.. Опять у тебя нѣтъ чувства благоговѣнія, Сафронычъ?..—проговорилъ священникъ, стараясь быть спокойнымъ.—А работа исполнена мастерски.. И знай, разъ ты не побѣдишь въ себѣ того ужаснаго чувства... сатанинской ненависти... ты... ты не можешь оставаться иконописцемъ...

Сафронычъ упорно молчалъ; лицо его блѣднѣло, губы передергивались.

— Сейчасъ же закрой образъ и не подходи къ нему, по крайней мѣрѣ, съ мѣсяцъ,—продолжалъ священникъ.—Вообще тебѣ слѣдовало бы совсѣмъ оставить работу... Это такъ важно для твоего укрѣпленія...

— Зачѣмъ?—въ испугѣ спросилъ Сафронычъ.

— Ну хотя на недѣльку, на двѣ... Для твоей же пользы...

— О, я знаю... Но это... послѣдній разъ...

Священникъ съ недоувѣріемъ взглянулъ на иконописца.

— Нѣтъ, ты не образумишься!—твердо рѣшилъ онъ:—оставь, не говори,—имѣть дѣло со «святыми» тебѣ нельзя!.. А если ты такъ упорствуешь, я разрѣшу тебѣ иную работу: пиши Іуду Предателя.

Тутъ о. Кипріанъ провелъ рукой у себя по головѣ, что доказывало—насколько онъ былъ радъ своей находкѣ.

— Да, Сафронычъ, это будетъ кстати,—какъ

красное яичко къ Свѣтлому Христову Воскресенію!... Постарайся изобразить, какъ слѣдуетъ сатанинское племя! Понялъ?

Сафронычъ улыбался,—и одна эта улыбка уже достаточно говорила о томъ, что мысль о. Кипріана вызвала въ иконописцѣ отрадное чувство: что-то новое, еще неиспытанное, блеснуло въ его сознаніи, въ видѣ какой-то непонятной, но лучезарной надежды. Такой неожиданный оборотъ дѣйствій освѣжилъ душу страдальца, какъ-бы явившись на смѣну острой, нестерпимой боли, накопившейся въ его сердцѣ.

— Но какъ? Зачѣмъ? Для какой надобности?—пролепеталъ онъ, довѣрчиво глядя на священника и продолжая улыбаться.

— Дѣло понятное—какъ и для чего!.. Не будемъ же мы молиться этому идолу!.. Значить, пиши и только!

— Но все-таки—какая цѣль, направленіе?

— Стыдись, Сафронычъ! Ты точно ребенокъ! Въдѣ всякой деревенской бабѣ извѣстно, какое направленіе заключалось въ Іудѣ... Самый отъявленный сатана—сатана во плоти, во всемъ... Дьявольскіе глаза, чертовскій носъ, звѣринная пасть...—вотъ программа твоей работы.

При этомъ священникъ серьезно улыбнулся. Сафронычъ молчалъ.

— Самъ старайся понять, насколько это важно,—продолжалъ о. Кипріанъ:—и чѣмъ лучше ты выполнишь эту работу, тѣмъ покойнѣе будетъ твоя душа... Впрочемъ, увидишь самъ.

Съ этими словами священникъ простился съ

хозяевами и вышелъ изъ комнаты; Сафронычъ и Меланья проводили его.

— Значить, ты «съ чортикомъ», Сафронычъ? Ха-ха-ха!—весело пролепетала Меланья, охотно принимая мужа въ тотъ же вечеръ въ своей комнатѣ.—Уморительно! Пожалуй, еще удушишь!.. Ха-ха-ха!..

— Ахъ, Ланечка, не ожидалъ я такой исторіи!.. Но, слава Богу, прошло. И какъ мнѣ хорошо теперь, какъ пріятно!..

— И ты будешь писать Іуду?

— Непремѣнно... Меня занимаетъ эта работа.

Долго велась между супругами веселая беседа, между тѣмъ пылкое воображеніе иконописца уже работало надъ новымъ образомъ. Предъ нимъ неотразимо стоялъ Іуда, какъ воплощеніе дьявола, сверкая своими коварными глазами и Сафронычъ, какъ истый храбрецъ, ласкалъ этотъ ужасный образъ, терпѣливо снося болтовню жены, мѣшавшей его фантастической работѣ. Находясь въ самомъ прекрасномъ настроеніи духа, Меланья безпрестанно хохотала: открытіе батюшки казалось ей въ высшей степени забавнымъ. «Чортъ и Сафронычъ... Сафронычъ и чортъ... Какъ, неужели тутъ есть что-либо общее?»—думала она, всякій разъ заливаясь звонкимъ смѣхомъ. Но главная причина такого настроенія Меланьи таилась въ томъ, что умъ этой дебелой женщины не лишенъ былъ нѣкоторой оригинальности. Въ Бога она, конечно, вѣровала, но существованія чертей не признавала. По ея убѣжденію, чертей просто выдумали для

того, чтобы пугать безпутныхъ людей. Она не могла иначе представить себѣ все это, тѣмъ болѣе, что ей не разъ приходилось слышать отъ «краснорядцевъ» о томъ, что черти не пристають къ порядочному человѣку...

— Сафронычъ! А, Сафронычъ!

— Что?

— Да какой изъ тебя чортъ?—Ты просто теленокъ!.. Ха-ха-ха!..

И Меланья такъ крѣпко сжала въ своихъ объятіяхъ тощую фигуру мужа, что тотъ дѣйствительно почувствовалъ себя беззащитнымъ теленкомъ.

VII.

Рано утромъ Сафронычъ уже бодрствовалъ. Душевное спокойствіе и довольство окружающей обстановкой до того располагали его къ жизни, что онъ, какъ беззаботный ребенокъ, не имѣлъ границъ своему счастью... Миновавшее событіе теперь было для него отдаленнымъ, почти забытымъ сномъ и оставляло на душѣ впечатлѣніе пережитаго подвига... Оставивъ жену спящей, онъ наскоро одѣлся и поспѣшилъ въ мастерскую.

— И такъ... помоги, Господи, справиться съ этимъ сорвиголовой!—прошепталъ Сафронычъ, устанавливая холстъ и усаживаясь за работу.

Твердо и вдохновенно держалась кисть въ его рукѣ... Увлеченію этаго человѣка не было границъ: онъ весь углубился, оцѣпенѣлъ, за-

меръ отъ удовольствія, потерявъ изъ виду все окружающее... Нѣтъ словъ, какими въ точности можно бы было выразить это самозабвеніе, эту поразительную страсть къ творчеству.

Правда, настроеніе Сафроныча было нѣсколько своеобразно. Никогда еще онъ не чувствовалъ такой невольной любви къ дѣлу, именно невольной и игривой, открывавшей передъ нимъ одинъ и тотъ же неизсякаемый родникъ—наслажденіе. Даже воображеніе его работало теперь далеко иначе: тутъ уже не было обычной плавности, сосредоточенности, освѣщаемыхъ удушливымъ тяжелымъ знаньемъ, способнымъ вызвать утомленіе; напротивъ, и оно оказалось игривымъ, легко-порывистымъ, нѣжно сверкая своими переливами, подобно первому полету мотылька, подобно теченію еле ощущаемой струи утренняго эфира...

Ничего подобнаго не испытывалъ Сафронычъ раньше. Будучи въ жизни простодушнымъ ребенкомъ, онъ, усаживаясь за работу, перерождался въ жреца,—правда, не надменнаго, но всеже строгаго, таинственнаго... Глаза его никогда не свѣтили дѣтской радостью, а строго и сосредоточенно впивались въ холстъ; устъ не касалась игривая улыбка—они хранили непреодолимое молчаніе классическаго мрамора—и если иногда поднималась и опускалась бровь, то опять-таки строго сообразуясь съ развитіемъ работы. Теперь же вся эта гармонія вдругъ измѣнила своимъ законамъ и, являясь еще болѣе строгимъ аккордомъ, она способна была принести

и болѣе упоительное, болѣе цѣльное наслаждение...!

— Сафронычъ! Оглохъ что-ли?—рѣзко прозвучалъ за его спиной голосъ Меланьи.—Хочешь чаю?

— Ахъ, Ланечка!.. Хорошо... Нѣтъ...—почти безсознательно отвѣтилъ онъ.

— Воно что-о?—Это, значить, начинается тотъ самый «чортикъ»?.. Ха-ха-ха!.. И навѣрно—съ рожками и съ хвостикомъ?...

Тутъ Меланья любовно хлопнула мужа по плечу и опять звонко захохотала.

— Милая!.. Пойдемъ!.. не мѣшай!—воскликнулъ Сафронычъ, взявъ жену за руку и уводя къ двери.—Я сейчасъ!.. иди!.. наливай чай!.. Я не люблю горячаго... Я...

И онъ, проводивъ жену въ слѣдующую комнату, опять взялся за кисть.

Меланья ушла, но минутъ десять спустя, снова явилась въ мастерскую, держа въ рукѣ небольшой подносъ съ чашкой чая.

— Сафронычъ, гляди!..

Послѣднее слово она произнесла съ особеннымъ оттѣнкомъ и въ немъ дѣйствительно выражалась цѣлая мысль:—«Смотри, молъ, какая честь тебѣ... И если ты понимаешь это, поспѣвши воспользоваться, ибо я сама не знаю, почему такъ дѣлаю...»

Сафронычъ оставилъ кисть и залпомъ выпилъ чай, забывъ взять сахаръ. Меланья замѣтила это, улыбнулась, а потомъ не выдержала—захохотала.

— Сафронычъ! А сахаръ-то?

— Ахъ, Ланечка!.. Ты-же знаешь, что я не люблю сладкаго!..—не безъ укоризны сказалъ онъ.

Эти слова еще болѣе разсмѣшили Меланью. Правда, она знала что мужъ не любитъ сладкаго, но до сего времени онъ всегда пилъ чай съ сахаромъ; теперь же вдругъ увѣряетъ ее въ такой нелѣпости!

И опять послѣдовалъ взрывъ здороваго женскаго хохота. Очевидно, и Меланья благодушествовала. Со вчерашняго вечера въ ея душѣ наплось мѣсто игривому настроенію, которое до сихъ поръ не оставляло ее.

VIII.

Прошло нѣсколько дней. О блаженномъ состояніи Меланьи не было и помину, а вдохновеніе Сафроныча все болѣе и болѣе усиливалось... На другой день онъ также забавно напился чаю, а на третій—совсѣмъ отказался. И обѣдалъ онъ молча, поспѣшно, отвѣчая короткими фразами на вопросы жены. Но необходимо взглянуть на рабочій холстъ иконописца, или вѣрнѣе, на тотъ фантастическій оригиналъ, который предполагалось воплотить на холстѣ.

Изображеніемъ этимъ, какъ уже извѣстно, былъ Іуда, тотъ самый предатель Господа, который со дня своего паденія сдѣлался предметомъ отвращенія для всего христіанскаго міра. Но и этой дани, повидимому, мало для него, и

не удивительно, если многіе изъ христіанъ упорчили за нимъ самое близкое родство съ дьяволомъ. Чортъ и Іуда, Іуда и чортъ—эти два понятія сдѣлались одной цѣльной и нераздѣльной величиной, а о. Кипріанъ, какъ ревнивый христіанинъ, ушелъ въ этомъ отношеніи еще дальше. Ненависть его къ этому грѣшнику была настолько сильна, что онъ рѣшительно не признавалъ за нимъ фізіономической оригинальности, пересоздавъ ее въ «дьявольскіе» глаза, «чертовскій» носъ, «звѣриную» пасть... Подобная-то фотографія и должна была служить программой новой работы Сафроныча.

Именно въ такомъ видѣ иконописецъ и думалъ изобразить Іуду. Но потомъ, чувство ли умѣренности, или глубина эстетическаго чутія возстала противъ «чертовскаго» носа и «звѣриной» пасти, представляемыхъ батюшкой въ самыхъ грандіозныхъ размѣрахъ, и Сафронычъ рѣшилъ ограничить эту вспыльчивость взгляда. Онъ рѣшилъ изобразить Іуду такъ: въ глазахъ—дьяволъ, а въ остальномъ—человѣкъ. Последнее естество, по убѣжденію Сафроныча, должно было носить строгую гармонію, хотя, въ то же время, ни въ какомъ случаѣ не могло явиться «образомъ»: иконописецъ зналъ, что Іуда на самомъ дѣлѣ былъ безобразенъ. Длинный еврейскій носъ, скуластое, худощавое, чисто искаріотское лицо, тонкая жилистая шея,—все это, проникнутое энергіей и преданностью тайнымъ убѣжденіямъ, такъ самонадѣянно, такъ неудержимо рвалось на холстъ. Правда, всѣ эти черты фізіо-

номіи Іуды предполагалось нѣсколько приукрасить и при томъ—съ отрицательной стороны, что нужно было сдѣлать въ удовлетвореніе о. Кипріяна, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, въ глазахъ священника пропалъ бы весь смыслъ работы, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшилась бы и заслуга Сафроныча, такъ дорожившаго мнѣніемъ своего руководителя.

Съ какимъ увлеченіемъ начать былъ портретъ Іуды—читателю уже извѣстно. Но выполнивъ планъ работы и приступивъ къ ея отдѣлкѣ, Сафронычъ почувствовалъ, что имъ овладѣло что-то ужасное, непобѣдимое... Сердце въ немъ забилося чаще и сильнѣе, въ глазахъ потемнѣло, рука двигалась болѣзненно, а кисть—эта могучая, самоувѣренная кисть—еле держалась въ рукѣ. Иконописецъ еще разъ напрягаетъ усиліе и опять—одно и тоже... И онъ, опустивъ руки на колѣни, истерически зарыдалъ...

Боже, какъ велико было его отчаяніе!.. Онъ—самоувѣренный, вдохновенный художникъ, съ такой страстью создавшій Іуду въ своемъ воображеніи,—вдругъ оказался немощнымъ и долженъ сознать свое безсиліе... О, какъ тяжела, какъ невыносимо-мучительна была эта пытка!.. Даже рыданія—бурныя, истерическія—не могли побѣдить ея сокрушающей силы, не могли принести облегченія!.. Онъ не глядѣлъ, но видѣлъ, старался не чувствовать, но чувствовалъ, что на роковомъ холстѣ не было черты, которая бы находила правдоподобіе въ лицѣ Іуды, въ томъ огненно-пылкомъ лицѣ, фантастическія черты

котораго нисколько не блекли,—напротивъ, все ярче и ярче свѣтили въ его воображеніи. И вотъ ни единой черты!.. Носъ, ротъ, характерныя скулы лица, даже растительность на немъ,—эти жиденькіе, будто заживо увядшіе усики и бородка,—даже они не поддавались творческой силѣ Сафроныча. А что было съ изображеніемъ глазъ—о томъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи! Желчныя, коварныя, при всемъ своемъ стальномъ блескѣ непобѣдимой злой страсти, какъ дьявольское естество, какъ суть всей работы, они тѣмъ болѣе оказались недоступными для кисти жалкаго иконописца... Еще на первыхъ порахъ Сафронычъ замѣтилъ это. Когда онъ отмѣчалъ нѣсколько прищуренныя, характерныя бѣлки этихъ глазъ, рука его невольно дрогнула: онъ почувствовалъ, что кисть не подчиняется его волѣ... Онъ оставилъ глаза, взялся за изображение носа, потомъ—рта, скулъ лица, усовъ, бороды, и ничто,—хотя бы эта борода, хотя бы одинъ волосъ ея,—не соответствовало фантастическому оригиналу.

IX.

Но нѣтъ грозы въ природѣ, которая не утихла бы; нѣтъ ея и въ душѣ человѣка... Потрясеніе Сафроныча замѣтно ослабѣвало, уступая свое мѣсто тяжелой, подавляющей скорби. Правда, онъ все еще глядѣлъ на холстъ, но чувство уже не сопутствовало этому взгляду; воображе-

ніе видимо ослабѣвало, и Іуда-оригиналь, какъ-бы завершивъ свое дѣло, уходилъ все дальше и дальше, пока, наконецъ, совсѣмъ скрылся въ какомъ-то непроницаемомъ облакѣ... Тяжелая, но благотворная усталость почувствовалась во всѣхъ членахъ Сафроныча. Онъ поднялся со стула и быстро сдернулъ простыню съ образа Николая, чтобы закрыть ею поврежденнаго «Іуду».

Это онъ сдѣлалъ безсознательно, инстинктивно, забывъ о томъ, что тутъ нарушается данный имъ обѣтъ не открывать образа и не глядѣть на него, по крайней мѣрѣ, въ теченіе мѣсяца. Впрочемъ, этотъ запрещенный плодъ остался невкушеннымъ, и если-бы у Сафроныча спросили, откуда имъ взята простыня, онъ навѣрно утверждалъ бы, что снялъ ее съ гвоздя,—утверждалъ бы съ тою же дѣтской наивностью, съ какой увѣрялъ Меланью, что онъ не любитъ «сладкаго».

— Ну, что Ланечка?—Какъ поживаешь?.. пролепеталъ онъ, оставивъ мастерскую и переступая порогъ кухни.

Удивленная не столько этой любезностью, сколько ея несвоевременностью, Меланья бросила на мужа серьезный взглядъ, но такъ какъ она, по-своему, священнодѣйствовала—подметала соръ въ комнатѣ—то отвѣта не послѣдовало.

— Уйди, посторонись!—сухо процѣдила она, бросая соръ къ ногамъ мужа.

— Ланечка, поцѣлую!.. разъ... только одинъ разъ!..—продолжалъ Сафронычъ, подавляя въ себѣ истинныя чувства: онъ не зналъ, чѣмъ заглушить свою скорбь, какъ освѣжить душу.

— По-цѣ-ло-вать? Воно-что!— съ глубокой, безпощадной ироніей отозвалась Меланья.— Изволь!.. На!

И ухарьски откинувъ впередъ правую ногу, она вытянула въ шишку свои жирныя губы.

Насмѣшка жены отрезвила страдальца, но онъ не обидѣлся; напротивъ, ему стало стыдно за свою ложь и онъ опрометью выбѣжалъ на дворъ.

Было подъ вечеръ... По небу бродили сѣрыя тучи и зной лѣтняго дня смѣнялся благотворной прохладой: близость дождевой влаги замѣтно ощущалась въ воздухѣ. Остановившись среди двора и закинувъ назадъ голову, Сафронычъ бессмысленно глядѣлъ на небо. Порывистый вѣтеръ охватывалъ все его существо, небрежно развѣвая длинныя пряди ничѣмъ непокрытыхъ волосъ, и невольный трепетъ какой то исцѣляющей силы пробѣгалъ по нервамъ страдальца. Онъ продолжалъ безмолвно стоять, отерывая жилетъ, рубаху, обнажая грудь, шевеля рукой въ пазухѣ, какъ-бы усиливаясь привлечь эту чудотворную благодать, втянуть ее подальше въ глубину сердца, гдѣ все еще дымилась рана, гдѣ прыгали послѣдніе, но жгучіе огоньки все-растлѣвающей боли... Глубокіе, продолжительные вздохи дѣлали эту картину еще болѣе поразительной...

— Сафронычъ! Закрой ротъ!.. Не то дождь испугается и уйдетъ отъ насъ...— раздался вблизи чей-то нахальный голосъ.

Сафронычъ очнулся. По улицѣ, мимо усадьбы, шелъ «сотскій» съ большимъ знакомъ отли-

чія на груди. Это былъ незнакомый иконописцу, молодой крестьянинъ, съ живой насмѣшливой фізіономіей... Полицейскій надзоръ оскорбилъ Сафроныча и онъ быстро зашагалъ по двору.

— Ахъ, какъ ужасны эти крестьяне!—съ досадою прошепталъ оскорбленный, возмущаясь не столько нанесенной ему обидой, сколько тѣмъ обстоятельствомъ, что его лишили послѣдняго удовольствія. И онъ направился въ отдаленный, глухой уголъ двора.

Прогулка Сафроныча и тутъ продолжалась недолго. Не успѣлъ онъ снова забыться, какъ на улицѣ показалась фигура священника, шедшаго по направленію усадьбы иконописца. Сафронычъ быстро сдѣлалъ поворотъ назадъ и пройдя нѣсколько шаговъ присѣлъ въ густую лебеду; вышло это какъ то странно: не то съ намѣреніемъ, не то безсознательно. Правда, Сафронычъ искалъ уединенія и встрѣча съ кѣмъ бы то ни было тяготила его, но прятаться отъ уважаемаго о. Кипріана въ то время, когда тотъ могъ замѣтить,—просто неслучайно... Впрочемъ, самъ Сафронычъ не давалъ себѣ отчета въ своемъ поступкѣ и лишь потомъ, лежа въ лебедѣ, онъ созналъ всю глупость этой выходки. «Хорошо, если не замѣтилъ»,—подумалъ онъ.—Вѣроятно, не замѣтилъ... Ну, а если зайдетъ въ мастерскую?»

И при одной этой мысли иконописецъ мигомъ выскочилъ изъ засады.

— Ахъ, отецъ Кипріанъ... Вы?—только и могъ сказать онъ, обращаясь къ стоявшему тутъ же священнику.

— Разумѣется!.. Хе-хе-хе!.. А ты-то что же бездѣльничаешь?

— Я... Какъ видите... вышелъ прогуляться...

— Хе-хе-хе! Но зачѣмъ же ползаешь въ лебедѣ?—Да, кстати: тутъ, говорятъ, несутся мои куры,—серьезнымъ тономъ прибавилъ батюшка:—не видѣлъ-ли?

— Какже!.. Это возможно!.. Конечно...

— То-есть, какъ?—недоумѣваяще спросилъ о. Кипріанъ, не понимая словъ Сафроныча, а тѣмъ болѣе его душевнаго состоянія.

— Да, вѣроятно... это возможно... Да-да!..—бормоталъ иконописецъ.

— Ты говори толкомъ, Сафронычъ!.. Ты видѣлъ моихъ куръ? Такъ, что-ли?

— Разумѣется... Я не видѣлъ, конечно... но очень можетъ быть... Я увѣренъ... Вѣдь въ такой лебедѣ все можетъ случиться...

— Ты не видѣлъ, а лишь предполагаешь? Ну, такъ и скажи...

— Нѣтъ, зачѣмъ!.. Я къ вашимъ услугамъ... Я сейчасъ поищу...

И Сафронычъ, казалось, готовъ былъ осмотрѣть каждый кустъ лебеды, чтобы удовлетворить о. Кипріана и хотя на минуту отвлечь его отъ мысли зайти въ мастерскую.

— Хе-хе-хе!.. Оставь, я вѣрю!.. Вѣдь я пришелъ не за этимъ... Просто—сказалъ къ слову... Безпокойся матушка: куръ больше сотни, а яицъ наполовину... По-мнѣ то все равно, а для хозяйки... того...—Ну, что-же, какъ твой «Іуда»? Пишешь?

— Иуда?... Я... какъ же... работаю... Но видите-ли...

— Трудновато? Не такъ-ли?

— Именно такъ! Да-да... Я привыкъ къ благообразію...

— Ха-ха-ха! И вдругъ подавай сюда самого чорта!.. Но ты не падай духомъ, Сафронычъ! Крѣпись до послѣдней возможности: въ этомъ твое спасеніе!..

Иконописецъ вздохнулъ.

— Я, собственно, и пришелъ узнать о томъ, какъ идетъ твоя работа,—все съ тою же улыбкой продолжалъ священникъ: — видишь-ли... Э, да это никакъ дождь?.. Прощай, голубчикъ! Будь поаккуратнѣе!.. Хе-хе-хе!.. Да за яички помни!.. Слышишь?

И священникъ быстро зашагалъ къ своему дому, а Сафронычъ остался одинъ, провожая его недоумѣвающимъ взглядомъ... Иконописцу стало вдругъ легко, приятно. Крупныя капли дождя падали на его обнаженную голову, но онъ стоялъ неподвижно, пока батюшка скрылся въ домъ, захлопнувъ за собой дверь.

Сафронычъ торжествовалъ. Промычавъ что-то отъ восторга, онъ съ радостной улыбкой поспѣшилъ въ мастерскую...

Х.

Тѣмъ временемъ Меланья почивала крѣпкимъ сномъ. Спать въ дождь было ея привычкой, и когда бы это не случилось,—утромъ-ли, ве-

черомъ, въ обѣдъ,—она одинаково успѣшно засыпала подъ своимъ завѣтнымъ одѣяломъ... Въ такіе «неприсутственные» дни нормальное теченіе жизни супруговъ нѣсколько измѣнялось: чай и обѣдъ подавался одновременно, или обѣдъ замѣнялся вечернимъ чаемъ и ужиномъ. Этотъ порядокъ вещей ничуть не тревожилъ Сафроныча: работая съ увлеченіемъ, онъ и безъ того почти всегда опаздывалъ къ обѣду, пилъ холодный чай, а иногда являлся лишь къ ужину и ѣлъ въ такомъ случаѣ по-богатырски. Словомъ, Сафронычъ умѣлъ управлять своими животными инстинктами и аппетитъ его вызывался скорѣе успѣхомъ работы, чѣмъ временемъ.

Придя теперь въ мастерскую, иконописецъ подошелъ къ образу св. Николая и остановился.

— Вотъ уже странно!..—подумалъ онъ, переводя взглядъ отъ «Николая» къ занавѣшенному «Іудѣ» и обратно.—Кто открылъ образъ? Неужели я? Но когда и зачѣмъ? Не помню, положительно не помню...

Но страннымъ тутъ было не одно это. Рокковой образъ Николая Чудотворца потерялъ вдругъ для Сафроныча свой таинственный смыслъ и теперь иконописецъ смотрѣлъ на него свободно, безбоязненно, не вникая, такъ сказать, въ его прошлое. Да, совсѣмъ инымъ онъ казался теперь для Сафроныча. Прежде онъ терзалъ его взглядъ, вызывалъ ужасъ, отвращеніе, котораго нельзя было выносить, а теперь иконописецъ видѣлъ въ немъ одно—что-то до безконечности мизерное, располагающее къ той еле затрагива-

ющей сердце мимолетной жалости, какую вызываетъ въ насъ искалѣченное насѣкомое, неимѣющее, по здравому смыслу, права на жизнь. Такое именно ощущение переживалъ теперь Сафронычъ и оно какъ-бы еле касалось его чуткой души, не находя должнаго мѣста въ его сознаниіи. Напротивъ, все то, что на самомъ дѣлѣ тревожило его мысли и чѣмъ невольно онъ жилъ теперь,—опять находилось подъ той же простыней, но уже на крѣпкомъ мольбертѣ, какъ будто вся тайна заключалась въ этомъ чудодѣйномъ покрывалѣ, переносившимъ съ собой что-то страшное, вызывающее трепеть, отчаяніе...

И дѣйствительно, со страхомъ глядѣлъ Сафронычъ на мольбертъ... Заставляя себя думать лишь о томъ, когда и какъ онъ снялъ простыню, иконописецъ въ то же время подавлялъ въ себѣ инныя чувства и мысли, говорившія ему, что то, надъ чѣмъ онъ думаетъ теперь—неважно, что его дѣло—«Іуда», что нужно взглянуть на него... Странно, Сафронычъ даже старался убѣдить себя, что подъ простыней скрывается не «Іуда», а что-то иное, болѣе отрадное, чего не слѣдуетъ открывать сейчасъ, а нужно повременить хотя нѣсколько минутъ. И онъ рѣшилъ не открывать портрета.

«Что жъ, развѣ задѣлать царалину?»—подумалъ онъ, какъ-бы для успокоенія совѣсти, побуждавшей его къ работѣ. Онъ взялъ палитру, кисть и приступилъ къ дѣлу: затеръ шрамъ краской, ступшевалъ кистью и закончивъ, такимъ образомъ, свое дѣло, все еще глядѣлъ на образъ.

Казалось, онъ совсѣмъ успокоился. Тихая, нѣсколько туповатая задумчивость сказывалась въ выраженіи его лица; ни усилій, ни апатіи нельзя было замѣтить въ немъ, а скорѣе—физическую усталость, придававшую всей фигурѣ иконописца отпечатокъ не то болѣзненности, не то обычнаго переутомленія.

Такъ прошло около получаса. Вечернее солнце дѣлало послѣдній шагъ къ закату и, освободясь отъ тучъ, залило вдругъ огненно-яркимъ свѣтомъ мастерскую. Сафронычъ сдвинулъ брови, прищурилъ глаза,—чуть замѣтно передернулись мышцы его лица,—голова близко наклонилась къ образу, потомъ вмѣстѣ съ туловищемъ отшатнулась назадъ. Онъ вновь наклонился къ образу, всталъ со стула, отошелъ къ окну, затѣмъ поспѣшилъ къ мольберту, хотѣлъ открыть «Іуду», но не сдѣлалъ этого, а лишь махнувъ рукой, выбѣжалъ изъ мастерской.

Когда, полчасъ спустя, онъ опять явился въ мастерскую со свѣчей въ рукѣ, удрюченный и все еще скорбный видъ носила его фizioномія. Стараясь быть спокойнымъ, онъ съ невольной дрожью открылъ портретъ Іуды? Судя по тому, какимъ лихорадочнымъ блескомъ горѣли его глаза и какъ въ рукѣ дрожала свѣча, можно было заключить, что новая, еще невѣдомая тайна открывалась предъ нимъ, но появившаяся и какъ бы вслѣдъ за тѣмъ застывшая на полуоткрытыхъ устахъ улыбка заставляла думать противное. «Я такъ и зналъ!»—казалось говорила она. Улыбка эта еще болѣе усилилась, еще тверже оп-

равдывала эти слова, когда Сафронычъ отъ «Іуды» перешелъ къ образу Святителя—разъ и другой,—поставилъ затѣмъ оба изображенія рядомъ къ стѣнкѣ и снова разсматривалъ ихъ—то издали, то на близкомъ разстояніи. А на утро, тѣмъ болѣе, уже не было сомнѣнія: свѣжій умъ, свѣжій глазъ не могли обманывать Сафроныча: «Іуда» и «Николай» стояли передъ нимъ, какъ родные братья, какъ близнецы...

И дѣйствительно, поразительное сходство оказалось на самомъ дѣлѣ между этими столь разнородными изображеніями! Если трудно допустить, чтобы гранитная скала могла мгновенно обратиться въ прахъ, то какъ-же зіяющая бездна можетъ коснуться небесъ?.. Іуда, этотъ выродокъ природы, этотъ дьяволъ «въ глазахъ», обманулъ вдохновенную кисть, оставилъ свое адское жилище и—о чудо!—вознесся до такой недостигаемой высоты! И хотя бы одна черта, хотя бы малѣйшая тѣнь во всемъ его портретѣ шепнула слово «Іуда»,—нѣтъ, чисто и возвышенно—конечно, по силѣ кисти мастера—все было тутъ! Носъ, ротъ, глаза, даже тощіе усики, даже жиденъкая бородка отражали непобѣдимое спокойствіе души, величавую чистоту нрава. Одинъ возрастъ только и служилъ контрастомъ между образомъ и портретомъ: святитель Николай, какъ старикъ, украшался сѣдой бородой, прямымъ широковатымъ носомъ, тогда какъ Іуда былъ, повидимому, молодъ, имѣлъ болѣе узкій носъ, легкая горбина котораго казалась какъ-бы временнымъ слѣдствіемъ общей худобы лица.

Но и этотъ носъ, и все лицо его были совершеннѣйшей копіей молодыхъ лѣтъ «Николая».

Едва-ли перенесъ бы Сафронычъ такую насмѣшку судьбы, если бы она не послужила пророческимъ откровеніемъ для всей его дальнѣйшей дѣятельности... «Іуда», какъ художественное произведеніе, оказался несравненно выше всего; вышедшаго до сихъ поръ изъ подъ кисти страдальца. И до какой степени это обрадовало Сафроныча! Онъ, стоявшій на краю пропасти, вмѣсто того чтобы броситься въ бездну, прервать послѣднюю нить жизни;—онъ находитъ каменную скалу, ограждающую его отъ опасности. И эта скала выросла изъ ничего, какъ бы изъ самой бездны, выросла невидимо, а его дѣло было—глядѣть и не вѣрить, щупать и не осязать, радоваться и бояться за свое счастье...

И не будь этого, не найди Сафронычъ преимуществъ въ послѣдней своей работѣ, онъ бы погибъ отъ отчаянія.

А теперь вновь забила жизнь въ этомъ измученномъ существѣ: онъ опять сидѣлъ съ кистью въ рукѣ передъ новымъ холстомъ, приступая къ новой работѣ. Все еще какъ бы не давая себѣ отчета въ случившемся, Сафронычъ еще разъ приблизился къ портрету и еще разъ взглянулъ на него... И опять онъ видитъ, что тутъ уже нѣтъ мѣста тому отвращенію, какое всегда такъ терзало его; напротивъ, въ «Іудѣ» онъ находитъ достоинства и—какое счастье!—онъ понимаетъ ихъ. Цѣльность лица, или точнѣе—его общая связь, жизнь, такъ сказать, идея, которая

и должна служить главной задачей художника и въ силу которой нѣмыя краски переходятъ въ живую оригинальность,—вотъ что прежде всего замѣтилъ онъ. Помимо того, всѣ части портрета въ отдѣльности носили отпечатокъ той же жизненности—правда, въ слабой формѣ. Особенно важный шагъ впередъ былъ сдѣланъ въ глазахъ. Глаза эти, понятно, далеко не отвѣчали фантастическому оригиналу: это были тщательно выведенные кружки, которые вставлялись механически и «Николаю» и «Петру» и всѣмъ святымъ, почитаясь за органъ зрѣнія... Но на этотъ разъ они дѣйствительно имѣли право на такое названіе. Чуть мерцая, какъ отдаленный огонекъ на непроглядномъ фонѣ ночи, въ глазахъ этихъ таилась искра чего-то, еле тлѣвшагося, но, очевидно, живого. Въ нихъ дѣйствительно скрывалась жизнь, только такъ слабо, такъ неопредѣленно было ея проявленіе. Зарождалась-ли она или совсѣмъ угасала, какъ это бываетъ съ больнымъ въ предсмертную минуту—отличить было нельзя; поэтому-то и весь портретъ Іуды казался чѣмъ-то волшебнымъ, какъ будто онъ силился что-то почувствовать, но не могъ...

XI.

Новымъ трудомъ Сафроныча былъ опять «Іуда». Взяться за что-либо другое онъ не могъ, но и работать надъ портретомъ при такихъ условіяхъ едва-ли было возможно. Напрасно старался

иконописецъ забыть о случившемся—воображеніе отказывало ему въ необходимой дѣятельности; оригиналь Іуды, еще недавно такъ преданно руководившій его кистью, теперь казался для него чѣмъ-то отдаленнымъ и художникъ не въ силахъ былъ вновь создать его. Но этотъ непонятный для Сафроныча отдыхъ души скоро исчезъ; страстный художникъ опять казался въ немъ. Ощущенія будничной жизни опять замерли, какъ-бы сознавая свое ничтожество, чувства души слились въ одно цѣлое; прежній оригиналь Іуды еще ярче, еще рельефнѣе засверкалъ въ его воображеніи, и счастье неизъяснимаго блаженства опять наполнило все существо Сафроныча. Не мысля—казалось, не чувствуя, какъ истуканъ, съ плотно-сжатыми устами сидѣлъ онъ передъ роковымъ холстомъ и только огонь глазъ, движенія рукъ обличали въ немъ живого человѣка. А изображеніе росло, какъ-бы судорожно билось на холстѣ, какъ-бы прорывалось сквозь него, точно за холстомъ этимъ находился огненный ликъ Іуды, прожигавшій стоявшую предъ нимъ преграду и силившійся выпрыгнуть во всей своей оригинальности.

Такая непослѣдовательность нарушала цѣльность работы и не могла обѣщать успѣха. Но могъ ли Сафронычъ управлять собой? Для него не существовало разсудка, не было законовъ творчества; его путеводитель—какая-то страстная непостижимая мечта, помимо его воли распоряджаясь кистью, бросала ее во всѣ стороны и, въ ущербъ дѣлу, преждевременно сосредото-

чивала работу на глазахъ Іуды. Да, эти ужасные глаза не давали ему покоя. Страстные, жгучіе, они казались еще поразительнѣе подъ своимъ покровомъ холодноватаго блеска стали, скрывая въ глубинѣ своей безпредѣльную бездну жизни, силы, коварства. Они, какъ раскаленное остріе, прожигали душу Сафроныча, они затемняли другіе черты фантастическаго образа. Они безъ словъ, съ какимъ-то непонятнымъ коварствомъ говорили: «Поспѣши... Улови нашу глубину и силу и для тебя не будетъ препятствій! Тогда мы покоримся тебѣ, закроемъ свой взоръ, и ты спокойно возьмешь остальное!»

Когда же Сафронычъ поддался этому теченію, когда онъ остановился на изображеніи глазъ и одновременно съ формой долженъ былъ влить въ нихъ всю мощь адской власти—кисть его дрогнула... Онъ отвелъ руку, шире открылъ глаза—холстъ передъ нимъ двоился, потомъ совсѣмъ исчезъ, исчезла вся мастерская, а взамѣнъ этого радужные круги запрыгали въ пространствѣ. И среди этой массы окружностей еще рельефнѣе, еще ужаснѣе предсталъ предъ нимъ образъ Іуды... Онъ—то достигалъ необыкновенныхъ размѣровъ, то разсыпался на мириады кукольныхъ головокъ, то удалялся отъ Сафроныча, то приближался къ нему, вновь соединяясь и вновь дробясь... Иконописецъ теряетъ сознаніе, какъ-бы замираетъ на мѣстѣ, хочетъ оставить кисть, но не можетъ; палитра приростаетъ къ рукѣ, даже вѣки глазъ, которыя онъ старается сомкнуть, остаются внѣ его власти... А образъ Іуды подавляетъ его своимъ

взглядомъ, какъ-бы мучить, какъ-бы казнить его. И уже не тотъ надменно-покорный, умоляющій взглядъ онъ видитъ предъ собой, нѣтъ, этотъ взглядъ говоритъ уже иное: онъ не просится на холстъ, а глумится надъ всей дерзостью, надъ всѣмъ безуміемъ намѣреній иконописца. Непобѣдимая гордость и холодность, зловѣщій мрачный блескъ, казалось, впервые открывали теперь всю глубину, всю бездну этихъ глазъ, и не было конца, не было мѣры той бурной, ядовитой страсти, которая была такъ непостижимо-далека отъ образа и подобія Божія.

Пораженная этой новой обстановкой душа Сафроныча силится познать ее; она вся какъ-бы обращается въ зрѣніе, ловить этотъ новый, этотъ ужасный взглядъ, но достигнувъ конечной точки усилія, мгновенно обрывается: острая боль даетъ знать о существованіи плоти; но одинъ моментъ, одинъ полетъ искры и физическая природа опять замираетъ, непроницаемая тьма скрываетъ образъ Іуды... Сафронычу кажется, что душа его навсегда оставляетъ тѣло, что все существо его—духъ, что этотъ духъ стремится къ верху, носится въ этой тьмѣ, потомъ опускается... О, какъ легка, какъ невыразимо-пріятна эта новая жизнь! Но и она—одно мгновеніе: тьма рѣдѣетъ, показываются очертанія мастерской—стѣны, дверь, а у двери... живая человѣческая фигура... Да, совершенно живой, еврейскаго типа человѣкъ... И этотъ человѣкъ глядитъ на Сафроныча... Скорбь, отчаяніе, изнеможеніе выражаетъ его взглядъ... Уста его дрожать, какъ-бы желая что-то ска-

зять, но не смѣютъ... Но вотъ, они открываются... уже открылись... Льются звуки...—Господи, да что же это?! Слова ли?—Да... Живая человѣческая рѣчь...

«Сафронычъ, гляди!.. Это я... Иуда... предатель Господа... Такимъ ли ты хочешь изобразить меня?.. Я человѣкъ—пойми! Пойми «человѣка»—и ты поймешь меня!..»

И потомъ... опять воскресаетъ бренное тѣло... Тяжелая глухая боль, какъ отъ удара молота, проникаетъ во всѣ его члены: жизни уже нѣтъ въ душѣ, она перешла въ плоть... Но кто же мучить, кто терзаетъ эту плоть? Иуда? Тотъ странный гость? Но гдѣ онъ? Исчезъ... Исчезло все...

И опять легко... Опять тьма, вѣчная, непроницаемая...

ХП.

Прошло нѣсколько дней. Въ залѣ лежалъ Сафронычъ... Было десять часовъ утра... Открытыя, но занавѣшенные окна вливали въ комнату таинственный полусвѣтъ, а сквозныя струи вѣтерка дѣлали воздухъ цѣлительно-прохладнымъ. Длинная исхудалая фигура Сафроныча невозмутимо покоились въ постели...

Но кто бы могъ сказать, что это былъ онъ, тотъ живой, тотъ страстный иконописецъ?! Безжизненное, почернѣвшее лицо, плотно закрытыя вѣки глазъ, длинные пряди черныхъ волосъ, поднятыя

отъ затылка къ верху, жадно-открытыя, воспаленныя и какъ бы зачоченѣлыя уста,—все это носило печать вѣрной смерти... Одна нога была судорожно вытянута, другая находилась въ положеніи изогнутаго колѣна и только судя по тому какъ вздрагивали иногда эти ноги, какъ поднималась и опускалась положенная на грудь рука, можно было понять, что холодное дыханіе смерти не успѣло еще проникнуть въ глубину этого живого трупa.

Сафронычъ спалъ. Это былъ первый крѣпкій сонъ больного послѣ продолжительной агоніи. Жаръ и бредъ, такъ мучившіе его наканунѣ, казалось, закончили свое дѣло, и только теперь впервые блеснула надежда на выздоровленіе Сафроныча... Впрочемъ, смыслъ болѣзни и ея причины остались полнѣйшей загадкой для окружающихъ и приглашенный мѣстный земскій врачъ то и дѣло спрашивалъ Меланью, отъ чего произошла вся эта «канителица». Меланья отвѣчала коротко, какъ бы нехотя.

По ея словамъ Сафронычъ никогда не болѣлъ, не поддавался простудѣ, работалъ много, до изнеможенія, ѣлъ мало, да и то большей частью не во время. Въ послѣдніе дни она замѣтила, что мужъ дуется, особенно когда она являлась въ мастерскую,—какъ воръ, тащить себѣ пищу и по цѣлымъ днямъ не выглядываетъ изъ своего закоулка. Въ послѣднее время онъ тамъ же проводилъ и ночи, но спалъ-ли онъ—когда ложился и когда вставалъ?—она не знаетъ. Свѣтъ у него былъ видѣнъ всю ночь, часто раздавался стукъ, но

до всего этого ей, Меланѣ, разумѣется, не было дѣла. Конечно, Меланья скрыла, что наканунѣ происшествія она нѣсколько разъ подходила съ бранью къ двери мастерской, которая была заперта, и что она тогда же заявила мужу, что хлѣба онѣ ужъ таскать не будутъ, что все съѣстное подѣ замкомъ и что онѣ смѣло можетъ пропадать съ голоду!.. Въ послѣдній день Меланья вовсе не думала о мужѣ и часу въ 12 ночи случайно вошла въ залу. Въ этотъ моментъ раздался въ мастерской пронзительный крикъ; что-то тяжелое свалилось на полъ, послышался стонъ, вырвалось нѣсколько словъ, непонятныхъ, бессмысленныхъ. Она бросилась къ двери, но открыть ее не могла. Она звала Сафроныча, но отвѣта не было, прекратился и стонъ, и въ мастерской стало глухо, какъ въ могилѣ. Въ страхѣ она созвала людей, но тѣ не знали, что дѣлать; она побѣжала къ священнику... Отецъ Кипріанъ вскорѣ явился, но волненіе его было настолько сильно, что оказать помощь и онѣ не могъ. Наконецъ, дверь была взломана, всѣ ввалились въ мастерскую и отъ ужаса отшатнулись назадъ.

И дѣйствительно, поразительную картину представлялъ изъ себя Сафронычъ. Онѣ лежалъ навзничъ, свалившись на опрокинутый стулъ; одна нога его была приподнята сидѣньемъ стула, другая попала въ сторону; кисть и палитра закоченѣли въ рукахъ, а портретъ Іуды лежалъ на полу, возлѣ опрокинутаго мольберта.

Но не этотъ беспорядокъ, въ сущности, поразилъ зрителей,—въ началѣ онѣ оставался

незамѣченнымъ; вся сила зрѣлища, весь его ужасъ заключался въ фізіономіи иконописца. Глаза его, почти совсѣмъ открытые, не то казались застывшими, свидѣтельствуя о послѣдней минутѣ какой-то напряженной работы, не то медленно и безцѣльно перекашивались въ орбитахъ, когда все лицо искажалось судорогами. Эти конвульсіи какъ бы будили жизнь, способствуя болѣе сильному, болѣе учащенному дыханію, но это усиліе, этотъ призывъ къ жизни совсѣмъ мало говорили за ея присутствіе.—Такъ бьется, боясь разстаться съ жизнью, хвостъ змѣи, отдѣленный отъ туловища.

Теперь около Сафроныча находились о. Кипріанъ и Меланья; послѣдняя сосредоточенно глядѣла на мужа, но этотъ взглядъ выражалъ скорѣе досаду, чѣмъ грусть.

Зато отношеніе батюшки къ больному было по истинѣ христіанскимъ. Скорбь его, казалось, готова была перейти въ отчаяніе. Такимъ чувствомъ люди способны встрѣчать лишь потерю любимой жены, лучшаго друга. Сидя предъ Сафронычемъ на скамейкѣ и запустивъ руки въ длинные растрепанные волосы, о. Кипріанъ не сводилъ съ него глазъ. Онъ самъ давалъ ему лекарство, накладывалъ холодныя примочки и когда тотъ находился еще въ безсознательномъ состояніи, священникъ старался успокоить его, какъ бы желая умалить бредъ больной души. О, какъ чисты, какъ дѣтски-невинны были эти мольбы! «Сафронычъ! Да, что ты—опомнись! Что будетъ съ тобой?.. Какъ можно... Посмотри сюда!.. Голуб-

чикъ, ты нашъ!.. Ахъ, ахъ!..»—И рыданія прерывали рѣчь священника. Онъ оставлялъ свое мѣсто, шагаль по комнатѣ и, нѣсколько успокоившись, опять садился къ больному.

— Господи, прости насъ грѣшныхъ и недостойныхъ!..—обыкновенно въ заключеніе своего успокоенія шепталъ онъ.

И эта скорбь нелегко давалась ему. За эти дни священникъ похудѣлъ; полное лицо его казалось осунувшимся, синева ниже глазъ была замѣтна болѣе, чѣмъ когда либо. Нѣсколько разъ въ день онъ являлся сюда: и рано утромъ, и поздно вечеромъ, не смотря на то, что матушка была недовольна его отлучками... «Нельзя, голубушка, нельзя!.. Нужно посѣтить больного!.. Какъ знать, быть можетъ, въ этомъ—все наше спасеніе...»

Утромъ и вечеромъ батюшка читалъ молитвы отъ имени Сафроныча, нѣсколько разъ служилъ молебень объ исцѣленіи,—въ церкви и въ домѣ больного. Послѣдній молебень вышелъ особенно торжественнымъ: надъ головой иконописца читалось Евангеліе, Сафроныча окропили святой водой... Глубоко вѣруя въ Бога, священникъ прибѣгалъ къ своеобразнымъ религіознымъ дѣйствіямъ и молитвамъ... Приподнявъ одной рукой крестъ, другую же смиренно приложивъ къ груди и повергшись на колѣни предъ образомъ Спасителя, отецъ Кипріанъ то громко, то еле слышно произносилъ: «Господи, Владыко, Вседержителю! Молю Тебя, исцѣли болящаго раба Твоего силою сего прославленнаго, Честнаго

Животворящаго Креста!!.» И потомъ онъ поднимался и клалъ крестъ на открытую грудь больного. Это онъ дѣлалъ троекратно и трижды въ день съ глубокимъ чувствомъ и вѣрой.

Впрочемъ, не однѣ высокія нравственныя качества и обязанности пастыря вызывали священника на такое участіе къ Сафронычу. Даже чувство любви, которую онъ питалъ къ этому человѣку за его нравственную чистоту, не имѣло въ данномъ случаѣ рѣшающаго значенія: безъ сомнѣнія, тутъ было еще и угрызеніе совѣсти. И если о. Кипріанъ не вполне понималъ причину болѣзни иконописца, то во всякомъ случаѣ она не могла остаться для него загадкой. Никто изъ присутствующихъ, въ моментъ подачи больному первой помощи, не обратилъ вниманія на опрокинутый мольбертъ, кромѣ о. Кипріана. Онъ первый поднималъ лежащее на полу изображеніе и не глядя отбросилъ его въ уголъ. Но то, что могъ онъ въ это время лишь предполагать, страшась взглянуть на «Іуду», хотя бы мимоходомъ,— то оказалось несомнѣннымъ на другой день, когда священникъ, выславъ Меланью изъ мастерской, рѣшился, наконецъ, взглянуть на роковой холстъ. Теперь о. Кипріану было понятно, что Сафроныча погубилъ Іуда, этотъ Предатель; этотъ «злочестивый человѣкъ» и въ душѣ батюшки пуще прежняго не оставалось для него сожалѣнія... «Іуда!.. Онъ... онъ...»—съ проклятіемъ шепталъ священникъ.

Но почему же о. Кипріанъ въ гнѣвѣ не казнилъ, не разорвалъ его? Почему такъ боязливо

скользиль его взоръ по поверхности этого ничтожнаго, безжизненнаго холста? Онъ узналъ въ немъ Іуду? Но гдѣ, въ чемъ сказался онъ? Въ общихъ ли чертахъ оригинальнаго лица, или въ глазахъ, исполненныхъ страшной сатанинской власти, какими ихъ такъ упорно представляла жгучая фантазія мастера? Или, быть можетъ, о. Кипріанъ, этотъ невѣжда въ искусствѣ, будучи поклонникомъ пошлаго низменнаго малеванья, за которымъ безвкусые цѣнители установили названіе живописи, замѣтилъ въ Іудѣ малѣйшую искру жизни, ту искру, которая бы на этотъ разъ привела художника въ отчаяніе и которую о. Кипріанъ счелъ за что-то страшное, сверхъестественное, совмѣстимое лишь съ изображеніемъ сатаны?.. Какъ знать, что поразило его! Но уже одно то, до какой степени дрожала его рука, когда онъ схватилъ «Іуду» и сунулъ его подъ полу широкаго подрясника, чтобы унести домой и тотчасъ же, тайкомъ ото всѣхъ, зарыть его въ землю, устроивъ на досугъ въ этомъ мѣстѣ помойную яму,—какой болѣзненный трепетъ во всемъ тѣлѣ ощущалъ священникъ при одномъ лишь прикосновеніи къ похищенному холсту, и какъ на полпути къ своему дому онъ бросилъ его на землю и въ безотчетномъ страхѣ билъ и топталъ ногами,—все это явно доказывало, что въ портретѣ таилось что-то загадочное, что съ такимъ трудомъ далось Сафроничу и чему суждено было такъ скоро и такъ невосвратно погибнуть! Но возможно и то, что у о. Кипріана и въ данномъ случаѣ проявился такой же ложный, ни на чемъ

не основанный страхъ, какой былъ вызванъ въ немъ образомъ Святителя Николая.

Однако, какимъ бы не оказался портретъ Іуды, а о. Кипріанъ одинаково сознавалъ свою вину предъ иконописцемъ, которому онъ первый подалъ несчастную мысль посмѣяться надъ сатаной.

Исходъ болѣзни Сафроныча оказался удачнымъ, хотя осложнившееся воспаленіе глазъ долго не поддавалось леченію. Вообще эта болѣзнь навсегда оставила свои неизгладимые слѣды... Послѣ того потрясенія, какое пережилъ Сафронычъ, едва ли можно было ожидать полного возстановленія силъ.

Зато, съ другой стороны, вліяніе болѣзни на душу больного превзошло ожиданія... Сафронычъ сталъ еще добрѣе, снисходительнѣе,—обратился просто въ «блаженнаго»... Онъ говорилъ еще меньше прежняго, еще тише, чаще улыбался и улыбка эта носила какой-то странный отпечатокъ. Когда онъ глядѣлъ на другихъ, его взглядъ какъ бы говорилъ: «Я знаю вашу жизнь, а моя для васъ—тайна...» И вслѣдъ за этимъ появлялась улыбка—непонятная, подозрительная. Лечившій Сафроныча врачъ, незнавшій его до болѣзни, утверждалъ, что онъ склоненъ къ тихому помѣшательству и что нужно слишкомъ осторожно обращаться съ нимъ. Это по секрету было сообщено священнику. О. Кипріанъ смутился: подобная мысль не приходила ему въ голову, хотя странность поведенія Сафроныча не ускользнула и отъ его вниманія.

Да, много странностей замѣчалось теперь въ этомъ человѣкѣ. Прежде всего, та удивительная страсть къ искусству, которая прежде такъ захватывала его, совершенно исчезла. И въ самомъ дѣлѣ, онъ, такъ долго болѣвшій, ни разу не заикался о желаніи работать... Когда его мучилъ бредъ, онъ еще былъ способенъ на это: искалъ кисть, палитру, воображалъ предъ собой приготовленный для работы холстъ, щурилъ глаза, чтобы привлечь желанный образъ. Тогда же онъ произносилъ слово «Іуда», — то шопотомъ, слегка напрягая зрѣніе, какъ бы желая поймать, приласкать его, — то закрывая руками искаженное отъ волненія лицо, выкрикивалъ это роковое имя.

Но вскорѣ все это прошло: Сафронычъ забылъ объ Іудѣ, не стремился къ своей завѣтной работѣ, даже не вспоминалъ о ней.

Это было великое благо природы, которое еще на время давало ему жизньъ.

ХІІІ.

Нескоро взялся Сафронычъ за живопись. Войдя впервые послѣ болѣзни въ мастерскую, онъ окинулъ ее страннымъ взоромъ и еще болѣе странно улыбнулся. Если бы кто подмѣтилъ этотъ взглядъ, эту улыбку, то навѣрно заключилъ бы, что передъ нимъ стоитъ умалишенный. А между тѣмъ, Сафронычъ понималъ, что комната, куда вошелъ онъ — его мастерская.

Но зачѣмъ онъ вошелъ сюда?—Невѣрующій, не честный человѣкъ, случайно войдя въ великолѣпный храмъ, задаетъ себѣ такой вопросъ.

Дальше Сафронычъ сознаетъ, что онъ иконописецъ, но это сознаніе кажется ему страннымъ, ложнымъ. «Не обманъ ли это?»—думаетъ онъ.—«Нѣтъ, не обманъ!»—говоритъ сознаніе, но говоритъ неувѣренно, боязливо, слабо... «Гдѣ же мольбертъ, кисти, палитра?» И онъ ищетъ эти предметы—находить, разсматриваетъ ихъ. Всѣ они оказываются знакомыми и даже должны быть близкими его сердцу, а между тѣмъ, ему только такъ кажется. «Почему это?» Отвѣта нѣтъ... Онъ беретъ кисть, палитру. На послѣдней сохранился остатокъ засохшей, какъ бы окаменѣвшей краски; настолько же засохшая кисть торчитъ дубьемъ. Но до всего этого ему нѣтъ дѣла. Онъ прикасается кистью къ палитрѣ, подобно тому, какъ омокаютъ ее въ краску,—подходить къ стѣнкѣ, скользить по ней кистью—осторожно, умѣло, какъ бы желая убѣдиться—его ли это занятіе? И вдругъ онъ захоталъ: «Что же можно написать такой кистью?»—воскликнулъ онъ, сознавая ея очевидную непригодность. Онъ осторожно кладетъ палитру и кисть на мѣсто и уходитъ изъ мастерской.

И ни единого глубокаго чувства не было теперь въ этомъ человѣкѣ—того чувства, которое могло бы обрисовать въ его памяти картину прошлаго. Вѣроятно, это прошлое представлялось ему въ формѣ давно минувшаго, забытаго сна и казалось такимъ-же страннымъ, какъ и мас-

терская, палитра, кисть. При всемъ этомъ у Сафроныча положительно не было никакой потребности къ творчеству что, вполне отвѣчало его «блаженному» состоянію. Глядя со стороны на этого человѣка, можно было заключить, что, помимо болѣзни, имъ овладѣла лѣнь, притворство и что этотъ тупой, бессмысленный покой его души оберегался имъ съ цѣлью найти въ немъ такое же удовольствіе, какое раньше испытывалъ онъ въ художественномъ трудѣ.

Наступила осень. Ясные теплые дни сентября, зачастую, бываютъ въ Новороссіи по истинѣ прекрасны. Въ это время жизнь по селамъ бьетъ ключемъ: закончивъ уборку хлѣба, крестьянинъ, какъ вырвавшійся изъ клѣтки звѣрь, торопится жить въ свое удовольствіе... Кабаки переполняются гостями.

Я уже упомянулъ, что противъ усадьбы Сафроныча пріютилось «Распивочно и на выносъ». Этой кличкой еще не такъ давно именовалось у насъ большинство заведеній, цѣль которыхъ—продажа такъ называемыхъ «питей». Но на официальномъ языкѣ эти притоны пьянства носили разныя названія, почему и мнѣ слѣдуетъ пояснить, что сосѣдомъ Сафроныча было не «распивочно и навывносъ», а «винная лавка».

Винныя лавки (не казенныя, конечно, а частныя) были тогда еще новинкой и своимъ появленіемъ произвели фуроръ въ низшемъ классѣ. — «Какъ? Покупать можно, а пить въ шинкѣ нельзя?» — вопили обиженные крестья-

яне.—«И что это за порядокъ? Кто выдумаль-сто?!»—съ дерзостью спрашивали они у кабатчиковъ.—«Нельзи, милые!—успокаивали публику степенные сидѣльцы:—и намъ то это не нравится.. Но что-же? Законъ! правительство»—«А-а!.. Такъ мы будемъ пить на улицѣ, гдѣ попало!»

Такъ и дѣлалось... Улицы, ближайшія усадьбы положительно заполнялись пьющими. Трудно было сѣсть первому, а за нимъ—цѣлая вереница. Находились чудаки, которые сидячей цѣпью пересѣкали улицу, просили выкупъ за проѣздъ и вообще производили тѣ далеко неостроумныя выходки, на которыя такъ гораздъ подвыпившій мужичекъ. Общественная тишина и спокойствіе и безъ того лишь числящіяся по деревнямъ въ глубинѣ никѣмъ невѣдомыхъ «законовъ», тѣмъ болѣе, отошли теперь въ область преданія. Проѣхать ночью мимо «лавки» не было возможности: мужички пили гдѣ попало, какъ бы задавшись цѣлью доказать на дѣлѣ всю несостоятельность ноего законоположенія, и лишь объ одномъ глубокомысленно сѣтовали: «А гдѣ же будемъ пить въ дождь, въ распутицу?»

Между тѣмъ, Сафронычъ сидѣлъ на заваленкѣ собственнаго дома, все такой-же «блаженный», какъ и прежде... Онъ глядѣлъ на винную лавку, улицу, сосѣднія усадьбы. Но не о питейномъ преобразованіи думалъ иконописецъ,—нѣтъ, онъ слѣдилъ лишь за тѣмъ, что, по своей оригинальности, обращало на себя его вниманіе. Эта масса пьющихъ и отпившихъ

людей, какъ забавные муравьи, копошились передъ нимъ. Но что нужды Сафронычу въ этомъ зрѣлищѣ? Разумѣется, никакой нужды ему не было: праздный человѣкъ, живущій какъ бы для личнаго удовольствія, которое онъ находитъ въ своемъ бездѣйствіи, никогда не задаетъ себѣ подобнаго вопроса.

Такимъ человѣкомъ и былъ теперь Сафронычъ. Спокойный и довольный, но все еще слабый послѣ болѣзни, онъ чувствовалъ потребность въ отдыхѣ—и отдыхалъ. Но и это дѣлалось имъ какъ то невольно, безсознательно: такой образъ жизни былъ для него просто пріятенъ, а почему?—онъ самъ не сознавалъ этого. И глядя на праздныхъ и пьяныхъ мужиковъ, онъ какъ бы подкрѣплялъ свой внутренній мірокъ—это тихое, еле осязаемое прозябаніе души. Живописныя группы этихъ людей, оригинальныя фізіономіи, то удовольствіе, которое испытывали они и какъ это удовольствіе сверкало въ ихъ глазахъ,—все это интересовало Сафроныча, все это было ему пріятно. «Хорошо, чортъ возьми!.. Право, хорошо!..»—съ наслажденіемъ шепталъ онъ, приковывая свой взглядъ къ болѣе рельефнымъ, болѣе очаровательнымъ картинамъ.

Прошло нѣсколько дней. За это время Сафронычъ часто заглядывалъ въ свою мастерскую какъ бы стараясь привыкнуть къ ней. Онъ отыскалъ краски, очистилъ палитру, вымылъ и высушилъ кисти. Выраженіе лица его, вся фигура имѣла видъ человѣка, что-то ищущаго, но не дающаго

себѣ отчета въ томъ, что потерялъ онъ и что долженъ найти.

Въ такомъ же странномъ состояніи Сафронычъ однажды взялся за кисть и набросалъ что-то на большомъ холстѣ. Вышла исполинская рука, изогнутая подъ угломъ и одѣтая въ рукавъ мужскаго платья грязно-синяго цвѣта, съ большой живописно-окаймленной дырой, подъ которой виднѣлось грязно-бурое полотно рубахи. Кисть руки какъ бы подергивалась судорогами, что доказывали нервно растопыренные пальцы.

Это была рука пьянаго мужика, стремящагося къ пробужденію.

Какъ то странно, болѣзненно захохоталъ Сафронычъ, окончивъ эту работу. Онъ посмотрѣлъ на изображеніе издали и опять засмѣялся: очевидно, имъ тутъ было найдено что-то знакомое, близкое. Но черезъ нѣсколько минутъ картина исчезла, скрывшись подъ широкими сплошными рядами кисти и какъ бы уйдя въ глубь лоснящагося отъ краски полотна. Казалось, Сафронычъ шутилъ и вдругъ, сознавъ всю безсодержательность своей шутки, уничтожилъ изображеніе, оставилъ кисть и опять усѣлся на заваленкѣ.

Все это входитъ ему въ привычку, дѣлается его страстью. Онъ то сидитъ на заваленкѣ, то появляется въ мастерской и на одномъ и томъ же холстѣ наскоро набрасываетъ самые оригинальные предметы. Осиротѣлый, совершенно изолированный носъ въ формѣ малороссійской «люльки»; изорванный сапогъ, обнаженное колѣно; задняя часть штановъ съ своеобразной про-

рѣхой ниже «очкура» (внутренній поясъ мало-россійскихъ шароваръ),—все это разновременно являлось и исчезало на холстѣ, доставляя иконописцу истинное удовольствіе. Последнее чувство то усиливалось въ немъ, то ослабѣвало, судя по интересу сюжета. Однажды на томъ же холстѣ появился широкій затылокъ человѣческой головы со взъерошенными волосами, толстой загорѣлой шеей, задней стороной одного уха и далеко торчащимъ концомъ богатырскаго уса, а около головы безпомощно валялась огромная баранья шапка съ черными пятнами по грязно-бѣлому фону, и Сафронычъ уже не могъ смѣяться, а весь погрузился въ сосредоточенный восторгъ. Онъ долго любовался картиной, долго стоялъ передъ ней съ занесенной кистью, не имѣя силы уничтожить ее.

Подъ вліяніемъ чего-то пріятнаго, Сафронычъ вышелъ изъ мастерской. Учащенное сердцебіеніе, постукиваніе въ головѣ невольно вызвали въ немъ опасеніе за себя, за жизнь. Онъ старался не думать, не чувствовать, забыть все, поскорѣе уйти отъ этого взволновавшаго его зрѣлища.

XIV.

Осень близилась къ концу. Наступило то непріятное время, въ которое, какъ говорятъ крестьяне, добрый хозяинъ собаки со двора не выгонить. Пасмурное небо, частые то мелкіе, то проливные дожди, холодный вѣтеръ—все это не располагало къ выходу изъ теплыхъ помѣще-

ній. Даже винная лавка опустѣла. Напрасно глядѣлъ на нее Сафронычъ, сидя у окна; шумныя пирушки прошли безвозвратно и скорбный взглядъ иконописца могъ встрѣчаться лишь съ такимъ-же взоромъ кабатчика, нетерпѣливо высовывшаго изъ-за двери свою пронирыливую голову.

Зато по воскреснымъ днямъ, утромъ, Сафронычъ находилъ смыслъ стоять или сидѣть у окна и глядѣть на улицу, гдѣ въ двухъ шагахъ отъ его дома гуськомъ проходила толпа народа, торопившагося въ церковь. Это уже неоднократно служило для него развлеченіемъ. Бабы и дѣвки засматривали въ окна, улыбались; мужики же, какъ болѣе серьезный и занятой народъ, вели себя солиднѣе, лишь изрѣдка оглядываясь по сторонамъ,—что, впрочемъ, нисколько не мѣшало Сафронычу разсмотрѣть ихъ фізіономію, одежду, обувь. Заинтересованный той или иной фигурой, онъ нервно суетился, какъ бы желая остановить прохожаго, и вслѣдъ затѣмъ направлялся въ мастерскую и брался за кисть.

Въ одинъ изъ такихъ воскресныхъ дней сѣдъ-кабатчикъ отперъ лавку и подалъ стоявшему у двери мужику бутылку водки. Это случилось подъ конецъ обѣдни и прохожихъ на улицѣ почти не было. Сафронычъ разсѣянно блуждалъ по комнатѣ, но замѣтивъ кабатчика и гостя, подошелъ къ окну, наблюдая за тѣмъ, какъ первый изъ нихъ получилъ деньги, заперъ лавку и удалился, оставивъ послѣдняго въ недоумѣніи.

Мысль—гдѣ выпить водку въ такое неурочное время?—очевидно, мучила мужика. Онъ присло-

нился къ боковой стѣнѣ лавочки, осматриваясь по сторонамъ и какъ-бы вопрошая себя, насколько онъ застрахованъ отъ взора прохожихъ. Но тутъ соображеніе, должно быть, что-то подсказало ему,—и онъ, озираясь вокругъ, шмыгнувъ во дворъ къ иконописцу и скрылся тамъ подъ навѣсомъ. Сафронычу изъ окна мастерской было удобно наблюдать гостя.

Этимъ гостемъ былъ мѣстный крестьянинъ Никифоръ Забара, извѣстный въ селѣ пьяница и чудакъ, съ своеобразными чертами лица, такимъ же складомъ туловища, походкой. Онъ почти постоянно присутствовалъ въ лагерѣ пьющихъ, но толпа въ большинствѣ случаевъ какъ-то поглощала его. Низенькій, широкоплечій, съ высокою грудью и короткими ногами, при всей юркости своей фигуры, онъ утопалъ въ общей массѣ пьющихъ, характерно перепрыгивая или переползая на колѣняхъ отъ одного изъ нихъ къ другому. Большинство изображеній, какъ на примѣръ, рука пьяницы, стремящагося къ пробужденію и затылокъ со взъерошенными волосами и свалившейся пестрой шапкой были написаны сътогъ о же Забары.

И теперъ въ той же самой огромной, оригинальной шапкѣ съ многочисленными черными пятнами по грязно-бѣлому фону, сидѣлъ онъ въ глубинѣ навѣса, сдвинувъ ее назадъ и подложивъ подъ себя клокъ соломы. Ноги его были характерно растопырены и между нихъ стояла бутылка и рюмка. Онъ еще не наливалъ, не пилъ, а между тѣмъ лицо его уже сіяло при одной мы-

сли о томъ удовольствіи, какое онъ сейчасъ получить.

Съ величайшей осторожностью налилъ Забара рюмку водки, боясь проронить каплю драгоценной влаги, но наливъ ее, онъ не выпилъ, а съ затаенной страстью глядѣлъ въ глубь рюмки. О, какой безконечно-отрадной, должно быть, казалось она! Какъ сверкали его глаза, какъ затаенно учащалось дыханіе, когда онъ подносилъ рюмку ко рту, прикасался губами и затѣмъ глоталъ!..

Но не меньше удовольствія и тревоги испытывалъ и Сафронычъ, стоя у окна мастерской и глядя на эту картину. Опасаясь быть замѣченнымъ, онъ то глядѣлъ украдкой, то совсѣмъ прятался за стѣнку, но по мѣрѣ того, какъ пьющій входилъ въ свою роль, терялъ осторожность и Сафронычъ. Онъ увлекался этой картиной, онъ понималъ ее. Она поражала его своей оригинальностью, богатымъ подборомъ красокъ. И когда наступилъ существенный моментъ, этой сцены, Сафронычъ засуетился и, казалось, готовъ былъ выскочить въ окно, чтобы поближе разглядѣть гостя, сѣсть рядомъ съ нимъ; но благоразуміе удержало его и онъ остался въ мастерской, пока Забара, покосившись со своимъ дѣломъ, неспѣша ушелъ домой.

Прошла недѣля. Морозы понемногу сковывали землю; все чаще и чаще показывался въ воздухѣ снѣжный пушокъ. Сосѣдь-кабатчикъ видимо повеселѣлъ: съ улучшеніемъ погоды, улучшались и его шансы на торговлю. Дѣйствительно, пью-

шая публика замѣтно увеличивалась, хотя прежняго разгула уже не было: дѣло шло какъ-то вразсыпную—лица смѣнялись лицами.

Сафронычъ попрежнему стоялъ у окна, но его уже не занимала эта смѣна лицъ: онъ искалъ иного. Съ той поры, какъ забрался къ нему въ сарай оригинальный гость, Сафронычъ не могъ изгнать его изъ своей памяти. И еще тогда у него блеснула мысль написать портретъ Забары, не измѣняя ни на іоту того, что онъ подмѣтилъ въ немъ:

На землѣ клохъ соломы, а на немъ сидитъ этотъ богатый, этотъ живописный оригиналъ. Положеніе ногъ, шапки, а затѣмъ главный моментъ сцены—все это должно остаться безъ измѣненія. Сафронычъ хотѣлъ было приступить къ дѣлу, приготовилъ холстъ, нѣсколько разъ заглядывалъ въ сарай, наконецъ, рѣшилъ еще разъ взглянуть на Забару, поговорить съ нимъ. Въ теченіе всей послѣдующей недѣли, въ разное время дня, онъ подходилъ къ окну, но ожидаемаго гостя не было.

Сафронычъ чувствуетъ досаду, нетерпѣніе, берется за кисть; а дня два-три спустя опять появляется Забара.

Утромъ у дверей винной лавочки показался кабатчикъ, а за нимъ, какъ-то лѣнливо переступая съ ноги на ногу, шагаль Забара. Первый о чемъ то допрашивалъ мужика, а послѣдній увѣрялъ. Кабатчикъ зашелъ въ лавку, взялъ бутылку водки, но прежде чѣмъ отдать ее покупателю, протянулъ другую руку, какъ это дѣлаютъ при полу-

ченіи денегъ. «Что, не вѣришь?—воскликнулъ обиженный Забара:—деньги есть, давай водку!»— Но кабатчикъ водки не далъ и, ловко сдѣлавъ шагъ назадъ, остался въ лавкѣ, захлопнувъ за собою дверь. Сильная злоба овладѣла мужчиномъ. Онъ готовъ былъ броситься, чтобы разбить дверь, разгромить лавку, но вмѣсто этого нѣсколько бранныхъ восклицаній вырвалось у него изъ устъ и онъ, погрозивъ въ воздухѣ богатырскимъ кулакомъ, быстро зашагалъ по улицѣ.

— Эй, послушайте, какъ васъ?! Дядюшка! пожалуйте сюда! Есть дѣло... важное, ей-Богу!— умоляюще вопилъ Сафронычъ, выбѣжавъ изъ дому вдогонку за мужчиномъ.

Крестянинъ уже успѣлъ отойти шаговъ сорокъ, но услышавъ зовъ Сафроныча, остановился; уступая просьбамъ иконописца, онъ зашелъ къ нему въ домъ.

Сіяющій отъ радости Сафронычъ не зналъ съ чего начать и какъ объяснить гостю причину приглашенія. Забара тоже стоялъ въ недоумѣніи, рассматривая потолокъ и стѣны мастерской и не выпуская изъ рукъ своей огромной шапки. Но тутъ Сафронычъ напѣлся: онъ мигомъ выбѣжалъ изъ мастерской, принесъ бутылку водки, досталъ хлѣбъ, пару огурцовъ и все это поставилъ на столъ. Забара чувствовалъ себя неловко, но послѣ первой рюмки это исчезло. Хозяинъ и гость разговорились и какъ бы поняли другъ друга.

Только теперь Сафронычъ пояснилъ, въ чемъ

заключается его дѣло; онъ просилъ продать картофеля.

— Хорошо! Надняхъ завезу самъ,—увѣрилъ гость, тронутый гостепріимствомъ иконописца.

— Пожалуйста! Я ужъ не забуду васъ! Повѣрьте заплачу!.. отблагодарю, какъ пожелаете!—твердилъ послѣдній.

Забара сдержалъ слово и вскорѣ явился къ Сафронычу съ мѣшкомъ картофеля и горшкомъ творога, привезенныхъ имъ въ залогъ будущаго знакомства. Сафронычъ совсѣмъ растерялся: такой щедрости онъ не ожидалъ отъ мужика.

— Ахъ, зачѣмъ! Пожалуйста, не нужно!—лепеталъ онъ.—Ну, картофель я просилъ, а остальное?.. Къ чему-же?

Послѣдовало новое угощеніе и полилась пріятельская, задушевная бесѣда. Мужикъ уже не стѣснялся, велъ себя свободно, обнаруживая страсть къ водкѣ, остроту ума, цѣльность натуры. Сафронычъ наблюдалъ за нимъ съ величайшимъ вниманіемъ, всматриваясь, главнымъ образомъ, въ лицо гостя, въ которомъ дѣйствительно было много оригинальнаго.

Заманчивѣе всего оказались глаза Забары. Они глубже обыкновеннаго сидѣли въ орбитахъ и почти наполовину закрывались вѣками, что дѣлало ихъ насмѣшливыми, ядовитыми. Темно-синій цвѣтъ этихъ глазъ свидѣтельствовалъ на первый взглядъ какъ бы объ одной лишь душевной добротѣ мужика, но въ глубинѣ ихъ скрывалось что-то властное, непобѣдимое, говорившее о присутствіи сильной страсти. Эти

глаза по своей подвижности и юркости напоминали собой пару крошечныхъ звѣрковъ, содержимыхъ въ засадѣ,—что въ особенности замѣчалось, когда въ нихъ выражался восторгъ, упоеніе.

Такимъ образомъ, всѣ условія благопріятствовали Сафронычу къ достиженію намѣченной цѣли. Никифоръ Ивановичъ (какъ величался Забара) далъ слово являться къ Сафронычу всякій разъ, какъ только встрѣтится въ немъ надобность. Онъ уже зналъ, что съ него пишутъ портреты и окончательно пришелъ въ восторгъ, когда Сафронычъ сказалъ ему, что изобразить его съ рюмкой въ рукѣ.

Сафронычъ посадилъ Забару въ углу мастерской, на соломѣ, придавъ одеждѣ и всей фигурѣ его самое живописное положеніе: оно было тѣмъ же самымъ, въ какомъ иконописецъ уже наблюдалъ Забару, лишь съ нѣкоторыми измѣненіями въ мелочахъ.—На полу, между ногъ, стояла бутылка; налитая рюмка оставалась на полпути ко рту. Лишь не было прежняго выраженія глазъ—страстнаго, хищнаго, смѣнившагося теперь инымъ—сытымъ, насмѣшливымъ. Не страстнаго пьяницу представлялъ изъ себя Забара, а скорѣе челоуѣка, глумящагося надъ пьянствомъ; но для Сафроныча и этого было достаточно. Внутренняя жизнь оригинала, которая въ данномъ случаѣ должна была сказаться больше всего въ изображеніи глазъ, оставлена художникомъ въ заключеніе работы, теперь же нужно было уловить однѣ формы, однѣ физическія черты.

Забара оказался хорошимъ натурщикомъ.

— Долго-ли «ее» держать, или можно выпить?—съ улыбкой спрашивалъ онъ у Сафроныча и, не ожидая отвѣта, ловко опрокидывалъ рюмку въ ротъ.—А теперь можно еще налить и еще поддержать!—заклучалъ онъ.

Сафронычъ улыбался.

Прошла зима. Наступили чудные весенніе дни, а портретъ все еще не былъ готовъ. Прежде Сафронычъ, какъ и всѣ иконописцы-ремесленники, работалъ поспѣшно, не просиживая больше мѣсяца за однимъ произведеніемъ. Теперь же трудъ его носилъ иной характеръ: раньше чѣмъ перевести на холстъ какую-либо черту оригинала, Сафронычъ старался глубоко прочувствовать ее—вселить себѣ въ душу, и только послѣ этого, какъ нѣчто родное, общее съ его существомъ, переносилъ на холстъ. Поэтому то Сафронычъ нерѣдко просиживалъ въ задумчивости по цѣлымъ часамъ, опуская кисть и какъ бы думая о чемъ-то совершенно иномъ. И только по мѣрѣ приближенія работы къ концу, онъ все болѣе и болѣе оживлялся: кисть двигалась быстрѣе, порывистѣе, во всемъ существѣ художника чувствовалась лихорадочная напряженность, являвшаяся помимо его воли. И болѣе всего онъ боялся теперь этой жгучей напряженности. Ему казалось, что съ потерей самообладанія, онъ потеряетъ все. «Не торопись! Успокойся! А иначе все пропадетъ...»—шепталъ ему на ухо въ подобныхъ случаяхъ чей-то вѣщій голосъ. И Сафронычъ съ усиленіемъ оставлялъ кисть и, закрывая лицо руками, отходилъ отъ холста.

Но вотъ все кончено. Портретъ готовъ.

И до чего чуднымъ, могущественнымъ оказалось это произведение! Правда, какъ копія чело-
вѣка, съ котораго былъ снятъ портретъ, его
нельзя было назвать безупречнымъ трудомъ ма-
стера, но какъ свободное, чисто-художественное
созданіе кисти, портретъ не оставлялъ желать
лучшаго. На обширномъ холстѣ, во всю свою ве-
личину сидѣлъ мощный герой Украйны, типич-
ный оборвышъ-гайдамака. Сходство съ оригина-
ломъ проглядывало во всемъ портретѣ: черты ли-
ца, шалка, одежда—все это было собственностью
Забары. Но это сходство замѣчалось лишь въ
общихъ чертахъ; въ отношеніи же идеи портретъ
значительно разнился отъ оригинала, будучи
болѣе цѣльнымъ, болѣе художественнымъ типомъ.
Глубокая оригинальность лица, его мужество,
степень физической силы, проглядывавшей во
всемъ—въ шеѣ, плечахъ, богатырской груди,
мускулахъ лица, даже въ складкахъ одежды,—
наконецъ, небрежно раскинутыя пряди истинно-
запорожскихъ усовъ,—все это такъ рельефно, такъ
неоспоримо свидѣтельствовало, что оригиналъ былъ
представленъ на холстѣ не въ безупречной точ-
ности, а въ томъ высшемъ фазисѣ своего разви-
тія, до котораго онъ могъ бы дойти. Потому-то
портретъ и изображалъ собой не мирнаго крестья-
нина съ отпечаткомъ лѣнивой страсти, а исто-
рическаго героя-забуддугу.

Какъ передать словами ту степень наслаж-
денія, какая имѣла мѣсто въ душѣ Сафроны-
ча! Прислонясь къ стѣнѣ, онъ, точно окаме-

нѣлый, стоялъ неподвижно, впиваясь глазами въ портретъ. И что значила для иконописца вся его прошедшая жизнь, съ ея радостями, наслажденіями? Насколько онѣ казались теперь жалкими, ничтожными! И онѣ, какъ бы инстинктивно искалъ въ своей душѣ мѣста зажившихъ ранъ, мысленно лобзая ихъ, обливая ихъ чистой слезой неизъяснимаго восторга. Опустившись на стулъ и все еще глядя на портретъ, онѣ не имѣлъ силы отвести свой взоръ отъ холста; онѣ придвинулъ его къ постели и опять глядѣлъ, какъ бы не вѣря своимъ глазамъ, собственному чувству. Только сонъ, исполненный такихъ-же блаженныхъ грезъ, нѣсколько умѣрилъ проявленіе этой дѣйствительности.

Но какой ударъ ожидалъ Сафроныча по утру слѣдующаго дня!

Нужно сказать, что Меланья въ началѣ болѣзни мужа нѣсколько измѣнилась было къ лучшему, но по мѣрѣ выздоровленія Сафроныча, впечатлительность ея все болѣе и болѣе ослабѣвала. Къ тому же надежда на то, что Сафронычъ можетъ дать средства къ безпечальному житію, теперь въ ея глазахъ навсегда рухнула. Это злило ее, приводило подчасъ въ бѣшенство, вызывало потоки брани, проклятій. «Нѣтъ, лучше пусть пропадетъ, чѣмъ этакъ мучить себя и другого!»—рѣшила она, глядя на тощую фигуру Сафроныча и потерявъ къ нему всякое сожалѣніе. Эти приступы досады, ненависти были иногда до того сильны, что Меланья рыдала, какъ безутѣшный ребе-

нокъ, не скрывая даже отъ о. Кипріана своихъ чувствъ къ мужу. Она старалась убѣдить священника, что она глубоко несчастна, что ей остается одно—повѣситься. О. Кипріанъ умолялъ ее не говорить этого, просилъ любить и беречь Сафроныча, обѣщалъ въ награду спасеніе души, «царство небесное» и прочія блага.

— Не буду смотрѣть за нимъ! Ей-Богу, не буду!.. Крестъ меня накажи!..—въ бѣшенствѣ отвѣчала она.—Пусть пропадаетъ!.. Такъ ему и нужно, окаянному!..

И опять слышались рыданія, настолько же бурныя, неудержимыя, какъ и ея дикая воля, какъ и вся душа этой женщины. Закрывая лицо руками, она металась по комнатѣ, рвала на себѣ волосы. Впрочемъ, такой усиленный приступъ отчаянья случился съ ней лишь однажды, да и то по винѣ о. Кипріана, вздумавшаго насильно подчинить ее законамъ благоразумія. Перейдя границы умѣренности, священникъ наговорилъ ей всякихъ страховъ: «Тебя отдадутъ подъ судъ!. Ты будешь посмѣшищемъ между людьми!.. Я отлучу тебя отъ церкви!» Когда же на другой день священникъ объявилъ Меланѣ, что ей ввѣряется печенье просфоръ, хотя «по закону» этого удостоиваются только вдовы духовнаго званія, она какъ бы очнулась. Участіе о. Кипріана нѣсколько тронуло ея черствое сердце.

Послѣ этого Меланя была сдержаннѣе и если не съ любовью, то во всякомъ случаѣ, съ терпѣніемъ присматривала за Сафронычемъ.

Но примиреніе продолжалось недолго. Узнавъ

о послѣдней работѣ мужа, Меланья еще съ большею энергіей вступила въ свои права. «Значить, иконъ писать нельзя, а «выводить» пьяницъ можно?.. На то боленъ, а на это здоровъ?» — злобно шептала она, увидѣвъ однажды въ мастерской большой холстъ, на которомъ уже успѣла расположиться фигура Забары. «Значить, ему нравится, что я работаю?.. Значить, онъ думаетъ, что я буду кормить его? Нѣтъ, погоди! Я за все поквитаюсь съ тобою, окаанный!»

Меланья не разъ уже хотѣла было броситься къ мольберту, чтобы изорвать въ клочки красовавшееся на немъ изображеніе, но ей, очевидно, что-то мѣшало осуществить этотъ планъ. По ея искаженному гнѣвномъ лицу и холодной эгоистической улыбкѣ, можно было заключить, что для Сафроныча готовится что-то еще болѣе ужасное, что успѣлъ создать злой геній этой женщины. Она еще нѣкоторое время тайкомъ слѣдила за работой мужа и когда портретъ Забары былъ готовъ и, предвинутый къ постели художника, казалось, навѣвалъ на него блаженные сны, въ мастерской появилась Меланья. Она шла на цыпочкахъ, съ искаженнымъ отъ злобы и нетерпѣнія лицомъ.

Было 6 часовъ утра. Сафронычъ спалъ... Что-то глубоко-мирное и не менѣе блаженное сказывалось въ его лицѣ. Наслажденіе, съ такой силой овладѣвшее имъ наканунѣ, все еще не оставляло его.

Меланья подошла къ постели мужа, произнесла что-то въ родѣ «кхи!» и убѣдившись, что

Сафронычъ спитъ, бросилась къ портрету съ большимъ желѣзнымъ костылемъ.

Насталъ роковой моментъ. Словно отъ удара пули, «Забара» лишень былъ одного глаза. Искаженный портретъ принялъ странное выраженіе и казалось готовъ былъ вскрикнуть отъ причиненной ему боли. Прошла еще минута—и художественное произведеніе мастера, стоившее ему столько труда и времени, обратилось въ безобразную, ничего невыражающую карриатуру. Глаза замѣнились двумя зіяющими дырами; носъ, ротъ исчезли: ихъ скрыли двѣ широкія полосы густой грязно-желтой вохры, соединяющіяся у рта подъ прямымъ угломъ. Такая же полоса краски въ формѣ подковы скрывала верхнюю часть лба. И ничего не уцѣлѣло, все погибло!.. Хотя бы капля творчества, хотя бы легкая, мимолетная тѣнь его сохранилась на холстѣ!..

Закончивъ свое дѣло, Меланья стояла неподвижно, измѣряя взглядомъ то спящую фигуру мужа, то обезображенные остатки его излюбленного произведенія. Что-то страшное, всеразрушающее сверкало въ ея черныхъ, выпученныхъ глазахъ. Дикая злоба, какъ-бы уступившая свое мѣсто чувству удовлетворенной мести, никогда, вѣроятно, ни достигала въ этомъ чудовищѣ такой поразительной степени развитія, какъ это было теперь. И эта злоба, эта кипучая страсть сказывалась не въ одной лишь фізіономіи Меланьи: порывистое, бурно-клокочущее дыханіе, судорожное движеніе груди, вся ея фигура—не исключая даже неряшливыхъ складокъ гряз-

ной одежды—говорила за присутствіе въ ней этой злобы, страсти, напоминая собой воплощеніе злого генія, духа тьмы. И этотъ геній, этотъ злой духъ торжествовалъ!..—Что испытывалъ Сафронычъ, создавая портретъ, то-же самое, если еще не больше, чувствовала и Меланья, разрушая его.

Желая убѣдиться воочію, какъ все это по-дѣйствуетъ на мужа, Меланья присѣла за обезображеннымъ портретомъ и загремѣла стуломъ, чтобы разбудить мужа.

Сафронычъ проснулся. Меланья, съ затаеннымъ дыханіемъ, наблюдала за нимъ, глядя то въ одну, то въ другую дыру портрета.

Несчастный открылъ глаза, бросилъ въ пространство безцѣльный взглядъ,—какъ это почти всегда дѣлаютъ проснувшіеся въ моментъ пробужденія,—и опять сомкнулъ вѣки, какъ бы засыпая. Широкая лучезарная улыбка украсила его блѣдное, спокойное, дѣтски-невинное лицо. И ни малѣйшей тѣни душевнаго разлада, безпокойства, даже физической усталости не замѣчалось на этомъ, какъ бы высѣченномъ изъ мрамора, величавомъ лицѣ, замершемъ отъ счастья, упоенія.

Но вотъ онъ опять открываетъ глаза, опять тотъ-же безцѣльный, мимолетный взглядъ на мигъ брошенъ въ пространство,—та же спокойная, лучезарная улыбка. За этимъ—невольное движеніе длинныхъ, исхудалыхъ рукъ, всего тѣла, поворотъ головы, быстрый взглядъ на портретъ...

Страшная буря, казалось, должна была разразиться въ этотъ моментъ... Двѣ враждебныя

силы человѣческаго духа—всесозидающая и все-разрушающая—столкнулись грудью, какъ два богатыря и все окружающее должно было пасть, разрушиться отъ этого столкновенія «стихій».

Что-то слабое, бессмысленное—не то восклицаніе, не то стонъ, не то отдаленный гулъ глухого удара—вырвалось изъ груди Сафроныча, вырвалось на мигъ и, какъ искра, погасло!..

XV.

Прошло четыре мѣсяца. Стояла глубокая осень. На угрюмомъ свинцовомъ небѣ не оставалось пятнышка—ни малѣйшаго слѣда отъ чарующей взоръ, чудной лазури, еще не такъ давно дни и ночи не перестававшей глядѣть своимъ безконечно-глубокимъ и чистымъ, какъ хрусталь, куполомъ на село Горошки, какъ бы убаюкивая его... Взамѣнъ этой лазури, этой величавой, вѣчно-юной красы южнаго неба, надвинулась надъ землей, какъ ладъ лицомъ великана, косматая шапка, опускавшаяся все ниже и ниже. Казалось, что этотъ мрачный куполь осенняго неба надвигался на землю, какъ бы стремясь всею своей тяжестью, своей сырой, холодной грудью прижаться къ груди земли, чтобы не дать ей жить, лишить ее свѣта, тепла, покрыть и безъ того озябшее лицо этой страдальницы-земли густымъ холоднымъ туманомъ или размыть потоками ливня. И это насиліе надъ собой, этотъ гнетъ осенней непогоды чувствовали

и люди, и животные, и растенія—вся природа—и эта раскисшая, обратившаяся въ сплошную лужу грязи земля,—все-все, повидимому, отказалось отъ жизни, погружившись въ спячку подъ давленіемъ глубокой осени.

Въ такой угрюмый день ноября, часовъ въ десять утра, къ дому Сафроныча подъѣхала телѣга, запряженная тройкой обывательскихъ лошадей. На передкѣ телѣги, до-верху наполненной соломой и закрытой войлокомъ, сидѣлъ возница, спустивши ноги къ лошадинымъ хвостамъ. За телѣгой шли староста и два полицейскихъ—«сотскій» и «десятскій». Всѣ трое съ знаками на груди, присвоенными ихъ служебному положенію.

Когда телѣга подъѣхала къ дому Сафроныча, сопровождавшіе ее староста и полицейскіе остановились въ раздумьи и молча, глядѣли то на закрытыя двери и окна дома, то на землю, то другъ на друга. Сидѣлъ молча и возница, съдой угрюмый дѣдъ, устремивъ свой взоръ въ лошадиные хвосты. И хотя бы однимъ словомъ, однимъ звукомъ или малѣйшимъ движеніемъ выдали бы себя эти люди, настолько же унылые и холодные, какъ и висѣвшее надъ ними свинцовое небо, какъ и вся окружавшая ихъ природа,—выдали бы себя въ томъ, зачѣмъ они сюда явились...

Но вотъ въ домѣ иконописца скрипнула дверь: вышли врачъ и фельдшеръ. Послѣдній осторожно велъ подъ руку гибкаго и тонкаго какъ трость человѣка, очевидно больного, одѣтаго въ теплую рясу и мѣховую шапку о. Кипріана и

совершенно утопавшаго въ этой одеждѣ. За ними вышла старушка-крестьянка, и всѣ четверо, подойдя къ телѣгѣ, остановились...

— Можетъ быть, того... Мнѣ не зачѣмъ ѣхать?—обратился фельдшеръ къ врачу.—Глядите, какой онъ тихій, покорный... Звука не издастъ ненормальнаго... Только и дѣлаетъ, что ищетъ... все ищетъ любимый портретъ.

— Да. Опять ищетъ...—процѣдилъ врачъ въ раздумьи.—Опять распахиваетъ полы. Подпоясайте его,—прибавилъ онъ, обращаясь къ фельдшеру.


Когда подпоясывали больного, послѣдній оставался неподвижнымъ, какъ послушный ребенокъ, и лишь потомъ, когда фельдшеръ сдѣлалъ свое дѣло, больной опять засуетился, попрежнему разыскивая что-то вокругъ себя...

Кто же этотъ больной и что ищетъ онъ?

Присмотритесь ему въ лицо: въ эти искрящіеся, напряженные глаза, въ эти блѣдныя, дрожащія губы,—поймите, наконецъ, упорное желаніе этого человѣка отыскать «что-то»,—и вы узнаете въ немъ сумасшедшаго.

Не Сафронычъ ли это?

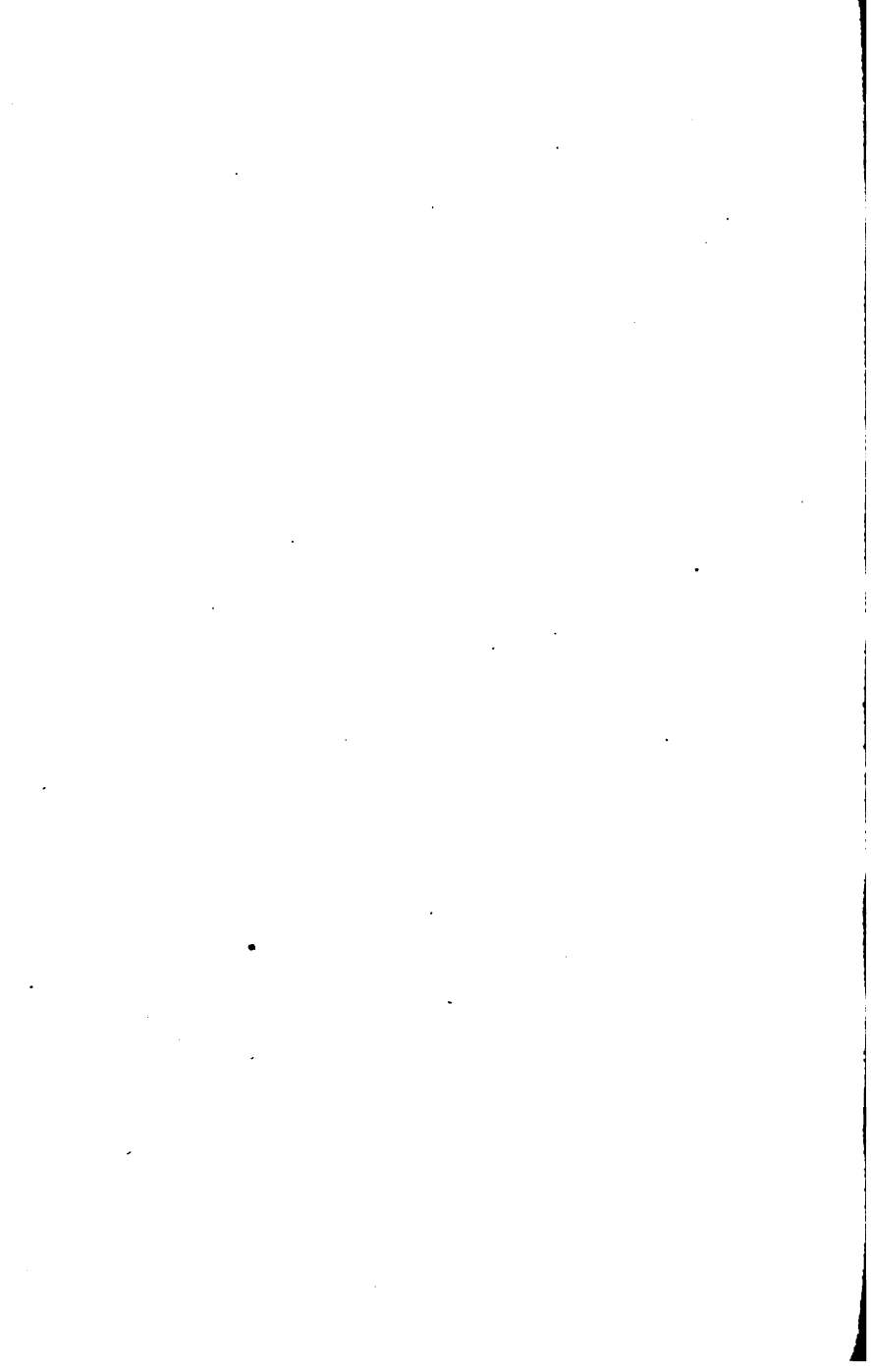
Да, это былъ онъ, Сафронычъ, Горошковскій иконописецъ... котораго отправляли въ «губернію», въ домъ умалишенныхъ...





КУПЕЦЪ КОЗЫРЕВЪ





КУПЕЦЪ КОЗЫРЕВЪ

I.

Въ уѣздномъ городишкѣ жила бѣдная мѣщанка по имени Марѳа. Ни отчества ея, ни фамиліи, казалось, никто не зналъ, и всѣ, старъ и младъ, называли ее «Марѳой»... Понятно, богатаго человѣка и заочно величаютъ всѣ по имени и отчеству; бѣдняка же, если и въ глаза назовутъ просто по имени, то и за то спасибо!..

Мужъ Марѳы былъ отставной солдатъ. Еще въ бытность свою «на службѣ» онъ заболѣлъ на глаза, вышелъ въ запасъ и вскорѣ ослѣпъ. Заголосила бѣдная Марѳа отъ такого несчастья! Но слезы горю не помощь! Женщина она была добрая, не захотѣла пустить мужа съ сумой,—дала обѣщаніе смотрѣть за нимъ и кормить своими трудами.

Какъ жилось Марѳѣ, понятно каждому. Правда, она была и честная, и работающая, но предаться всецѣло труду мѣшала ей семья: у нея, на несчастье, было трое дѣтей. И работала Марѳа такъ, чтобы быть и у людей, и дома. Съ утра уходила она къ какой-либо зажиточной хозяйкѣ, помогала ей на дворѣ или въ кухнѣ, а на обѣдъ

торопилась домой и приносила семьѣ кусокъ хлѣба.

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Дѣти Марѣи подросли. Старшая, тринадцатилѣтняя дѣвочка, была уже примѣрной умницей; второй же было лѣтъ одиннадцать.

Дочерямъ своимъ Марѣя отъ души была рада: онѣ во многомъ помогали ей. Одна изъ нихъ служила у людей въ нянькахъ, за что и получала небольшую плату, другая же смотрѣла за домомъ. Только со своимъ сыномъ Филькой не могла сладить Марѣя.

Это былъ мальчуганъ лѣтъ девяти—живой, шаловливый и, къ несчастью, очень прожорливый. Ежедневно онъ встрѣчалъ мать еще на улицѣ, какъ собачонка бросался къ ней, хваталъ изъ передника куски хлѣба, пожиралъ ихъ и опять просилъ. Марѣя не жалъ было этихъ хлѣбныхъ обломковъ, хотя и не легко добывались они, но ей, какъ матери, больно было имѣть такое ненасытное дѣтище. Она бранила его, трепала за волосы, била по губамъ, но ничто не помогало: Филька былъ упрямъ и злонаравенъ. Если мать настаивала на своемъ и не удовлетворяла его желанію, онъ выбѣгалъ на улицу, валялся въ пыли или въ грязи, обрывая на себѣ послѣднія лохмотья. Тогда ни побои, ни просьбы и ласки матери,—ничто уже не могло смирить его. Напрасно ожесточенная Марѣя таскала его во дворъ, пихая ему въ ротъ куски хлѣба,—упрямый мальчуганъ не принималъ уже этого угощенія, а дѣлалъ что хотѣлъ...

Во время отсутствія матери Филька продѣлывалъ дома всякаго рода проказы: воровалъ у сосѣдей овощи и фрукты, бросалъ въ прохожихъ камнями, пугалъ лошадей, травилъ собаками идущихъ съ пастбища свиней и коровъ, дразнилъ нищихъ,—словомъ, былъ мастеръ на все то, отъ чего обливается кровью многострадальное материнское сердце... Много, конечно, попадало за это Филькѣ и отъ матери, и отъ постороннихъ, что отчасти видно было по оттянутымъ, какъ тряпки, ушамъ,—но онъ былъ неисправимымъ и даже чѣмъ дальше, тѣмъ становился хуже...

— Одинъ грѣхъ, а не мальчикъ!—не разъ говорила Марѳа.—Господи! за что Ты наказалъ меня? Я и такъ во всемъ несчастна! Избавь меня хотя отъ этого... приberi отъ меня разбойника Фильку!..

Но Филька росъ не по днямъ, а по часамъ, никогда не болѣлъ и все больше требовалъ для себя кусковъ хлѣба.

И рѣшила бѣдная мать отдать своего сына людямъ. «Но кто возьметъ его?—думала она.—Кому нуженъ этотъ неугомонный уродъ? Развѣ пойти къ Зажирихину и опредѣлить въ дворню? У него вѣдь много всякихъ мальчишекъ на воспитаніи. Охъ, только и онъ не захочетъ! Ну, ужъ что будетъ—пойду!»

Принарядила Марѳа Фильку: сшила ему новую рубашонку, одѣла новый пиджачокъ и штанишки, вымыла его, причесала и повела къ Зажирихину. Не могъ сообразить Филька, изъ-за чего къ нему такая милость, и неоднократно

спрашивалъ у матери: «Куда идемъ, мама?» Когда же мать, скрывая пока свое намѣреніе, сообщила, что идетъ на базаръ, Филька просіялъ отъ радости: у него зародилась мысль стащить тамъ вязку бубликовъ. Филька уже обдумалъ планъ, какъ онъ это сдѣлаетъ, воображалъ, съ какимъ наслажденіемъ будетъ вкушать бублики: сначала съѣстъ одинъ, потомъ—другой, затѣмъ подумаетъ, что ихъ больше нѣтъ, и съѣстъ опять одинъ... «Ну, а если, не думая, сразу съѣстъ всю вязку? Тогда, навѣрно, покажутся еще вкуснѣе?»

Не то думала горемычная мать! Она глядѣла на своего Фильку и не могла наглядѣться: никогда еще онъ не былъ ей такъ милъ и дорогъ! Вся фигура его, всѣ движенія казались теперь исполненными прелести, точно она все время была слѣпа,—не видѣла и не замѣчала ихъ! Крупная слеза пробѣжала по ея лицу,—одна изъ тѣхъ чистыхъ материнскихъ слезъ, живой родникъ которыхъ можно сыскать въ сердцѣ каждой женщины-матери, какъ бы ни было грубо, какъ бы ни было убито горемъ это материнское сердце!.. И Марѳа готова была обнять Фильку, разрыдаться, убѣжать домой; но представленіе о томъ, чѣмъ бы онъ наградилъ ее, валяясь въ пыли и разрывая на себѣ платье, нѣсколько охладило ея чувства... Она пересилила себя и вошла въ домъ къ купцу.

— Сдѣлайте милость, Ѳома Поликарповичъ!— въ волненіи проговорила Марѳа и, не высказавъ своей просьбы, зарыдала.

— Ну, ужъ пожалуйста! Просимъ извинень-

ица!.. Рѣчь ва-аша-съ намъ напередъ понятна!.. Навѣрно, ужъ несчастье... займите, молю, деньжонокъ... Уходи, у меня не казначейство!..

— Нѣтъ, Ѳома Поликарповичъ, просить денегъ я не стану!—проговорила Марѳа, нѣсколько оправившись отъ слезъ и душевно негодуя на подавляющія ее чувства.—Я вотъ пришла насчетъ мальчугана... Хотѣла отдать на воспитаніе...

— Во-но что! Даже на воспитаніе? Ты, вѣрно, думала сказать—«въ услуженіе», то-есть на службу?

— Да, да... Вамъ, значить... Въ ваше полное распоряженіе... Какъ вашей милости угодно будетъ...

— Угодно-то, говоришь, угодно! Легко вѣдь сказать!.. А вотъ въ томъ-то и бѣда, что совсѣмъ не угодно! Какая изъ него служба? Онъ еще такъ малъ...

— Разумѣется, Ѳома Поликарповичъ,—десять годочковъ... Но онъ мальчуганъ шустрый... Можетъ уже...

— Вотъ-вотъ, знаемъ! Вы-то, матери, всѣ говорите, что дѣтки ваши и то, и другое могутъ,—прервалъ Зажирихинъ рѣчь Марѳы.—А я ихъ, прохвостовъ, раскусилъ по-своему! Кажется не одного бобыля выкормилъ на своемъ вѣку... А что изъ нихъ пользы? Изволь, разсуди сама! Какъ зовутъ тебя?

— Марѳой...

— Ладно! Твоего сына, Марѳа, годъ-два нужно кормить такъ, за спасибо! А брюхо у него не малое: сама вѣдь знаешь, что жретъ онъ за ста-

раго! У меня же (пусть говорятъ, что я богатый!) ничего даромъ не дается: баловства не терплю! Теперь погляди на примѣръ... Есть у меня Куропатка... Какъ тебѣ кажется, что бы это была за Куропатка?..

— Богъ знаетъ, Ёома Поликарповичъ... Птица, вѣрно, такая...

— Нѣтъ, голубушка, ты совсѣмъ безъ догадки... Эй, Куропатка, гдѣ ты? Поди сюда!

Въ комнату вбѣжала небольшая собака и бросилась къ ногамъ хозяина.

— Ха-ха! Вотъ вишь, что за Куропатка... Собака, значить, такая!.. И ты думаешь своимъ бабьимъ разумомъ, что я содержу ее для баловства, ради шутокъ, то-есть? Нѣтъ, извини! Этого у меня не водится! Эта самая Куропатка вѣрная слуга... Ложусь спать, и она тутъ... «Куропатка! Туфли Ёомѣ Поликарповичу»,—значить, такъ ей приказываю,—и сейчасъ же преподносить...

Собака бросилась въ другую комнату и притащила туфли.

— Вишь, вишь,—тащить!—въ восторгѣ продолжалъ Зажирихинъ.—Нѣтъ, голубушка, благодаримъ-съ! Не трудитесь! Я говорю это къ примѣру,—учу, значить, какъ на свѣтѣ жить слѣдуетъ... Да... Но слушай же,—продолжалъ купецъ, обращаясь къ Марѣ:—потомъ снимаю сапоги и опять говорю Куропаткѣ: «А эти сапоги отнеси Ванькѣ... Да пусть хорошенько вычистить, чертовское отродье! Чтобы блестѣли, какъ зеркальце...» Куропатка несетъ. Во-но что за птица,

моя Куропатка!.. А ѣсть совсѣмъ мало: двѣ-три косточки въ день и сыта.

Зажирихинъ замолчалъ.

— Да, извѣстно, Ѳома Поликарповичъ...

— Нѣтъ, не «извѣстно»! Погоди, сударыня! До этого еще далеко... Я еще не досказалъ тебѣ, почему, значить, наблюдается у меня аккуратность этакая... Слушай.

Тутъ Зажирихинъ съ минуту помолчалъ.

— Встаю я рано, съ зарей, и сейчасъ за столъ... Вынимаю векселя (у меня должниковъ пропасть!)—перечитываю: ищу, значить, кого за ребро зацѣпить слѣдуетъ... Да... Затѣмъ пишу письма—и въ Москву, и въ Харьковъ, и въ Адестъ. А письма эти, разумѣется, насчетъ товаровъ. Затѣмъ пью чай и бѣгу въ лавки... Тамъ же, сама знаешь, цѣлый день суетишься, какъ угорѣлый: некогда рта закрыть... Вотъ оно, житье-то наше!...

Зажирихинъ вздохнулъ.

— Теперь, твоя очередь... Изволь разсудить, голубушка,—продолжалъ онъ:—могу ли я кормить даромъ хотя бы и твоего сынка? А онъ, какъ я уже сказалъ, годъ-два будетъ ѣсть такъ,—подавай только! Но и потомъ, что изъ него? «Поди, побѣги!»—вотъ и все... Онъ придетъ сюда—разольетъ, побѣжитъ туда—разобьетъ, повернется въ третье мѣсто—разсыплетъ... Вотъ оно и барыши! А обѣдать ему всякій день подавай...

— Такъ какъ же, Ѳома Поликарповичъ?..

— А вотъ какъ! У меня порядокъ таковъ: подобныхъ пузырей—купецъ указалъ на Филь-

ку,—я принимаю лѣтъ на десять, не меньше; платы никакой: кормлю, значить, одѣваю и учу разному дѣлу... Всѣ они у меня по лавкамъ... Потомъ, когда мальчишка честно отбудетъ свой срокъ, я опять оставляю его у себя и тогда уже назначаю жалованье... А что изъ твоего звѣренка выйдетъ—не знаю... Да! погоди! Я гдѣ-то видѣлъ его... Чуть ли не онъ утащилъ однажды вязку бубликовъ у торговли Карасихи.

— Нѣтъ, батюшка!—спохватилась бѣдная мать.—Это не онъ... Мой и дороги сюда не знаетъ. Мы живемъ далеко...

— Можетъ-быть... А вотъ совсѣмъ этакій карапузъ однажды одурачилъ старуху... Я стоялъ у дверей лавки и все видѣлъ...

— Такъ, пожалуйста, Ѳома Поликарповичъ!

И Марѳа отвѣсила низкій поклонъ.

— Хорошо, пусть будетъ по-твоему... Но только... «условіе»... Я иначе не принимаю... На бумагѣ, значить, чтобы ты и твой мужъ подписались... А въ случаѣ этотъ молодецъ уйдетъ домой, велимъ притащить и отодрать по-свойски. Словомъ, буду учить, какъ отецъ... Да!

— Согласна, батюшка! Вы понапрасно обижать не станете...

— Разумѣется!.. На же... Получи въ задатокъ...—И Зажирихинъ подалъ Марѣ двутривенный.—А мальчишкѣ прикажу выдать вязку бубликовъ: такое, значить, у меня заведеніе.

— Спасибо, Ѳома Поликарповичъ, спасибо!

И Марѳа опять поклонилась.

Наступило молчаніе.

— А какъ зовутъ его?

— Филька.

— А лобъ у него большой... Видно не дуракъ будетъ... Поди сюда, собачій сынъ! Вишь какъ глазами прыдетъ, чортова дѣтина!..

— Хорошо, оставь... На-дняхъ спашемъ «условіе»...

II.

Богатъ и извѣстенъ былъ купецъ Зажирихинъ. Ему принадлежалъ цѣлый рядъ лавокъ, а въ лавкахъ—всевозможные товары. Домъ, въ которомъ онъ жилъ, считался лучшимъ въ городѣ. Домъ этотъ былъ одноэтажный, но большой, со всѣми удобствами и до того богато и красиво отдѣланъ, что прохожіе невольно засматривались. Около дома находился фруктовый садъ, а затѣмъ большой дворъ.

Во дворѣ у Зажирихина также были хорошія постройки: сарай, конюшни, амбары для запасныхъ товаровъ,—все это было устроено и прочно, и красиво. Только во внутренней, глухой сторонѣ двора помѣщался небольшой и некрасивый домикъ съ низенькими стѣнами и малыми окнами. Это помѣщеніе именовалось «приказчицкой», потому что было отведено подъ квартиры приказчикамъ.

Приказчиковъ у Зажирихина имѣлось до двухъ десятковъ. Все это были мальчуганы и подростки, отъ 10 до 20 лѣтъ, законтрактованные хозяиномъ на многолѣтнюю службу, почему

всѣ они работали только за пищу и одежду. Тутъ были Ваньки и Ѳедьки, Сеньки и Митьки, Андрюшки и Саввушки, Гришки и Никишки! Одинъ только Дороей Емельяновичъ, старшій приказчикъ и племянникъ Зажирихина, получалъ жалованье и считался самостоятельнымъ чело-вѣкомъ.

Но не сюда попалъ нашъ Филька. Онъ долженъ былъ пройти цѣлую школу ученья, прежде чѣмъ сдѣлаться крупинкой этой «приказничьей каши». Его отдали въ распоряженіе Михея.

Дѣдушка Михей приходился роднымъ дядей купцу Зажирихину. Это былъ старикъ лѣтъ за 60, но сильный и крѣпкій, съ высокой грудью и богатырскими плечами. И лѣтомъ, и зимой носилъ онъ шаровары изъ «чортовой кожи» и кумачевую рубаху, съ тою лишь разницей, что зимой сверхъ рубахи надѣвался дубленый полушубокъ. У Михея была жена, сыновья и дочери, отъ которыхъ онъ совсѣмъ отказался, особенно съ той поры, какъ поселился у племянника «Живы ли они, или нѣтъ, какъ живутъ и гдѣ? Хрѣнъ ихъ знаетъ!»—говаривалъ обыкновенно о своей семьѣ жестокосердный Михей.

Михей не несъ у Зажирихина опредѣленной службы, а былъ, такъ сказать, домашнимъ шпіономъ. Дворники, сторожа, кухарки, приказчики—всѣ находились подъ его зоркимъ окомъ: онъ за всѣми слѣдилъ и обо всемъ докладывалъ хозяину-племяннику. Впрочемъ, за Михеємъ числилась одна опредѣленная и неотъемлемая служба—учить, или, какъ онъ самъ выражался,

сравнѣно
правильно

«шустрить» поступавшихъ въ услуженіе мальчугановъ. На это дѣло онъ былъ замѣчательный мастеръ, и ни одинъ изъ приказчиковъ Зажирихина не миновалъ его рукъ, почему и теперь новообрѣтеннаго Фильку, вмѣстѣ съ дарственной вязкой бубликовъ, препроводили на конюшню къ воспитателю Михею.

— Какъ зовутъ тебя?

— Филька.

— А... такого еще не было... Нѣтъ, кажись былъ, только давно... А который тебѣ годъ?

— Не знаю.

— Да ты не жри же всѣхъ бубликовъ! Оставь и на завтра! Ужъ не полагаешь ли, что каждый день по вязкѣ давать будутъ?..

Мальчикъ пересталъ ѣсть и задумался.

— Дай, спрячу...

Филька неохотно отдалъ бублики.

— Вишь ты, осталось только четыре! И успѣлъ же сожрать! Голодный, бѣсенокъ, да и зубъ, видно, волчій!..

И Михей повѣсилъ на колышекъ оставшіеся бублики.

Филька не привыкъ къ такому воздержанію, опустил носъ и готовъ былъ разрыдаться.

Прошла недѣля. Филька жилъ вмѣстѣ съ Михеємъ, который пользовался отдѣльнымъ помещеніемъ. Это была небольшая коморка, устроенная рядомъ съ конюшней. Тутъ стояли кровать, столъ, сундучокъ, два табурета. Филька исполнялъ у Михея роль деньщика: подметалъ и убиралъ комнату, чистилъ сапоги, ставилъ самоваръ

(Михей пилъ чай у себя, а обѣдалъ на кухнѣ). Обязанности эти крайне не нравились Филькѣ, даже, можно сказать, тяготили его, но онъ выполнялъ ихъ исправно, терпѣливо, ибо самъ Михей заявилъ ему, что стоитъ лишь быть послушнымъ, чтобы попасть въ приказчики. Впрочемъ, оставаться и въ приказчикахъ Филька уже не желалъ: ему хотѣлось лишь на день, на два попасть въ лавки, чтобы набить карманы пряниками и уйти. Вотъ что привлекало Фильку.

— Филька, гдѣ ты?—окликнулъ его однажды лежавшій на кровати Михей.

— Я здѣсь, дѣдушка.

— Гдѣ же ты здѣсь, собачій сынъ? Ты вѣчно по угламъ прячешься! Экая бестія!

— Ей-Богу, я тутъ...

— Ну, хорошо, бѣсенокъ!.. Знаешь, гдѣ хозяйская коляска?

— Знаю.

— Гдѣ же?

— Въ большомъ каретникѣ.

— Такъ... Ну, поди же туда, полѣзай въ коляску и возьми кнутъ. Онъ неисправенъ: наконечникъ надо приладить.

Филька помчался стрѣлой, нашелъ въ коляскѣ кнутъ и хотѣлъ уже выпрыгнуть оттуда, какъ вдругъ замѣтилъ лежащую въ уголку бу-мажонку. Онъ бросился къ ней, развернулъ и лицо его просіяло отъ радости: тамъ оказалось два большихъ пряника. Филька въ одинъ мигъ проглотилъ ихъ и невольно подумалъ: «Господи, скоро ли я буду приказчикомъ?.. Тамъ, должно-

быть, пряники побольше и послаще!..» Осмотрѣвъ и обшаривъ всѣ углы сарая и все, что находилось въ немъ и не найдя ничего съѣстнаго, Филька тщательно вытеръ губы, принявъ кислую мину и явился съ кнутомъ къ Михею.

— Вотъ онъ, дѣдушка.

— Да, онъ самый...

И Михей испытующе взглянулъ на Фильку, но ничего не могъ замѣтить по его лицу.

«Хитрый бѣсенокъ!—подумалъ старикъ.—Провѣримъ...»

— Филька,—сказалъ Михей послѣ нѣкотораго молчанія.—Ступай бѣгомъ къ кучеру Сергѣю—онъ въ саду чиститъ дорожки—и скажи: пусть дастъ полоску ремешка. Для кнута, скажи, наконецникъ нуженъ.

Когда Филька скрылся въ саду, Михей поспѣшилъ въ сарай, чтобы взглянуть, что случилось съ пряниками, игравшими назначеніе ловушки.

— Во-но что! Стацилъ! А по лицу не замѣтишь! Дьявольское отродье! Воръ, видно, не плохой будетъ! Провѣримъ еще!

Михей былъ замѣчательный воспитатель. Имъ прежде всего провѣрялось отношеніе къ хозяйской собственности. Воровство, даже въ самой незначительной степени, не могло быть терпимо во владѣніяхъ Зажирихина, а мальчишка-воръ не скоро попадалъ въ лавочные приказчики. Правило это установлено было самимъ хозяиномъ, а Михей, конечно, раздувалъ его до крайности.

Мальчуганамъ устраивались всевозможныя ловушки, сначала явныя, а потомъ самыя хитрыя. Когда воровство не замѣчалось или вовсе искоренялось въ мальчикѣ, Михей принимался за развитіе въ немъ другихъ качествъ, также, по мнѣнію хозяина, необходимыхъ для лавочнаго приказчика. Качествами этими считались: юркость, находчивость и острота языка или, какъ именовалъ послѣднюю добродѣтель самъ Зажирихинъ, «способность колпачить покупателя». Для достиженія этихъ качествъ проходилась цѣлая школа самыхъ разнообразныхъ упражненій, хотя послѣднее качество вырабатывалось вполнѣ только на практикѣ, то-есть въ лавкахъ.

Чтобы пріучить мальчика къ юркости, Михей гонялъ его цѣлый день изъ угла въ уголъ... «Подать!», «принять!», «туда!», «сюда!»—повелѣвалъ онъ, и мальчикъ долженъ былъ исполнять все это живо, безъ запинокъ, ибо за малѣйшее промедленіе получалъ оплеуху. Чтобы вселить въ ученикѣ находчивость, Михей ставилъ его въ затруднительное положеніе, принуждая самостоятельно искать выхода, для чего мальчикъ сколько угодно могъ употребить и хитрости, и лжи, лишь бы сухимъ выйти изъ воды...

Въ этомъ собственно и заключалась наука Михея!..

Поставивъ для Фильки западню разъ пять-шесть и убѣдившись въ его воровскихъ способностяхъ, дѣдушка Михей приступилъ, наконецъ, къ искорененію этого зла. Налившись однажды по утру чаю, Михей услалъ Фильку на кухню,

а самъ легъ на кровать и притворился спящимъ. Черезъ полчаса вбѣжалъ въ комнату Филька. Увидѣвъ дѣдушку спящимъ, онъ сталъ шарить по столу, нашелъ два куска сахара и съ жадностью бросилъ ихъ въ ротъ. Михей вскочилъ съ кровати и со всей свойственной ему жестокостью запустилъ дюжую пятерню въ жиденькіе волосы Фильки.

— Ай-яй-яяй!—завопилъ Филька.—Не буду, дѣдушка! Ей-Богу, не буду!

— Нѣтъ, погоди, бѣсенокъ!—оралъ дрожащій отъ злости старикъ.—Пора съ тобой поквитаться за все. Вотъ тебѣ за пряники, что стащилъ въ коляскѣ: на! н-на! н-н-на! Это за двѣ копейки, что уворовалъ на окнѣ: на! н-на! н-н-на! Это за маслины, что сожралъ ночью: на! н-на! н-н-на! Это за сѣмячки, что вытащилъ изъ зипуна: на! н-на! н-н-на! А это за сахаръ, что и теперь у тебя за щекой: на! н-на! н-н-на! Во-но что! Такъ! Такъ! А еще этакъ! А еще этакъ! Шабашъ!..

Опрометью выскочилъ бѣдный Филька изъ комнаты Михея, стрѣлой пролетѣлъ черезъ садъ, перелѣзъ черезъ заборъ и умчался по городскимъ улицамъ. Только подбѣгая къ своему двору, оглянулся онъ и увидя, что нѣтъ погони, сталъ соображать, какъ ему поступить теперь...

— Нѣтъ, въ хату не пойду, залѣзу лучше въ канаву,—рѣшилъ бѣглець и спрятался въ глубокомъ, знакомомъ ему рву, совершенно заросшемъ лебедой.

Вечеромъ явился къ Марѣ Михей. Филька въ это время былъ уже дома.

— Ну что-жъ, твой сынокъ и у тебя быть такимъ воромъ?—съ досадою проговорилъ онъ.— Какъ же его можно поставить приказчикомъ? Онъ обворуетъ всѣ лавки!

Марѳа молчала и плакала.

— Хотя у насъ и нѣтъ такого заведенія, но Оома Поликарповичъ полагалъ вскорости взять его въ лавки,—замѣтилъ нѣсколько помолчавшій Михей.—А приказчикамъ у насъ не житье, а рай. Кстати же, сынъ твой шустрый бѣсенокъ! Но и воръ, какихъ я не видывалъ...

Подумала горемычная Марѳа и порѣшила опять отдать Фильку на старую службу. Отправилась того же вечера къ Зажирихину, просила его, заплакала передъ нимъ, сама не зная о чемъ, и ушла домой...

III.

Недолго, вѣроятно, опять пробылъ бы Филька у куща Зажирихина, если бы не случилось совершенно неожиданное обстоятельство, имѣвшее рѣшающее значеніе для судьбы Фильки. Мать его, Марѳа заболѣла, слегла въ постель и вскорѣ умерла. Отецъ Фильки, оставшись безпомощнымъ, перекинулъ черезъ плечо суму и пошелъ по-міру. Пристроивъ у людей меньшую дочку, онъ зашелъ къ Филькѣ, благословилъ его и сказалъ:

— Слушай, Филька! Знай, что родныхъ у тебя нѣтъ. Мать твоя умерла, а я вѣдь тоже протяну недолго. Да и какая радость жить калѣкѣ! Хату я поручилъ сапожнику Митрофану,—

онъ будетъ жить и оправлять ее. Когда подрастешь, она твоя. Смотри же, живи для себя, слушай хозяина, — хорошо ли, худо-ли будетъ, терпи до времени. А поживешь здѣсь — чему-либо научишься, и тогда, если живъ будешь, распорядишься собой, какъ захочешь.

Филька заплакалъ... Хотя онъ и не любилъ отца (калъка былъ раздражителенъ и суровъ, никогда не ласкалъ сына; кормила же Фильку мать), но слова отца произвели теперь на мальчугана сильное впечатлѣніе... Что-то тяжелое легло на душу Фильки, но что именно, онъ не могъ понять.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Строгость Михея взяла свое: Филька сталъ неузнаваемъ. Ни самоволія, къ которому онъ былъ приученъ дома, ни склонности къ воровству, — ничего дурного не замѣчалось за нимъ.

Но не таковъ былъ Филька въ душѣ, какимъ казался съ виду. Всѣ темныя чувства и желанія оставались въ немъ тѣми же: ихъ не могло подавить грубое насиліе, ибо Филька отъ природы отличался непреклонной волей. Если онъ и не дѣлалъ теперь того, что не нравилось Михею, — не кралъ ни пряниковъ, ни конфетъ, — то не потому, что сознавалъ въ этомъ нехорошій поступокъ, а изъ одной лишь боязни попасть подъ кнутъ. вмѣстѣ съ этой выдержкой, въ мальчуганѣ проявлялась сильная ненависть къ старику-воспитателю, особенно въ то время, когда можно было пожитья чѣмъ-либо вкуснымъ, а вкуснаго у Зажирихина всюду было много — и въ

саду, и въ погребѣ, во всѣхъ углахъ обширныхъ кладовыхъ. Страшная злоба овладѣла мальчуганомъ. Злоба эта такъ уже назрѣла, что требовала удовлетворенія. И Филька началъ мстить своему мучителю...

По воскреснымъ днямъ и большимъ праздникамъ Михей любилъ выпить. Садился онъ за бутылку обыкновенно съ утра, ничего почти не ѣлъ и къ обѣду лежалъ «готовымъ». Въ пьяномъ видѣ Михей спалъ мертвецки и сильно храпѣлъ, открывая ротъ во всю ширину. Подмѣтивъ это, Филька однажды бросилъ ему въ ротъ крошку хлѣба. Михей закашлялъ и проглотилъ крошку. Это показалось Филькѣ забавнымъ. Онъ поймалъ муху, задушилъ ее и отправилъ туда же. Михей опять закашлялъ, проглотилъ слюну, а съ ними и муху... Филька злобно захохоталъ. «Погоди же, старый чортъ!—подумалъ мальчуганъ.—Теперь я всегда буду набивать тебѣ глотку всякою гадостью!» И съ той поры дѣйствительно, какъ только пьяный Михей укладывался спать, Филька не отступала отъ него ни на шагъ и все время кормила его мухами. Сначала онъ душилъ ихъ, а потомъ бросалъ живьемъ, отрывая имъ крылья. Но и этого казалось ему недостаточно. Ненависть къ Михею была настолько сильна, что Филькѣ вздумалось накормить его чѣмъ-либо, еще болѣе омерзительнымъ, и онъ прибѣгъ къ слѣдующему:

Во дворѣ у купца была большая собака Кудлай, получившая такую кличку за свою длинную, лохматую шерсть. Въ этой шубѣ Кудлая

водились мириады паразитовъ, почему ему и былъ закрытъ входъ въ жилыя помѣщенія. Филька приласкалъ Кудлая, и лишь только Михей открывалъ во снѣ ротъ, мальчишка укладывалъ собаку у порога, таскалъ паразитовъ и бросалъ ихъ въ богатырскую пасть дѣдушки. Это сдѣлалось постояннымъ праздничнымъ занятіемъ Фильки. Онъ сіялъ отъ радости, что изобрѣлъ такое забавное орудіе мести, и считалъ себя удовлетвореннымъ.

Ровно черезъ годъ со дня поступленія Фильки, Михей доложилъ Зажирихину, что ученика можно взять въ лавки.

— Ну, что? Каковъ?—спросилъ Зажирихинъ.

— Да, Ѳома Поликарповичъ (Михей называлъ племянника по имени—отчеству), таить правду грѣшно! Какъ я замѣчаю, изъ этого бѣсенка небывалый приказчикъ будетъ. Только на первое время положиться нельзя. Нужно смотрѣть въ оба. А не то, по части всякихъ сладостей, большіе тебѣ убытки причинять станеть.

— Хе-хе-хе, дядюшка! Не изволь беспокоиться! Я вѣдь учу ихъ не то, что ты, по-стариковски... Такъ, говоришь, онъ шустрый?.. Это главное... На же, получи!..

И Зажирихинъ подалъ Михею трехрублевку. Эта плата считалась подаркомъ за всякаго вышколеннаго мальчугана.

Ожилъ бѣдный Филька, когда привели его въ лавки. Тутъ уже не было ненавистнаго Михея: онъ навсегда разстался съ его удушливой коморкой. Правда, его нѣсколько опечалило то обстоятельство, что слишкомъ ужъ мало отве-

ли ему власти въ громаднѣхъ лавкахъ Зажирихина.

Фильку поставили за дверью, подѣ навѣсь, поручивъ продавать самые непривлекательные товары. Товарами этими были: смола, очищенный деготь, деревянное масло и несѣдомая мелочь. Понятно, это мало удовлетворяло Фильку, и онъ, особенно на первыхъ порахъ, съ завистью поглядывалъ внутрь лавокъ, куда не проникали лучи палящаго солнца и гдѣ было такъ много всего хорошаго... Но и это не всегда удавалось ему, ибо въ подобныхъ случаяхъ внезапно раздавался внушительный голосъ хозяина:

— Эй, Филька! Филька, собачій сынъ! что, мерзавецъ, глаза пялишь? Смотри, вонъ покупатели уходятъ изъ-подъ носа... Вонъ, около церкви, мужикъ идетъ съ мазницею... Зови же скорѣе, бѣсенокъ!..

— Эй, эй, дядюшка! Дядюшка съ мазничкой, сюда пожалуйста!—дискантомъ визжалъ Филька.—Вамъ дегтю? Вотъ онъ! Да какой деготь!.. Дядюшка, пожалуйста! Это нездѣшній, глядите-ка! Это аглицкій, настоящій аглицкій деготь!.. Такого не сыщете во всей Россіи...

И мужикъ дѣйствительно спѣшилъ посмотреть, что за чудо—аглицкій деготь. А разъ онъ подходилъ къ Филькѣ, тотъ ужъ убѣждалъ его.

— Смотрите, дядюшка! Да это янтарь, а не деготь! Если сюда немножко медку, то, ей-Богу, кушать можно? Вотъ что значитъ нездѣшній, а аглицкій деготь, настоящій...

— Гляди, обманешь, назадъ принесу!—говариваль обыкновенно податливый покупатель.

— Назадъ? Да этому во-вѣкъ не бывать! Въ другомъ мѣстѣ брать не станете! Ей-Богу, правда!..

— Эй, эй, бабушка! Слушайте, бабушка съ бутылочкой!—изо всѣхъ силъ опять старался Филька, удовлетворивъ покупателя дегтемъ и увидѣвъ за полверсты женщину съ бутылкой.— Вамъ, бабушка, оливки? Вотъ она! Настоящая, закубанская!.. Ей-Богу, закубанская!—А вамъ? Маслица? Есть! Пожалуйте! Вотъ оно... Натуральное, кавказское! Не вѣрите? Ей-Богу, кавказское! И конопляное, и подсолнечное—всякое!.. Сколько вамъ? кварту, полкварты?

И рѣдко кто миноваль Фильку. Всѣ заходили къ нему, и онъ щедро надѣляль покупателей своими товарами: кому отпускаль аглицкій деготь, кому закубанскую оливку,—словомъ, все то, что было въ его завѣдываніи...

Зажирихинъ видѣль это, съ умиленіемъ глядѣль на Фильку и любовался имъ, какъ любитъся художникъ своей новой, вполнѣ законченной картиной.

— Молодецъ, Филька!—въ подобныхъ случаяхъ говорилъ онъ.—На же, получи пряникъ! А если каждый день такъ вести торговлю будешь, мы завсегда любить тебя станемъ...

IV.

Прошло не мало лѣтъ. Торговля Зажирихина все расширялась; онъ увеличилъ помѣщеніе для лавокъ и особенно усилилъ отдѣлъ мануфактуры. Отдѣломъ этимъ завѣдывалъ теперь молодой приказчикъ, лѣтъ 27, крѣпкій, широкоплечій, съ серьезной, еле скользящей улыбкой, молодцоватымъ взглядомъ очей. Полное здоровое лицо его украшали маленькіе щегольски закрученные усики, а тщательно выбритый подбородокъ и изящный костюмъ явно говорили, что удалой приказчикъ далеко не равнодушенъ къ своей наружности...

Кто бы могъ предположить, чтобы въ этого молодца—красавца по наружности и мастера на дѣлѣ—могъ бы преобразиться безшабашный Филька, слывшій у родителей за разбойника, а у людей—за урода и причинявшій столько зла матери, прохожимъ и сосѣдямъ, не говоря уже объ учителѣ-Михеѣ, утробу котораго онъ набивалъ мухами и паразитами? Да, это былъ онъ, неутомимый Филька, не понятый ни матерью, ни сосѣдами, кромѣ одного Михея, опытный глазъ котораго еще вначалѣ узрѣлъ въ воришкѣ «небывалаго приказчика». Но теперь не «Филькой» уже именовался онъ, не «собачьимъ сыномъ», не «чортовымъ отродьемъ», а самъ Зажирихинъ называлъ его не иначе, какъ Филимономъ Макарычемъ, а въ затруднительныхъ случаяхъ до крайности услащалъ его имя и, положивъ ему

на плечо свою жирную руку, заискивающе говорилъ: «Послушай, любезнѣйшій Филимоній Макарьичъ! Что прикажешь дѣлать съ этими залежалыми ситцами? Ты правду говорилъ,—не стоило приобрѣтать ихъ!.. А я, глупецъ, не послушалъ!.. Поразмысли же, милѣйшій, какъ намъ раздѣлаться съ ними!..»

Въ такихъ случаяхъ Филимонъ Макарьевичъ мыслилъ, по обыкновенію, недолго. Въ двѣ-три минуты соображалъ онъ суть дѣла и съ серьезной улыбкой говорилъ: «Что за бѣда, Ѳома Поликарповичъ! Эти самые ситцы пойдутъ у насъ по дорогой цѣнѣ, соизвольте лишь назначить подъ большой базарецъ «дешевую распродажу». Правда, мы ихъ спустимъ недорого, но за то на другихъ матеріяхъ наверстаемъ. Положитесь на меня!..»

Филимонъ Макарьевичъ числился у Зажирихина старшимъ приказчикомъ и получалъ за свою службу довольно хорошую плату. Плату эту съ каждымъ годомъ увеличивалъ самъ хозяинъ, изъ боязни, чтобы онъ не перешелъ къ другому купцу. Такое уваженіе нелегко досталось желѣзной натурѣ Филимона Макарьевича. Сколько вынесено было притѣсненій и побоевъ, пока ему удалось пройти всѣ ступени приказчицъей лѣстницы, начиная отъ продажи дегтя и кончая завѣдываніемъ мануфактурой! Навѣрно, не одну сотню разъ таскали Фильку за уши и приказчики, и хозяинъ, пока онъ, превращаясь постепенно изъ Фильки въ Филю, изъ Фили въ Филимона, дошелъ наконецъ до Филимонія Макарьича—тѣмъ болѣе, что и въ послѣднемъ

своемъ званіи Филька имѣлъ громадныя прозрачныя уши, величиною съ добрый блинъ. За то теперь злая судьба Фильки навсегда угомонилась: онъ давно пережилъ все то, что можно назвать испытаніемъ въ жизни, и ему оставалось одно—спокойно пожинать плоды долголѣтняго терпѣнія...

Произошло это такъ:

Зажирихинъ серьезно заболѣлъ и не вставалъ съ постели. Не питая надежды на скорое выздоровленіе, онъ призвалъ къ себѣ любимца-Фильку и сказалъ ему:

— Дорогой мой Филимоній! Ты выросъ у меня какъ свой, и я люблю тебя, какъ сына. Теперь же видишь, Богъ наказалъ меня. Быть въ лавкахъ я не могу, не могу даже изъ дому слѣдить за дѣломъ,—прекратить же торговлю мнѣ не хочется: слишкомъ удачны наши обороты... Долго я думалъ объ этомъ и порѣшилъ возложить на тебя мои надежды—избрать тебя своимъ довѣреннымъ... Покупка товаровъ и всѣ распоряженія по лавкамъ съ этой поры принадлежать тебѣ, жена же моя будетъ завѣдывать кассой. За это я буду платить... Но, нѣтъ, не плата будетъ выражать любовь мою къ тебѣ. Ты вѣдь хорошо знаешь дочь мою Глашу... Ей теперь четырнадцать лѣтъ... Черезъ два года она совершеннолѣтняя, и я... Но подойди ближе, подойди, мой дорогой Филимоній!.. Я... я... согласенъ... согласенъ, чтобы ты былъ нашимъ зятемъ... Поцѣлуй же меня, нашъ дорогой сынъ... нашъ, нашъ... Фи-ли-м-м-моній!...

И Зажирихинъ такъ увлекся, что невольно заплакалъ.

Плакалъ и Филимонъ Макарьевичъ, цѣлуя въ уста своего благодѣтеля и будущаго тестя.

— Кладу на себя крестъ этотъ и клянусь вамъ именемъ Божьимъ, Ѳома Поликарповичъ, мой отецъ и благодѣтель!—въ слезахъ говорилъ онъ:—торговля ваша ни на одинъ волосъ не потерпитъ убытка, пока Господу Богу угодно будетъ возстановить ваше здоровье! Всѣ свои силы употреблю на это, день и ночь буду надзирать и трудиться, чтобы не выпустить изъ рукъ такого счастья, такой милости вашей!..

И Филимонъ Макарьевичъ дѣйствительно «надзиралъ и трудился». Торговля дѣла Зажирихина подъ его рукой еще болѣе оживились. Хозяйка все это видѣла и сообщала мужу, ежедневно спрашивавшему съ тревогой: «Ну, что, какъ наши лавки? Какъ распоряжается Филъ? Пожалуйста, смотри... не довѣрай ему... не довѣрай никому кассы...»

Такъ прошло около года, а здоровье Зажирихина не улучшалось. Боязнь быть обманутымъ, недовѣріе къ окружающимъ, досада на свою немощь, препятствовавшую стать у дѣла—все это тревожило и безъ того мятежный духъ купца, вызывало въ немъ догадки и сомнѣнія, лишало его сна и дѣлало его болѣзнь неизлѣчимой. Ему становилось то лучше, то хуже, то опять лучше, то еще хуже,—и тревога его все болѣе и болѣе усиливалась. Онъ велѣлъ перенести въ свою комнату несгораемый сундукъ съ деньгами, держалъ

отъ него ключи у себя подъ подушкой, просилъ, чтобы жена и дочь снали тутъ же, въ его комнатѣ, велѣлъ на ночь запирасть дверь этой комнаты и все-таки не былъ спокоенъ...

И странно, больше всѣхъ опасался Зажирихинъ своего любимца Фильки. Часто среди ночи онъ окликалъ жену, спрашивалъ, что дѣлаетъ Филя: спать ли онъ или чѣмъ занять, и просилъ позвать его. Филька садился у изголовья больного, утѣшалъ его, подкрѣплялъ въ немъ вѣру... Зажирихинъ плакалъ, цѣловалъ Фильку, на мигъ успокаивался, но потомъ опять впадалъ въ сомнѣніе. Онъ не могъ допустить мысли, чтобы Филька, которому онъ даетъ большую плату и даже обѣщаль свою дочь, все-таки не обокралъ его!.. Честность казалась ему совершенно невысказанной. «И я же вѣдь былъ приказчикомъ—думалось ему:—и мнѣ же хозяинъ до-вѣрялъ все,—любилъ меня, надѣялся, но я ограбилъ его, ограбилъ хуже вора: со слезами преданности на глазахъ... Я сдѣлалъ это потому, что былъ бѣденъ, что мнѣ хотѣлось стать купцомъ... А Филька? Онъ богатъ развѣ? Да развѣ и онъ не желаетъ быть купцомъ? О, попадись ему тысячь двадцать, и съ его головой онъ будетъ миллионеромъ! И онъ это сдѣлаетъ, сдѣлаетъ...» — «Нѣтъ, это невозможно!—опять соображалъ онъ.—Хозяинъ до-вѣрялъ мнѣ кассу и потому-то вышло такъ... А у меня совсѣмъ не то: у меня за кассой жена... Филька же лишь выписываетъ товары, представляетъ счета, получаетъ по нимъ деньги для уплаты, кому слѣдуетъ... Здѣсь все

видно, на лицо каждая копейка... но все-таки, все-таки...»

И Зажирихинъ не могъ пересилить въ себѣ мысли, что Филька не обокрадетъ его.

И вотъ, какъ на спасеніе, онъ надѣется на родство и, не дожидаясь совершеннолѣтія дочери, обручаетъ ее съ Филькой. Это дѣлается публично, торжественно: приглашается духовенство, служитя молебенъ, совершается обрученіе со слезами и поцѣлуями. Тутъ же назначается время свадьбы и объявляется приданное въ сорокъ тысячъ рублей...

Великая тайна зрѣла въ это время въ душѣ Фильки. Не чувствуя ни сожалѣнія, ни ужаса, влекомый руководящей имъ страстью, онъ давно уже стоялъ на порогѣ своей цѣли. И какой дерзкой, какой безчеловѣчной оказалась она!

За недѣлю до свадьбы Филька заявляетъ хозяину, что оставаться у него на службѣ не желаетъ, потому что не можетъ жениться на его дочери, которую вовсе не любитъ и которую Зажирихинъ навязываетъ ему насильно.

— Я служилъ вамъ 17 лѣтъ; служилъ честно, съ любовью и даже теперь, когда вы совсѣмъ не вели дѣла, торговля ваша ничуть не пострадала... Къ деньгамъ я не касался, кассой завѣдывала ваша жена, поэтому подозрѣвать меня въ чемъ-либо вы не можете... Да, будь вы здоровы, я, разумѣется, остался бы, а теперь не могу... Пожалуйте расчетъ: я вамъ больше не слуга!..

Эти слова произвели на больного купца оше-

ломляющее дѣйствіе. Оскорбленіе, вызванное пренебреженіемъ къ дочери, сознание своего безсилія, страхъ за потерю имущества, гнѣвъ и ненависть— все это одновременно поднялось и завопило въ грязной душѣ Зажирихина, лишая его разсудка, памяти. Точно одержимый злымъ духомъ, съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ, метался онъ въ своей постели, безсвязно произнося то ругательства, то мольбы о пощадѣ.

Тутъ же стояли жена и дочь Зажирихина. Первая также уговаривала Фильку, то съ материнской нѣжностью, то съ досадой необузданной купчихи, а Глаша была безмолвна. Блѣдное, некрасивое личико ея носило отпечатокъ сильной грусти, въ глазахъ сверкали слезы. Она бросала на отца умоляющій взглядъ, какъ бы прося успокоиться.

Одинъ Филька стоялъ спокойный. Просьбы и мольбы нисколько его не трогали, а только раздражали. Онъ не зналъ, на что бросить свой ледяной взглядъ, на чемъ остановить его... То съ принужденной озабоченностью глядѣлъ онъ на Зажирихина, говоря сухимъ дѣловымъ тономъ: «Что-жъ, Оома Поликарповичъ! Я служилъ вамъ 17 лѣтъ, служилъ съ пользой, честно, а теперь не могу... Помилуйте, я ужъ возросъ! Пора подумать о самостоятельности!..»—То переводилъ рѣчь свою къ хозяйкѣ, увѣряя ее, что Глафира Ооминична заслуживаетъ лучшаго жениха. То обращался, наконецъ, къ своей невѣстѣ, говоря: «Да, винсвать-сь! Допустилъ ошибку: согласился обручигься!.. Но я полагалъ пересилить

себя... А теперь, простите,—не могу!.. Жизнь безъ любви не интересна!.. Любовь-съ великое дѣло!.. Ищите себѣ жениха, а мнѣ похлопочите расчистить...»

Черезъ нѣсколько дней въ лавкахъ Зажирихина производилась провѣрка товаровъ. Присутствовалъ самъ хозяинъ, котораго принесли сюда въ покойномъ креслѣ. Зажирихинъ пересматривалъ документы, провѣрялъ количество товаровъ, какъ проданныхъ, такъ и оставшихся на лицо, вычислялъ процентъ заработка, но ничего не могъ усмотрѣть,—тѣмъ болѣе, что все это такъ долго находилось въ чужихъ рукахъ: проданные товары пополнялись новыми, касса мѣшалась съ домашнимъ капиталомъ. Только и могъ замѣтить онъ, что въ складахъ почти нѣтъ запасовъ и что вообще количество товаровъ не соответствуетъ затраченному капиталу. Какъ закованный въ цѣпи левъ, рыкалъ и метался онъ въ своемъ креслѣ, осыпая всѣхъ бранью, пока физическія силы не оставили его окончательно. Испуганная жена велѣла унести его въ домъ и прекратила провѣрку лавокъ.

V.

Если бы вы посѣтили уѣздный городъ Чирскъ лѣтъ пять тому назадъ и остановились на базарной площади, васъ поразило бы, я думаю, то обстоятельство, что въ захолустѣ можетъ процвѣтать такая обширная торговля, какой являлась торговля Козырева! На углу базарной пло-

щади, на самомъ видномъ мѣстѣ красовался громадный магазинъ о шести дверяхъ, во всю длину котораго привѣшена была исполинская вывѣска: «Торговля Филимона Макарьевича Козырева». Такія же вывѣски красовались съ задней и боковыхъ сторонъ. У каждой двери магазина надписи поясняли отдѣлы торговли: «Бакалейные товары», «Мануфактурные товары», «Кожевенные товары» и пр. Дальше, надъ погребомъ нельзя было также не обратить вниманія на вызолоченную надпись: «Ренсковой погребъ»; еще дальше—громадный подвалъ: «Складъ хлѣбнаго вина и спирта»; за складомъ—большіе деревянные амбары: «Складъ бакалейныхъ, желѣзныхъ, скобяныхъ и колоніальныхъ товаровъ»... И все это принадлежало Филимону Макарьевичу Козыреву!.. Одинъ только жилой домъ Козырева, находившійся тутъ же, на площади, не носилъ надписи. Да и къ чему надпись? Всѣ вѣдь знали, кому онъ принадлежитъ.

Былъ прекрасный майскій вечеръ. На городскомъ бульварѣ, отдѣлявшемъ домъ Козырева отъ базарной площади, толпилась масса гуляющихъ. Тутъ были представители мѣстной полиціи и городской управы, почтово-телеграфные чиновники, писаря, приказчики,—словомъ, весь служащій людъ, стекавшійся сюда для пріятнаго отдыха отъ дневныхъ занятій.

Но не для одного лишь отдыха стекалась теперь на бульварѣ толпа гуляющихъ. Наплывъ публики замѣтно усиливался; появлялись даже почтенныхъ лѣтъ старики, даже мѣщане-скуп-

щики въ широкихъ своеобразныхъ пиджакахъ. И на лицахъ всѣхъ ихъ можно было замѣтить одинъ и тотъ же отпечатокъ—ожиданіе какого-то важнаго для нихъ событія. Сидѣвшіе на скамейкахъ бульвара какъ-то разсѣянно, вполголоса разсуждали между собой, расхаживающіе же тоже неохотно передвигали ногами, точно прогулка эта совершалась ими по принужденію. Нельзя было не замѣтить также, что вниманіе гуляющихъ сосредоточивалось, главнымъ образомъ, на домѣ Козырева, куда всѣ такъ часто поглядывали. Когда изъ парадной двери этого дома показался священникъ и довольно толстый господинъ,—мѣстные протоіерей и нотаріусъ,—публика замѣтно всполошилась и, въ ожиданіи ихъ прихода, какъ бы замерла...

— Проиграли, Александръ Дмитричъ! Правда вышла моя...—сказалъ нотаріусъ, обращаясь къ исправнику, съ нетерпѣніемъ ожидавшему его при входѣ на бульваръ.—Милліонъ и шестьсотъ тысячъ...

Послѣднія слова нотаріусъ произнесъ твердо и громко, даже съ нѣкоторою гордостью, какъ будто эти милліонъ и шестьсотъ тысячъ, о которыхъ онъ говорилъ, принадлежали ему.

— Да, теперь ужъ несомнѣнно,—подтвердилъ о. протоіерей:—Филимонъ Макарьичъ съ копѣйкой... Милліонъ, да полъ, да еще сто тысячъ... Право, не дурно!..

Исправникъ остался недовольнымъ. Дѣло въ томъ, что онъ проигралъ пари, которое держалъ съ нотаріусомъ, увѣряя послѣдняго, что состояніе

Козырева не превышаетъ милліона. Ему не хотѣлось сознать своей ошибки, а между тѣмъ она была несомнѣнной, такъ какъ нотаріусъ и протоіерей были приглашены къ заболѣвшему Козыреву для составленія духовной.

Весь вечеръ на бульварѣ только и было рѣчи, что о купцѣ Козыревѣ,—объ его болѣзни, богатствѣ, добродѣтеляхъ и недостаткахъ... Впрочемъ, о послѣднихъ упоминали какъ-то вскользь, не въ осужденіе, ибо въ глазахъ публики Козыревъ сталъ вдругъ всеобщимъ «любимцемъ». Чѣмъ вызывалась эта «любовь», догадаться не трудно, ибо больше всего занимало толпу то, что некому наследовать Козыревскаго добра, что жена купца и его несовершеннолѣтній сынъ больны чахоткой, что ихъ пѣсенка спѣта, и что Филимонъ Макарьичъ, будучи увѣренъ въ этомъ не останется глухъ и нѣмъ къ «благотворительности», на которую почему-то рассчитывалъ чуть ли не весь городъ. Былъ ли справедливъ распространившійся въ народѣ слухъ, что Козыревъ предполагаетъ отказать нѣсколько тысячъ «нѣкоторымъ лицамъ и учрежденіямъ», или слухъ этотъ пущенъ былъ съ цѣлью натоленуть черстваго богача на доброе дѣло—судить объ этомъ не было основанія, и хотя заинтересованные лица хорошо понимали, что, при сребролюбіи Козырева, подобное ожиданіе—крайняя мелѣцость, тѣмъ не менѣе, въ душонкахъ этихъ людей не угасала надежда... Все, молъ, бываетъ на свѣтѣ! Съ чѣмъ, молъ, чортъ не шутитъ!..

— Какъ же это такъ, господа!—обращаясь

къ протоіерею и нотаріусу, сказалъ исправникъ. — Вѣдь я слышалъ, что Филимонъ Макарьичъ рѣшилъ отказать кое-что въ пользу вдовъ и сиротъ... Я знаю объ этомъ изъ достовѣрныхъ источниковъ...

— Да, да...—подтвердили многіе.—И мы слышали...

— Пожалуй, слухи эти небезосновательны, — замѣтилъ о. протоіерей, стараясь быть равнодушнымъ. — Хотя, съ другой стороны, отчасти преждевременны, но все же я полагаю, господа, что Филимонъ Макарьевичъ откажетъ на добрыхъ дѣла, по крайней мѣрѣ, тысячъ пятьдесятъ.

— Похвально!—прерывая рѣчь священника, воскликнулъ членъ управы, завѣдывавшій такъ называемыми «строительными дѣлами города». — А неизвѣстно ли, отецъ протоіерей, въ чемъ именно заключаться будетъ эта благотворительность?.. для какихъ, то-есть надобностей?

— Ну, вы ужъ хотите, чтобы преждевременнo всѣ тонкости вамъ выложить! Повторяю, господа, что это одни слухи. Кажется, вы тоже сообщали, Александръ Дмитричъ, что слышали объ этомъ изъ достовѣрныхъ источниковъ?..

Исправникъ, къ которому относились послѣднія слова, совсѣмъ было смутился: никакихъ источниковъ на этотъ счетъ у него не было. А если онъ началъ рѣчь о «благотворительности», то такъ... «на всякій случай»...

Эти толки и пересуды продолжались бы, вѣроятно, до полуночи, если бы имъ не положилъ предѣлъ раздавшійся вдругъ со двора Козырева

пронзительный вой цѣпной собаки. Публика перестала гулять, разговоры какъ бы сами по себѣ прервались; гуляющіе поспѣшно оставляли бульваръ... Только нотаріусъ и исправникъ, спокойно направляясь въ пивную, продолжали вести старый разговоръ, да пріѣзжій студентъ-юноша, гулявшій съ барышнями-подростками, съ горячностью увѣрялъ ихъ, что—будь у него состояніе Козырева—сколько бы онъ надѣлалъ добра на бѣломъ свѣтѣ!..

Въ это время, когда бульваръ совсѣмъ уже опустѣлъ, когда на улицахъ глухого города становилось все тише и тише, въ домѣ и во дворѣ Козырева не только не замѣтно было наступающаго для всѣхъ покоя, а напротивъ, суета и тревога замѣтно усиливались. Во всѣхъ окнахъ дома таинственно сверкалъ слабенькій свѣтъ отъ горѣвшихъ предъ образами лампадъ; по комнатамъ, какъ тѣни, проносились женскія фигуры; тутъ и тамъ зажигались и гасли огни; къ воротамъ подѣхалъ чей-то экипажъ; со двора уѣхалъ другой; выбѣгали мужчины и женщины, мчавшіеся куда-то и черезъ минуту возвращавшіеся назадъ, какъ это могутъ дѣлать только вѣрные слуги... И всего этого было мало: у воротъ раздался зовъ какой-то толстой женщины: «Ванька! Ва-анька! Ванька, чортъ тебя забери, гдѣ ты пропалъ, проклятый?!...» Но Ваньки все еще не было, когда къ парадному крыльцу дома быстро подкатила «хозяйская» коляска, нагруженная представителями мѣстнаго церковнаго причта съ извѣстнымъ уже намъ о. прото-

іереємъ во главѣ. Тревога въ домѣ усилилась: комнаты озарились свѣтомъ, но вскорѣ все живое и суетившееся въ нихъ какъ бы замерло: служился молебенъ...

И только одинъ человѣкъ въ богатомъ и многолюдномъ домѣ Козырева не принималъ участія въ этой суетѣ. Это былъ онъ, ея виновникъ, самъ Филимонъ Макарьевичъ...

Въ просторной комнатѣ, на широкой покойной кровати лежалъ онъ, безсильный, измученный. Большая, совершенно лысая голова его съ выпуклымъ лбомъ небрежно покоилась на высоко поднятыхъ подушкахъ; одна рука лежала на груди, другая была откинута въ сторону. Онъ дышалъ часто, тяжело, глаза его блестѣли какимъ-то страннымъ огонькомъ, какъ будто въ это дыханіе и въ эти глаза перешла теперь вся его жизнь, перешла для того, чтобы сдѣлать послѣднее усиліе и исчезнуть безслѣдно...

А между тѣмъ, онъ не падалъ духомъ. Всегда бодрый и крѣпкій, Филимонъ Макарьевичъ никогда и не думалъ о смерти, не могъ думать о ней даже теперь, а если и сдѣлалъ завѣщаніе, то просто такъ, для порядка...

— У меня такъ много дѣла,—шепталъ онъ:— дѣла серьезнаго, основательнаго, что нѣтъ и минутки на отдыхъ: постройка завода, паровой мельницы, не говоря уже о лавкахъ, хуторахъ... А тутъ вдругъ смерть!..

Въ данную минуту ему казалось, что онъ совсѣмъ не жилъ на свѣтѣ, что онъ всего нѣсколько дней какъ началъ свои дѣла, что на оконча-

ніе ихъ нужно такъ много времени—цѣлая вѣч-
ность! И какъ бы это было хорошо, пріятно!..
И вдругъ—смерть!.. «Что же это? Какъ понять?
Съ чѣмъ сообразно?»

Но сообразности тутъ дѣйствительно не ока-
зывалось...

«Хорошо!—какъ бы не обращая вниманія на
свою немощь, упорно думалъ онъ:—Хорошо!
пусть будетъ такъ! Смерть, скажемъ, неизбежна!..
Но вѣдь мнѣ всего пятьдесятъ лѣтъ?.. А живутъ
же люди до восьмидесяти, до ста лѣтъ, находясь
въ бѣдности, въ лишеніяхъ?.. Почему же я,
при всемъ довольствѣ, не могу воспользоваться
этимъ, не могу прожить еще тридцать, ну хоть
двадцать, наконецъ, десять, пять лѣтъ?.. Да!—
Отчего это? Какъ понять? Съ чѣмъ сообразно?..»

И опять ищетъ онъ сообразности, и опять
не находитъ ея...

«Наконецъ, пусть будетъ такъ! Пусть я ум-
ру,—соглашаюсь! Пусть смерть пожираетъ меня,
проглотить!—все съ тою же настойчивостью
продолжалъ думать онъ. — Но зачѣмъ же я не
зналъ объ этомъ? Не могъ предположить, не
имѣлъ даже предчувствія, что я умру именно
теперь, когда это совсѣмъ некстати, когда нуж-
но окончить заводъ, мельницу, когда..»

«Но... умираю ли я?.. Да, дѣйствительно ли
умираю или это мнѣ только такъ кажется,—од-
на трусость? Быть-можетъ это вовсе не смерть,
а просто свойство болѣзни, ея переломъ, тяже-
лое состояніе, которое можетъ пройти, послѣ ко-
торого окрѣпнуть, возстановятся силы?.. О, какъ

бы хорошо было, если бы случилось такъ, если бы вернулось здоровье—хотя на одинъ день, на одно мгновеніе, чтобы сбѣгать въ лавки, взглянуть на заводъ, на мельницу!...»

Но когда часъ-за-часомъ, какъ вѣчность, потянулся слѣдующій денекъ, тяжелый, удушливый, и настала за нимъ еще болѣе безконечная ночь, Козыревъ твердо почувствовалъ присутствіе смерти и опять открылъ большую несообразность, приведшую его въ ужасъ.

Но эта несообразность была уже иной... Прежде ее вызывалъ не самый фактъ смерти, не ея, такъ сказать, наступленіе, а одна мысль о ней, та именно мысль, что онъ, Филимонъ Макарьевичъ, купецъ и богачъ, любимый всѣми людьми, можетъ умереть въ то время, когда надвѣхъ онъ былъ такъ бодръ и веселъ, когда у него по горло дѣла, дѣла серьезнаго... Да. Но это было въ то время, когда хватало силъ спросить себя—дѣйствительно ли онъ умираетъ? и когда все-таки думалось хотя однимъ глазкомъ посмотрѣть на заводъ, на мельницу... Теперь же счеты съ этой жизнью навсегда покончились: жизнь эта съ появленіемъ смерти, съ первымъ ея прикосновеніемъ, отошла, исчезла, потеряла свою прелесть, обаяніе, ибо та же смерть, какъ заключительная ступень жизни, потребовала отъ нея отчета...

И ему на мгновеніе сдѣлалось легко, пріятно... но потомъ имъ овладѣлъ ужасъ...

Послѣдняя искра жизни все еще продолжала таиться въ душѣ, въ сознаніи... Эта душа, это

сознаніе говорили ему, что онъ—жалкое, без-
сильное, беззащитное существо и въ то же вре-
мя—купецъ-богачъ, владѣлецъ лавокъ, домовъ,
хуторовъ, завода, мельницы!.. А затѣмъ—опять
же слѣдовалъ выводъ, жестокій и неумолимый,
какъ и самая смерть: «Что же это? какъ по-
нять? Съ чѣмъ сообразно?..» И онъ старает-
ся увѣрить себя, что онъ не Филимонъ Макарь-
евичъ, не купецъ, не богачъ, что домъ, гдѣ онъ
лежитъ, лавки, заводъ, хутора—вовсе не его, а
принадлежать другому,—а онъ былъ и есть то,
что онъ есть теперь: слабое, жалкое, беззащит-
ное существо и больше ничего!..

— Какъ? Развѣ это онъ служилъ у Зажи-
рихина,—унижался, лицемѣрилъ, подличалъ, обо-
кралъ его и ушелъ? Развѣ онъ открылъ потомъ
свою торговлю въ глухомъ городкѣ, привлекая
къ себѣ тысячи бѣдныхъ, темныхъ, сѣренъ-
ныхъ людей, обманывая ихъ, вымогая послѣдніе
гроши, превращая эти гроши въ тысячи?.. Не-
ужели опять-таки онъ же набралъ къ себѣ въ
лавки пѣлую стаю обездоленныхъ мальчугановъ,
чтобы сдѣлать изъ нихъ обманщиковъ, грабите-
лей, чтобы убить въ нихъ стыдъ, совѣсть, какъ
это сдѣлали съ нимъ?!.. Или вотъ... Приходить
въ лавку бѣдная, обезсиленная трудомъ старуш-
ка за полуфунтомъ сахара... Она достала изъ-за
пазухи грязный платочекъ, въ которомъ въ три
узла завязанъ былъ кредитный рубликъ. Съ ка-
кою дрожью въ рукахъ, съ какимъ сожалѣніемъ
она разставалась съ нимъ!..—«На, родимый, по-
лучи! Даю рубликъ,—да не торопись сдачей, не

обочти старушку!..»—И купецъ не торопился... Онъ не обчелъ старушку, но далъ ей сдачу фальшивымъ серебромъ, которое попало къ нему въ суматохѣ, подъ базарный день. Старушка покорно беретъ деньги, все тою же дрожащею рукою завязываетъ ихъ въ платокъ и съ поклономъ уходитъ... А купецъ... доволенъ, радъ... какъ будто онъ сразу получилъ тысячи,—до того онъ жалѣлъ свою копейку, до того сильна была въ немъ страсть къ наживѣ!.. И какъ не дрогнуло его сердце ни теперь, ни послѣ, когда несчастная старушка черезъ день явилась къ нему—взволнованная, блѣдная. Она держала въ рукѣ деньги, увѣряя, что получила ихъ тутъ, просила ихъ перемѣнить. Купецъ вспылилъ, выругалъ старуху... Старуха тоже вспылила, назвала купца обманщикомъ, кровопійцемъ, за что ее вытолкали изъ лавки «удалые» приказчики...

И эту, и многія другія картины вспомнилъ теперь Козыревъ, вспомнилъ невольно: все это какъ бы само по себѣ всплывало наружу и казалось чѣмъ-то страшнымъ неузнаваемымъ... Купцу становилось все тяжелѣе: что-то душило его... Онъ старался убить въ себѣ память и задыхаясь шепталъ: «Какъ, развѣ это я?.. Къ чему все это? Съ чѣмъ сообразно?..»

Но картины прошлаго ничуть не теряли отъ этого своихъ красокъ,—напротивъ, становились ярче, пока, наконецъ, воплотились въ живые человѣческіе образы... Среди этихъ образовъ рельефнѣе всего выступала фигура старушки, которая, стоя впереди, какъ бы предводительство-

вала толпою обиженныхъ. Она, то подавала купцу обращенную въ комоеъ «бумажку», говоря: «На, родимый,—получи! Даю рубликъ... да не торопись сдачей,—не обочти старушку!..» то съ просьбою и мольбою подносила нѣсколько «серебряныхъ» монетъ, такихъ же черныхъ и непривлекательныхъ, какъ и ея старческое лицо... Козыревъ хочетъ сомкнуть глаза, но не можетъ... Онъ напрягаетъ всѣ силы, чтобы отвести въ сторону взглядъ, но и это ему не удастся... Онъ хочетъ крикнуть, позвать жену, чтобы она увела старуху, отдала ей все: деньги, лавки, дома, заводъ, мельницу...—но усилія его напрасны!..

Ему кажется, что это происходитъ въ дѣйствительности, что онъ проситъ жену исполнить его волю, но жена даже не желаетъ явиться къ нему, а отвѣчаетъ изъ другой комнаты, что пріѣхалъ отецъ протоіерей, что нужно пожертвовать на церковь, на причтъ... А въ отвѣтъ на его мольбы—ни слова!..

«Какъ же это? Какая тутъ церковь, какой причтъ!?»—хочетъ крикнуть Козыревъ, но на самомъ дѣлѣ этотъ вопросъ еле проносится въ его сознаніи...

.
Мирно, безъ малѣйшихъ движеній, лежитъ въ непробудномъ снѣ Филимонъ Макарьевичъ Козыревъ... Такъ засыпаютъ и властители міра, и бездомные нищіе...

ТОЛСТОГО или ГОГОЛЯ?





ТОЛСТОГО или ГОГОЛЯ?

I.

«Что выписать—Толстого или Гоголя?.. Гоголя я читалъ много разъ, но не могу оторваться отъ этой упоительной поэзіи... Только пять рублей пятьдесятъ копѣекъ и онъ, этотъ безсмертный Гоголь, весь цѣликомъ, со всѣми мельчайшими штрихами своего неподражаемаго юмора, со всей художественною прелестью... Да, купить и опять читать, хотя бы въ десятый, хотя бы и въ сотый разъ... Эхъ, непременно куплю Гоголя!.. — Ну, а Толстой? Девять рублей—тринадцать томовъ... Какая роскошь! Вѣдь это цѣлая полка на моей этажеркѣ... Я, конечно, поставлю его на видномъ мѣстѣ и приглашу къ себѣ въ конурку отца Ивана... «Отецъ Иванъ! не угоднo ли почитать Тол-стого?» и укажу на всѣ тринадцать томовъ... Воображаю какую гримасу изобразить онъ!.. — Нѣтъ, непременно выпишу Толстого!..»

Такъ разсуждалъ самъ съ собой Григорій Михайловичъ Дебальцевъ, сельскій учитель, юноша лѣтъ 24, стройный, блондинъ, съ открытымъ задумчивымъ взглядомъ веселыхъ свѣтло-

карихъ очей! Онъ былъ кротокъ, миролюбивъ, ведъ трезвый, умѣренный образъ жизни, ладилъ съ духовенствомъ. Дебальцевъ любилъ почитать, увлекался поэзіей и благоговѣлъ предъ талантомъ писателя.

Григорій Михайловичъ шелъ изъ села Ивановки, гдѣ онъ служилъ, въ Николаевку, отстоявшую отъ перваго въ четырехъ верстахъ. Онъ не шелъ, а скорѣе прыгалъ, дѣлая вмѣсто шаговъ какіе-то скачки... Цѣлью его путешествія былъ домъ священника отца Павла, гдѣ предполагался вечерокъ, или просто на просто игра въ преферансикъ... Дебальцевъ зналъ объ этомъ, мало того, шелъ съ предвзятой мыслію выиграть. Удивительно, что онъ не былъ ни страстнымъ игрокомъ, ни игрокомъ вообще, а теперь имъ руководила именно какая-то страсть. Играя до сихъ поръ лишь изрѣдка, и то «на мѣлокъ» развѣ, Григорій Михайловичъ въ душѣ порицалъ карты, почему свободно могъ бы провести этотъ вечеръ у себя дома, если бы какой-то злой духъ не жужжалъ ему на ухо, что онъ выиграетъ и на эти деньги,—какая роскошь!—пріобрѣтетъ Гоголя или Толстого.

Да. Эту покупку Дебальцевъ думалъ совершить на выигранныя деньги, но никакъ не на собственные, обыденныя средства. Получая жалованья всего лишь 250 рублей въ годъ, имѣя жену и двухъ дѣтей и, наконецъ, высылая по три рубля ежемѣсячно старику-отцу, Григорій Михайловичъ еле умудрялся сводить концы съ концами и даже не всегда имѣлъ возможность выписы-

вать газетку. Вотъ почему мысль о покупкѣ Толстого или Гоголя только теперь засѣла въ немъ, когда онъ, въ надеждѣ на выигрышъ, съ такой поспѣшностью пробѣгалъ четыре версты, раздѣлявшіе Ивановку отъ Николаевки.

Въ 5 часовъ вечера къ отцу Павлу пожаловали гости: его товарищъ, сосѣдній священникъ, отецъ Кирилль, съ женой и со своимъ братомъ, поручикомъ, холостякомъ лѣтъ тридцати. Послѣдовали обычныя рукопожатія, смѣхъ, разговоры. Но не прошло и получаса, какъ поручикъ восторженно взглянулъ на брата, отецъ Кирилль—на отца Павла, а послѣдній, весело подмигнувъ глазомъ, сдѣлалъ знакъ мужчинамъ, въ томъ числѣ и Дебальцеву, идти за нимъ. Въ укромномъ уголкѣ большой гостиной, особнякомъ отъ остальной мебели, стоялъ карточный столикъ. Отецъ Павелъ раскрылъ крышку стола и взорамъ присутствующихъ представился большой листъ плотной бумаги, чистенько разлинованный и прикрѣпленный кнопками къ зеленому сукну крышки.

— Это хорошо! Такая предусмотрительность мнѣ нравится!—съ восторгомъ воскликнулъ поручикъ, бросая взоръ на рядъ стульевъ и сообщая, какой изъ нихъ нужно взять, чтобы поудобнѣе усѣсться.

— А мнѣ кажется, что сначала нужно закусить, или, по крайней мѣрѣ, напиться чаю,—обратился къ поручику хозяинъ, безъ сомнѣнія предугадавшій его намѣреніе.—Не такъ-ли, Кирилль?

Отецъ Кирилль снисходительно улыбнулся.

— Не знаю...—процѣдилъ онъ послѣ минутнаго молчанія, продолжая добродушно улыбаться.— Сдаюсь въ данномъ случаѣ на волю братца...

— И прекрасно дѣлаешь, Кирюха!—весело подхватилъ поручикъ, успѣвшій уже притащить къ столу кресло.—Почитать старшихъ—Богъ велѣлъ, а я, грѣшный человѣкъ, съ своей стороны скажу, что это—разлюбезное дѣло!.. Особенно оно важно въ твоёмъ санѣ. — Не угодно ли? Ха-ха-ха!

Поручикъ уже сидѣлъ, братъ его и отецъ Павелъ стояли тутъ же; нѣсколько поодаль стоялъ Дебальцевъ.

— Нѣтъ, господа, я не позволю!.. Прошу не оскорблять хозяина!—поддѣлываясь подъ обидчивый тонъ проговорилъ отецъ Павелъ:—Хотя бы по стакану чаю, господа!

— Прекрасно! Это мы сейчасъ же сдѣлаемъ,—проговорилъ поручикъ, сознававшій, что на его долю выпадаетъ роль руководить обществомъ.—Конечно, смѣшно.. Почему же не выпить!.. Только, господа, съ условіемъ: пить, ѣсть, смѣяться, разговаривать—здѣсь-же... «за дѣломъ»... не теряя драгоцѣннаго времени... Согласны?

— Ка-анечно!—сейчасъ же добавилъ онъ:—Я никогда въ жизни не совѣтовалъ ничего худого.

Присутствующіе почувствовали себя побѣжденными, и всѣ въ ту же минуту усѣлись.

Подали чай.

«Такъ что-же, Толстого или Гоголя?»—промелькнуло въ сознаниі Дебальцева, какъ бы въ послѣдній разъ. Но вслѣдъ за этимъ вопросомъ ужасъ овладѣлъ бѣднымъ учителемъ: въ немъ, помимо воли, впервые мелькнула мысль: «А что—если проиграю?»—«Нѣтъ, нѣтъ, ты проиграть не можешь...—успокаивающе говорило въ немъ другое чувство, то именно чувство, которое побуждало купить Гоголя или Толстого.—И этотъ поручикъ и эти поники,—продолжало оно:—народъ горячій, невыдержанный: для нихъ десять рублей не деньги... А ты... ты будешь играть осторожно, навѣрняка...»

— Бла-годарю!...—важно выкрикнулъ поручикъ, успѣвшій въ двѣ минуты осушить стаканъ горячаго чая.—Играемъ, конечно, съ «Разбойникомъ»?

— Какъ-же, обязательно!..—воскликнулъ отецъ Павелъ.—Иначе я не сталъ бы играть...

— А помнишь, Павелъ,—обратился къ хозяину отецъ Кирилль:—когда я игралъ «семь» и остался безъ «семи»!.. Ха-ха-ха... До чего забавно!..

— Въ такомъ случаѣ я не понимаю васъ, господа!—нѣсколько робкимъ тономъ заявилъ Дебальцевъ:—Всѣ правила преферанса мнѣ извѣстны, но...

— И прекрасно!—прервалъ его поручикъ:—Вѣроятно, вы имѣете сказать, что не играли съ «Разбойникомъ»? Да?

— Даже не слыхалъ, представьте...

Поручикъ и оба отца—Павелъ и Кирилль—

одновременно открыли рты, чтобы объяснить Дебальцеву смысл «Разбойника», но поручикъ торжественно поднялъ руку вверхъ, давая этимъ знакъ къ молчанію...

— Шш... Отцы честные!.. Тамъ, гдѣ профессоръ на лицо, первое слово принадлежитъ ему, а не слушателямъ!—Прошу допивать чай... Кончайте и вы... кажется, Григорій Михайловичъ?

— Да...

Поручикъ нѣсколько пріосанился и, съ сознаніемъ собственнаго достоинства, началъ:

— Авторъ «Разбойника», слѣдуетъ доложить вамъ-съ, никто иной какъ Степанъ Ильичъ Чернышевъ, имѣющій честь въ данную минуту видѣть въ васъ одного изъ своихъ послѣдователей... Да-съ, «Разбойникъ» изобрѣтенъ мною самолично, безъ малѣйшаго посторонняго участія. И замѣьте, что съ той поры, какъ сдѣлалъ я это открытіе, у насъ въ полку возобновили игру въ преферансъ и не иначе, какъ съ «Разбойникомъ». Отвѣдавши этотъ способъ игры, вы потомъ уже не разстанетесь съ ней... Я распространяю «Разбойника» всюду: по городамъ и селамъ, по желѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ, имѣю тысячи поклонниковъ и ото всѣхъ слышу «спасибо»...

— Ха-ха-ха!—разразился отецъ Кириллъ:—Однако, братище, ты настоящій профессоръ! Совѣтую принять это къ свѣдѣнію, Григорій Михайловичъ. И если случится вамъ въ вашей школѣ объяснять ученикамъ—какое значеніе имѣють дрова?—вы сначала изучайте всѣ поро-

ды деревьевъ, изучайте основательно, а потомъ сдѣлаете выводъ: «Дрова—матеріаль первой важности, въ особенности, если хорошо горять въ печкѣ»... Ха-ха-ха!

— Отче! Любезный отче! Ты еще слишкомъ младъ и не знаешь, какую роль играетъ въ жизни «убѣжденіе»... Всякаго человѣка сначала нужно убѣдить въ чемъ-либо, а потомъ уже...

— Bravo!—прервалъ поручика хозяинъ:—А такъ какъ вы ужъ достаточно убѣдили... Григорій Михайловичъ, слушайте!

Отецъ Павелъ схватилъ Дебальцева за руку и скороговоркой произнесъ:

— Всѣ обязательно играютъ пики, потомъ трефи... бубны и червы... Затѣмъ—«безъ козыря» и, наконецъ, «семь» какихъ угодно: Вотъ вамъ и весь «Разбойникъ»!..

— Нѣтъ, это не резонъ, отецъ Павелъ!—совершенно спокойно замѣтилъ поручикъ:—Самую-то суть вы объясняете такъ поверхностно... «Пики, черви, бубны, безъ козыря, «семь какихъ угодно?!»—Кто же пойметъ васъ? Очень жаль, если вы и въ церкви утѣшаете мужичковъ такими поспѣшными проповѣдями...

— Ваша, напимѣръ, сдача,—продолжалъ поручикъ, обращаясь къ учителю и нѣжно касаясь при этомъ верхней пуговицы сюртука.—Въ такомъ случаѣ, разумѣется, мой выходъ. Я обязательно долженъ играть пики, хотя-бы у меня не было ни одной изъ нихъ. Понимаете? Остальные, въ свою очередь, обязательно вистуютъ и каждый изъ нихъ опять-таки долженъ

взять не меньше двухъ взятокъ; въ противномъ случаѣ—ремизъ... Разумѣется, игра идетъ самостоятельно, безъ «приглашеній»... Послѣ меня игра въ пики принадлежитъ вамъ и т. д., всѣмъ по очереди. За пиками слѣдуютъ трефи за трефами—бубны, червы; наконецъ, всѣ по разу играютъ «безъ козыря» и въ заключеніе—семь любимыхъ. И только послѣ этихъ превратностей начинается обыкновенный преферансъ. Если пулька не окончена, а ремизы разыграны,—«Разбойникъ» опять возобновляется... и т. д.—Вотъ вамъ все объясненіе!—съ сознаніемъ собственного достоинства заключилъ Чернышевъ.—Коротко и ясно,—мало, но поучительно!

Дебальцевъ хотѣлъ былъ возразить, но ему, какъ сдатчику, сунули въ руки карты и игра началась...

II.

Отецъ Павелъ Прилуцкій и отецъ Кирилль Чернышевъ были молоденькіе, выхоленные священники, по двадцати съ небольшимъ годиковъ каждому, похожіе другъ на друга, какъ близнецы. Оба средняго роста, стройные, осанистые, они имѣли почти одинаковые голубоватые глаза, правильные черты лица, хотя эти послѣдніе, если присмотрѣться внимательно, существенно различались между собою. Отецъ Павелъ имѣлъ прямой, точно вылитый, вполне пропорціональный носъ, у отца же Кирилла эта часть лица была нѣсколько вздернутой и кончикомъ своимъ на-

поминала маленькую, изящно выхоленную сливку. Зато губы у отца Кирилла, очертаніе рта, улыбка—могли смѣло пригодиться любой красавицѣ: все это дышало симпатіей, законченностью формъ, говорило о мягкости нрава, чистосердечности, добротѣ души. Вообще въ физіономіи Чернышева, въ его манерахъ, голосѣ проглядывало что-то женственное, въ то время какъ отецъ Павелъ, выглядѣлъ мужественнымъ, даже суровымъ. Оба священника имѣли смуглый цвѣтъ лица, оба были близоруки, у обоихъ, наконецъ, вмѣсто бороды и усовъ, пробивался темнорусый шелковистый пушокъ. Оба они окончили курсъ въ одной и той же семинаріи, состояли въ лаптырскомъ санѣ лишь по второму году, и, будучи людьми дѣятельными и энергичными, пользовались любовью прихожанъ... Религіозныя хохлушки не чаяли въ нихъ души и называли ихъ не иначе, какъ «молодесенькими и гарнесенькими батюшечками».

Къ отцу Кириллу частенько пріѣзжалъ его братъ, уже извѣстный намъ поручикъ, Степанъ Ильичъ. Хотя онъ и являлся нѣсколько разъ въ годъ къ своему отцу, богатому, пожилому священнику, но въ сущности всегда гостилъ у отца Кирилла.

— Эхъ, старина, скука у тебя невыносимая! Отовсюду несетъ «Дубомъ Мамврійскимъ»...—обыкновенно говаривалъ онъ по пріѣздѣ къ старику-отцу.—Переберусь лучше къ Кирюхѣ.

И Степанъ Ильичъ уѣзжалъ къ брату.

— А знаешь, голубчикъ,—едва перешагнувъ

порогъ говорилъ онъ брату:—я къ тебѣ на жительство... Дражайшій нашъ родитель вѣкъ свой прожилъ и ничего, разумѣется, не видѣлъ и видѣть не желаетъ. Какъ бы къ вечеру насчетъ партнера!

Добродушный отецъ Кириллъ, вообще никому ни въ чемъ не отказывавшій, тѣмъ болѣе не могъ не уважить брата, котораго онъ любилъ. Тащили обыкновенно отца Павла, какъ друга и ближайшаго священника, или уѣзжали къ нему.

И теперь случилось также... Степанъ Ильичъ, просидѣвъ у отца два-три часа, въ теченіе которыхъ, по его же словамъ, онъ обратился въ ветхозавѣтнаго праведника,—не замедлил явиться къ отцу Кириллу, гдѣ въ союзѣ съ отцомъ Павломъ на славу «пропѣли Разбойника» и затѣмъ, какъ водится, отдавали честь другу...

Итакъ, игра началась.

Чернышевъ-поручикъ первый испыталъ на себѣ всю прелесть «Разбойника», оставшись «безъ двухъ». За нимъ сыгралъ его братъ—«безъ одной». Отецъ Павелъ взялъ «свои» и заремизилъ вистующихъ.—Пришла очередь къ Дебальцеву. Онъ съ дрожью въ рукахъ разобралъ карты и... о, ужасъ! остался «безъ четырехъ»...

— Ничего, ничего, не робейте! Это хорошая примѣта!—поощрялъ учителя поручикъ.—Я вамъ предсказываю выигрышъ... А эти молодцы... (тутъ онъ взглянулъ на священниковъ). Охъ, преподобные отчеки! Открывайте заранѣе свои поповскіе карманы!..

Въ гостинной показалась хозяйка, а за ней—жена отца Кирилла.

— Вотъ какъ! Уже усѣлись!—замѣтила первая изъ нихъ, добродушно улыбаясь. На самомъ же дѣлѣ, и въ глубинѣ этой улыбки, и въ звукахъ голоса матушки скрывалось что-то до боли грустное.

Весь вечеръ, почти всю ночь, молодые матушки блуждали изъ угла въ уголь, старательно кутаясь въ шали, хотя въ комнатѣ было слишкомъ тепло (несомнѣнный признакъ неудовольствія провинціальныхъ дамъ). Впрочемъ, онѣ нѣсколько разъ подходили къ мужчинамъ, оставались возлѣ нихъ нѣкоторое время и опять уходили,—и то бесѣдовали другъ съ другомъ, то сидѣли молча. Въ разгаръ игры, матушка-хозяйка остановилась около мужа и бросивъ мимоletный взглядъ на испещренное цифрами боевое поле, любезно обратилась къ Дебальцеву:

— Григорій Михайловичъ, какъ дѣла ваши?

— Такъ-себѣ...—сухо проговорилъ учитель, еле удостоивая собесѣдницу мимоletнымъ взглядомъ и сосредоточивая все вниманіе на картахъ. Въ дѣйствительности же, онъ отвелъ глаза, боясь показаться жалкимъ.

Но онъ ошибся въ расчетѣ. Матушка давнымъ-давно сожалѣла о немъ. Замѣтивъ, что ремизы Дебальцева заняли на бумагѣ такое же обширное мѣсто, какое на картѣ полушарій занимаетъ Великій океанъ, она понимала, что дѣла учителя не блестящи, и ей отъ души стало жаль этого бѣднаго новичка.

— Да, онъ проиграетъ и, кажется, много... А сколько, напри^мѣръ?—соображала она, сопоставляя перемаранные, небрежно написанные цифры.

И только ея чуткая душа понимала, что это нехорошо, нечестно... что такъ не должны дѣлать люди, а между тѣмъ дѣлаютъ,—дѣлаютъ съ любовью, съ наслажденіемъ, съ готовностью просиживать ночи. Ей въ эту минуту казались противными и отецъ Кирилль, и бойкій поручикъ, и даже мужъ, котораго она любила,—одинъ учитель заслуживалъ ея участія и сожалѣнія.

Но о чемъ думалъ въ это время и что испытывалъ самъ Дебальцевъ?

Ни о чемъ опредѣленномъ онъ не думалъ, ничего не испытывалъ: онъ не способенъ былъ на это... Умъ, сердце, могущіе въ другое время дать мысль, чувство,—какъ-бы замерли въ немъ, потерявъ всякую способность къ обычной дѣятельности. Онъ хотѣлъ соображать—но не могъ, смѣяться—но смѣхъ не затрагивалъ его чувствъ, и странно—онъ совсѣмъ не злился. Конечно, онъ уже не желалъ выиграть, даже не жалѣлъ о проигрышѣ, и лишь механически, какъ автоматъ, засматривалъ въ чужіе висты.—«Четырнадцать... четыре... шесть тысячъ—это я отдаю... Такъ! А имѣю? Двѣ... четыре... три. Значить, сколько это?..—соображалъ онъ, и не могъ сообразить.—Четырнадцать да четыре? Это?.. Сколько же? Четырнадцать да четыре будетъ... будетъ... восемнадцать... Такъ! Да еще?—Сколько тамъ еще?.. Кажется, шесть? Да, шесть... Значить, восем-

надцать да шесть?.. Восемнадцать да шесть?
Бу-у-у-детъ... Да.. бу-у...»

— Ваша сдача!—прерываль его поручикъ,
и бѣдный учитель совершенно теряль нить въ
своемъ расчетѣ.

— Ахъ, все равно! Лишь бы поскорѣе ко-
нецъ!..—шепталъ онъ. И это ожиданіе конца
было единственнымъ сердечнымъ желаніемъ Де-
бальцева.

Но вотъ этотъ конецъ пришелъ... Всѣ за-
шуршали карандашиками...

— Вамъ я сколько отдаю? А вамъ?—вопро-
шали другъ друга.

Одинъ Дебальцевъ «не шуршаль» и «не воп-
рошаль»: онъ безмолвно стоялъ тутъ же и жадно
курилъ папиросу... Онъ глядѣлъ какъ вычисляли
другіе, но какъ бы не понималъ этихъ расчетовъ
и, повидимому, лишь слѣдилъ за начертаніемъ
цифръ, какъ это дѣлають неграмотные. Онъ
уже не жалѣлъ о томъ, что проигралъ, не боял-
ся даже размѣра проигрыша,—онъ страшился
одного: что о немъ будутъ сожалѣть.

— Бѣдный Григорій Михайловичъ! Да сколь-
ко-же онъ проигралъ?—отозвался кто-то.—Онъ
мнѣ отдаетъ цѣлыхъ пятнадцать тысячъ...

Эти слова, точно ножомъ, ударили въ сердце
Дебальцева. Онъ способенъ былъ убѣжать, раз-
рыдаться или броситься и истребить всѣхъ и
вся: до того была мучительна эта рана, до того
была сильна ея боль. Самъ Дебальцевъ, стра-
шась теперь этого чувства, употребилъ усиліе,
чтобы погасить его.

«Пожалѣлъ батъка въ наймахъ!—говорятъ остроумные хохлы, когда видятъ предъ собой мотивы напраснаго сожалѣнія.—А впрочемъ, всякое сочувствіе—да благо!»

Умнѣ этого Дебальцевъ ничего не могъ придумать и, принужденно улыбнувшись, вышелъ въ столовую.

— Простите, я сейчасъ вернусь,—уходя прибавилъ онъ.

Въ столовой сидѣли матушки и лѣниво работали ртами, очевидно, не изъ потребности къ ѣдѣ, а вслѣдствіе борьбы со сномъ.

— Окончили? Ну и слава Богу!—сказала матушка-хозяйка, при появленіи Дебальцева.— Вѣроятно, вы въ большомъ проигрышѣ?

— Не знаю, право... Подсчитываютъ... А я вотъ, съ вашего разрѣшенія, пользуюсь случаемъ, чтобы подкрѣпиться на дорогу.

— Какъ? Сейчасъ уходите?

— Я думаю—пора...

Минуты черезъ двѣ Дебальцевъ былъ въ гостинной.

— Григорій Михайловичъ! «Тайна сія велика есть»...—обратился къ нему отецъ Навель, уныло кивая головой...

— Что такое?..

— Вы пра-а-играли восемнадцать рублей семьдесятъ шесть копеекъ,—съ солдатской твердостью отчеканилъ поручикъ, привыкшій, вѣроятно, объявлять партнерамъ окончательный результатъ игры.— Вашъ проигрышъ цѣликомъ принадлежитъ мнѣ, а отецъ Кириллъ отдаетъ

отцу Павлу свой, состоящій изъ «пяти девяноста»... Такъ вѣдь, господа?..

Оба отцы утвердительно кивнули головой.

Наступила послѣдняя тяжелая для учителя минута: нужно было вынуть и отдать деньги... Но не въ этомъ, конечно, заключалась она, а въ томъ, что проигранныя деньги нужно было отдать съ твердостью, безъ малѣйшей дрожи въ рукахъ, не краснѣя,—такъ, чтобы никто и не подозрѣвалъ о томъ, что въ эту минуту творится на сердцѣ.

Къ счастью, такъ и случилось. Дебальцевъ отсчиталъ проигранную сумму и хладнокровно выложилъ на столъ.

— Прошу покорно... Получите,—вѣжливымъ, чисто дѣловымъ тономъ отчеканилъ онъ, насколько не выражая ни сожалѣнія, ни тѣмъ болѣе, неудовольствія.

И это вышло неподражаемо. Игрокамъ вдругъ стало легко, хотя всѣ, вѣроятно, тутъ же подумали: «Какъ, неужели учителю не жаль такихъ денегъ?»

Картину эту еще болѣе скрасилъ поручикъ. Онъ мелькомъ взглянулъ на деньги, но взялъ ихъ не сейчасъ же: Степанъ Ильичъ, очевидно, знакомъ былъ съ приличіемъ.

«Слава Богу!—подумалъ Дебальцевъ:—все кончено!.. Но какъ же быть теперь? Уйти сейчасъ неловко, нужно посидѣть минутъ десять...»

И, выслушавъ отъ поручика увѣреніе, что «Разбойникъ» все-таки прекрасная вещь, но что ему, Дебальцеву, удивительно не везла карта,

и что онъ, поручикъ, играя въ полку «по полкопейки», не разъ проигрывалъ рублей по тридцати, сорока и болѣе, зато и выигрывалъ по семидесяти съ хвостикомъ,—покорно выслушавъ все это, Дебальцевъ распрощался и вышелъ.

III.

Было уже далеко за полночь. Нигдѣ ни огонька. Все село спало; лишь изрѣдка лаiali собаки. Переходъ отъ освѣщенныхъ комнатъ къ глубокой безлунной ночи былъ слишкомъ ощутителенъ и Дебальцевъ могъ итти лишь потому, что зналъ дорогу. Впрочемъ, минутъ черезъ десять глазъ его освоился съ этой новой обстановкой: показалось звѣздное небо, выдѣлились силуэты избъ,—и Дебальцевъ, какъ бы ободренный этимъ, быстро и легко зашагалъ по улицѣ.

Онъ шелъ ни о чемъ не думая, боязливо озираясь по сторонамъ, хотя страха онъ, въ сущности, не чувствовалъ. Его что-то давило, ему было тяжело,—и эту тяжесть какъ бы усиливали окружавшіе его предметы: постройки, изгороди, ночующія по улицамъ свиньи, лающія собаки, мѣшавшія ему предаться размышленію, уйти въ глубь самого себя, чего требовала теперь его пылкая душа.

Но когда Дебальцевъ миновалъ послѣднюю избу села и очутился среди степи, лежавшей сплошь до Ивановки, на разстояніи четырехъ верстъ,—томившее его неопредѣленное чувство исчезло, уступивъ свое мѣсто безысходному от-

чаянію... Онъ остановился, посмотрѣлъ вокругъ себя, какъ бы для убѣжденія, что предъ нимъ дѣйствительно одна нѣмая степь, и глубоко вздохнулъ.

— Боже! что я сдѣлалъ?..—удушливымъ шопотомъ прознесъ онъ.—Восемнадцать рублей семьдесятъ шесть копеекъ... почти девятнадцать рублей, почти мѣсячное жалованье!

И имъ овладѣло отчаяніе, глубокое, безысходное. Снявъ шляпу, понурия голову, медленными, неровными шагами выступалъ онъ по широкой пыльной дорогѣ, желая чтобы эта ночь была для него вѣчной, а степь—безысходной. Онъ глядѣлъ какъ-то странно, исподлобья, то стиснувъ зубы, то открывая ротъ, чтобы жадно наполнить грудь свѣжимъ степнымъ воздухомъ, точно тамъ что-то жгло, сжимало эту грудь, мѣшая правильному дыханію.

— И зачѣмъ это не лѣсъ, не пустыня,—злбно шепталъ онъ:—а мирная степь, гдѣ нѣтъ ни звѣрей, ни разбойниковъ, гдѣ ничто не можетъ наказать меня за мой безнравственный поступокъ?!

Таковы были въ этомъ человѣкѣ первыя минуты отчаянія, вызванныя глубокимъ сознаніемъ того, чего онъ не могъ простить себѣ. И какъ ни велико было это презрѣніе къ себѣ, это нравственное самобичеваніе, однако только оно могло принести Дебальцеву нѣкоторое успокоеніе: что-то горькое и въ то же время пріятное чувствовалось въ немъ,—какъ чувствуетъ удовлетвореніе душа преступника отъ заслуженно понесеннаго наказанія.

И опять какая-то тягота, какое-то непосильное бремя легло Дебальцеву на душу, когда прошелъ этотъ первый пылъ самобичеванія и имъ овладѣло раздумье о жизни вообще, о матеріальныхъ средствахъ людей, объ ихъ поступкахъ. Въ воображеніи его рельефно обрисовался образъ, вся фигура его молодой, красивой жены, такой же стройной, такой же бѣлокурой, какъ и онъ. Она любила его страстно, дорожила его взглядомъ, улыбкой, окружала его своимъ вниманіемъ. Она трудилась день и ночь, трудилась безкорыстно, въ силу одной супружеской дружбы, узами которой она такъ дорожила, не ставя себѣ въ заслугу этотъ вѣчный самоотверженный трудъ бѣдной хозяйки. А между тѣмъ, эта безконечная бѣготня поглощала всю ея жизнь: у нея не было времени, когда-бы она могла сказать: «теперь я свободна»,—у нея не оставалось минуты для отдыха, для личнаго удовольствія. И при всемъ этомъ, она нисколько не тяготилась своимъ положеніемъ, не подумала даже упрекнуть мужа въ томъ, что онъ бѣденъ и что ей приходится много работать,—напротивъ, охотно усложняла свой трудъ, рассчитывая въ копейкѣ.

Все это давно сознавалъ Дебальцевъ, а теперь, конечно, тѣмъ болѣе. Когда онъ шелъ на этотъ проклятый вечеръ, грустная улыбка проскользнула на устахъ его жены, и онъ понималъ эту улыбку. Онъ чувствовалъ—насколько онъ любимъ, какъ беспокоится жена, когда онъ уходитъ изъ дому,—но не пожалѣлъ эту любя-

щую женщину: не могъ устоять противъ соблазна. Мало того, онъ обманулъ ее: онъ сказалъ, что идетъ на часъ, много—на два, что къ осьми будетъ; что онъ только «отдастъ честь», поболтаетъ, напьется чаю, а о картахъ, о предстоящей игрѣ—ни слова!.. Понятно, въ его же интересѣ было не сообщать женѣ и о полученномъ имъ того же дня жалованьи, которое онъ всегда передавалъ ей цѣликомъ,—въ противномъ случаѣ, она обезоружила-бы его, а у Дебальцева не хватило-бы совѣсти просить денегъ «на карты». И вотъ, чтобы не остаться дома, онъ солгалъ предъ ней,—безсовѣстно, нагло, какъ способны лгать лишь испорченные мальчишки.

Вотъ о чемъ думалъ теперь Дебальцевъ.

— Да, я отвергъ этотъ семейный міръ, этотъ тихій истинный рай!—продолжалъ онъ.—Я посмѣлся надъ любящимъ меня существомъ, я отплатилъ ему самой черствой неблагодарностью. И теперь она одна среди нѣмыхъ стѣнъ убогой полуразвалившейся школы, она, хлопотавшая весь день, въ награду за свой чистый, безропотный трудъ—остается безъ отдыха, безъ сна, въ горѣ, быть можетъ, въ отчаяніи!.. «Гдѣ онъ? Почему его нѣтъ до сихъ поръ? Что случилось съ нимъ? Думаетъ ли онъ обо мнѣ?...»

И воображеніе его работало съ удвоенной силой, рисуя предъ нимъ мрачныя картины. Оно представляло ему жену полураздѣтой, полулежащей на кровати. Она похудѣла за эту ночь, лицо ее осунулось, а прекрасные голубые глаза, глубокіе и ясные, какъ лазурное небо,

теперь поблекли отъ утомленія, отъ слезъ, отъ печали.

Тутъ же, въ двухъ шагахъ отъ тоскующей матери, стоитъ небольшая дѣтская кроватка, въ которой спитъ его старшій четырехлѣтній сынъ Мишукъ. Дебальцевъ любилъ и баловалъ его, и малютка могъ уже понимать это. «Папа, ты здѣсь?»—часто бывало окликалъ онъ отца, проснувшись ночью.—«Я здѣсь... здѣсь, съ тобой. Спи, мой хорошій, дорогой сыночек!»—отвѣчалъ Григорій Михайловичъ на зовъ сына. Малютка улыбался, закрывалъ глаза и засыпалъ.

Какая-же удрушлительная боль сказала въ сердцѣ Дебальцева, когда онъ вспомнилъ обо всѣмъ этомъ!—«Напа! папа!»—звучалъ у него въ ушахъ голосъ сына, какъ будто Мишукъ былъ занесенъ въ эту мрачную, безлюдную степь и невдалекѣ съ отчаяніемъ взывалъ къ нему... «Спи... Господь съ тобой!»—слышался Дебальцеву другой голосъ—тихій, нѣжный, но, очевидно, подавляемый рыданіями.—Спи! Это я... твоя мама... Я здѣсь... не оставлю тебя...»

— О, я вѣрю, ты не оставишь ихъ, своихъ дѣтей,—въ отчаяніи отозвался Дебальцевъ, повышая голосъ.—Не оставишь ихъ за тысячи,—готова пожертвовать для нихъ всѣмъ... своею жизнью... А я? Я ушелъ и просидѣлъ за картами всю ночь... лишился того, безъ чего и они, и ты останетесь голодными... О, какая подлость! Какое бессмысленное непониманіе жизни!

Зачернѣли избы. Это была Ивановка.

— Какъ, неужели я дома?—подумалъ Де-

бальцевъ,—и ему сдѣлалось жутко, страшно... Это чувство еще болѣе усилилось, когда онъ подходилъ къ своей школѣ, небольшому мрачному строенію, расположенному среди площади. Усталость, дрожь овладѣли имъ... Онъ тихо открылъ калитку, вошелъ во дворъ, остановился. Въ школѣ казалось тихо, пусто, словно тамъ никто не жилъ. Дебальцевъ на цыпочкахъ подошелъ къ окну своей квартиры, осторожно открылъ ставню и, какъ воръ, посмотрѣлъ въ щелочку. Сначала онъ ничего не могъ различить, но потомъ выдѣлилась вся комната въ своемъ обычномъ видѣ. Въ углу, предъ образами, заревомя стоялъ свѣтъ отъ лампы, на столѣ лежали газеты, книги; стулья, кушетка, на которой онъ спитъ,—все оставалось на своихъ мѣстахъ. Но это была только одна половина комнаты, другая же—скрывалась за ширмами.

— Лиза!—съ большимъ усиліемъ произнесъ Дебальцевъ, но произнесъ такъ тихо, точно боялся этого имени...—Лиза! Лиза! отвори!.. Это я...—болѣе смѣло окликнулъ онъ и слегка, чуть-чуть слышно, постучавъ въ окно, поспѣшно направился къ двери.

Послышались легкіе женскіе шаги. Щелкнулъ крючекъ.

Опустивъ голову на грудь, Дебальцевъ покорно стоялъ у двери и дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. «Господи, что я могу сказать ей?»—подумалъ онъ, и при одной этой мысли болѣзненно сжалось въ немъ сердце, закружилась голова.

Онъ не встрѣтился съ женой, а когда во-

шелъ въ комнату, она уже лежала за ширмами, старательно кутаясь въ одѣяло. Ему на минуту сдѣлалось легче. Онъ, быстро оправивъ постель, задулъ лампадку и улегся.

«Слава Богу!—начало есть... Ахъ, если бы таковъ былъ и конецъ!»—невольнo подумалъ онъ. Но какъ бы въ отвѣтъ на это, тяжелые вздохи слышались за ширмами, а потомъ—рыданія, бурныя, истерическія...

— Лиза!.. Прости!..—въ отчаяніи простоналъ бѣдный учитель. Онъ хотѣлъ было заплакать, но не могъ...

А рыданія за ширмами продолжались.

И Дебальцевъ понималъ, что это были не слезы злости, ревности, а невольная боль оскорбленной женщины, кроткой, честной, имѣющей право требовать и отъ другихъ такой же честности, кротости, нѣги...

— А что будетъ завтра?—подумалъ онъ, какъ-бы изъ желанія увеличить свою душевную рану, усилить ея боль.—Да. Что будетъ завтра, черезъ день, два, когда потребуются деньги, что-бы купить хлѣба, мяса, молока?!

Что будетъ?!

С Ъ Д Л О



С Ъ Д Л О

Лѣсничій Несторъ пріѣхалъ въ слободу по дѣлу, да и попалъ въ шинокъ. А тамъ все пріятели, одинъ другого лучше: Семень Кривонось, Иванъ Бабко, Поликарпъ Щука. Зашумѣли пуше прежняго,—полилась горилка, будто «старосты» ввалились въ хату... Угощаютъ мужики Нестора, Несторъ угощаетъ ихъ, а Семень Кривонось, названный братъ лѣсничаго, такъ и тычетъ ему подъ носъ бутылку.

Гуляли немного и немало—до полуночи; распрощались, выходятъ на дворъ провожать Нестора. Тотъ къ лошади, а сѣдла нѣтъ.

— Гай-гай, хлопцы!—говоритъ Несторъ:—великій срамъ случился: у лѣсничаго сѣдло украли! Тьфу, напасть! Сѣдло стащить съ лошади!.. Позоръ на всю жизнь!..

Всѣ подходятъ, ощупываютъ лошадь,—было темно, хотъ глазъ выколи. Дѣйствительно, лошадь налицо, а сѣдла нѣтъ.

— Кому бы сѣдло украсть?—разсуждаютъ между собой пріятели и возвращаются въ шинокъ.

Несторъ садится въ красный уголь.

— Срамъ, да и только!—повторяетъ онъ въ сотый разъ.

Щука крутить усь и добавляетъ, что это дѣйствительно нехорошая примѣта. А Семень Кривоносъ усьлся особнякомъ за столъ, закрылъ глаза, сжалъ кулаки, выпрямилъ лишь указательные пальцы, кружить ими, сводить ихъ другъ къ дружкѣ—ворожить... Пальцы не встрѣчаются, а уходятъ одинъ отъ другого чуть ли не на цѣлую сажень.

— Одарка, братику, сѣдло украла! Ей-ей, Одарка!—кричитъ онъ:—Какъ хотите, а сѣдло украла Одарка!

Настала тишина; всѣ съ удивленіемъ смотрятъ на Кривоноса, встаютъ со своихъ мѣстъ. До сихъ поръ никому въ голову не приходило, что тутъ могла замѣшаться Одарка, а теперь всѣ почему-то склонны были заподозрѣть въ кражѣ именно Одарку. Одинъ Бабко, повидимому, не принимаетъ въ этомъ предположенія никакого участія; сидитъ, не шевелясь, съ закрытыми глазами, будто дремлетъ.

— погоди, Семень!—обращается онъ къ Кривоносу.—Это послѣ чего же ты дурачишь народъ крещеный?.. Что сѣдло украла Одарка—это можетъ статься... Но кто тебѣ повѣритъ въ этомъ? Вѣдь у тебя ни разу не соткнулся палецъ съ пальцемъ.

— Такъ, такъ!—спохватились всѣ.—Иванъ говоритъ правду. Дѣйствительно, у Семена ни разу не сошелся палецъ съ пальцемъ. А что же ты, Семень, дурней нашелъ въ самомъ дѣлѣ, что ли?..

— Хе-хе, хлопцы!.. У кого же умъ будетъ, если братъ Несторъ, Поликарпъ Щука, Иванъ

Бабко, да шинкаръ Нетяга дурнями стали бы?!.. Но кто можетъ отгадать казачью думку?—и Семень выскочилъ изъ-за стола.

— Я говорю—кто можетъ отгадать казачью думку?—зычнымъ голосомъ прокричалъ Кривонось.—Молчите?.. Такъ знайте же, братцы, что козакъ думаетъ одинъ разъ «на-лицо», а другой «навыворотъ». Всѣ вы видѣли, что я ворожилъ, но никому въ голову не пришло, что я надѣлъ чоботы напередъ каблуками.

Въ шинкѣ тишина; ни звука... Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ слушаютъ Кривоноса.

— Я ворожилъ такимъ способомъ,—продолжалъ онъ:—если пальцы не сойдутся всѣ три раза, то, значить, сѣдло украла Одарка. А если хотя разъ толкнется палецъ о палецъ, то вѣстимо, не она... Не туда козакъ попалъ, куда цѣлилъ!

— Теперь и я повѣрю, что на вербѣ выросли груши!—обозвался шинкаръ Нетяга:—А ну-ка, Семень, заворижи ты намъ по настоящему—не напередъ каблуками, а назадъ. Тогда, навѣрно, и съ открытыми глазами не попасть тебѣ пальцемъ въ палецъ. Небойсь, не одну квартиру осушилъ сегодня!.. Ха-ха-ха!..

— Гэ-гэ, Семень!—гаркнули всѣ.—Пасту-пилъ тебѣ шинкаръ на хвостъ... Такъ, такъ! Заворижи по-настоящему—тогда повѣримъ. Ей-ей, повѣримъ!.. А ну-ка!..

— Выходить, чтобы я остался въ дурняхъ, а не вы?—съ улыбкой замѣтилъ Кривонось.—Ладно! я ворожить не прочь... Но зачѣмъ же

мнѣ пальцы свои ломать-то даромъ? Какъ тебѣ кажется, Демидъ Карповичъ Нетяго?

— Какъ кажется?—переспросилъ шинкаръ съ язвительной улыбкой:—А кажется мнѣ такъ, Семень Самсоновичъ, что ежели дитя не умѣетъ ходить безъ посторонней помощи, то какъ бы оно не тянулось, а все же свалится назадъ или напередъ—одно изъ двухъ!

— Стало быть и я какъ та дѣтина?! Ой-ой, шинкарю!.. Поставишь кварту? А не попаду,—поставлю я. — Молчишь?

— Умѣлъ начать, умѣй и вывершить!—вмѣшались въ свою очередь прочіе, обращаясь къ шинкарю:—Что же ты, Демидъ! Не хочешь развѣ, чтобы Кривоносъ поставилъ кварту? Или ты не поставишь?

— Мнѣ то что! Горилка своя... Платить грошей никому не стану. Что-жъ, кварта, такъ кварта! Пусть будетъ такъ! Есть, кажется, въ запасѣ цѣлый боченокъ; до утра всей не выпьемъ! А выпьемъ—и тогда мало горя: привезу снова!

Шинкаръ налилъ штофъ и поставилъ на столъ.

— Давай и чарку,—сказалъ Кривоносъ.

Подаль шинкаръ и чарку.

— Теперь, вотъ что,—серьезно проговорилъ Кривоносъ:—горилка ничья. Если я попаду всѣ три раза пальцемъ въ палецъ, кварта моя; если же не попаду—плачу гроши...

Кривоносъ закрылъ глаза, чтобы приступить къ ворожбѣ, но не тутъ-то было... Ему надви-

нули шапку ниже самого носа, а шинкаръ снялъ съ себя длинный-предлинный поясъ, завязалъ имъ ворожею поверхъ шапки, не только глаза, но и все лицо, такъ что остались видны лишь концы длинныхъ усовъ,—да вдобавокъ вывелъ его изъ-за стола и оставилъ среди хаты.

— Правду говорятъ, что шинкаръ и чортъ—сродни немножко!—съ трудомъ проговорилъ Кривоносъ.—Зачѣмъ же ротъ завязалъ, собака?! Дышать нечѣмъ!

— Ничего не пропадешь!—отозвался Нетьга.—Ворожи!..

Кривоносъ зашатался: онъ былъ изрядно пьянъ. Потомъ растопырилъ ноги почти на цѣлую сажень одну отъ другой, склонилъ напередъ корпусъ и голову, походившую теперь на огромный горшокъ,—укрѣпился, такимъ образомъ, какъ слѣдуетъ, и закружилъ кулаками... Кружилъ онъ ими долго, минутъ пять, потомъ быстро развелъ ихъ въ стороны, насколько позволяла возможность, и, наконецъ, началъ сводить ихъ другъ къ другу, искусно выдѣлывая при этомъ указательными пальцами быстрыя, своеобразныя движенія, напоминающія движенія крыльевъ парящей птицы. Пальцы быстро сошлись—да такъ удачно, будто у ворожеи было четыре глаза...

— Тьфу, собачій сынъ!—сказалъ шинкаръ и отошелъ за стойку...

— Ну, пожалуй, попадешь еще разъ,—продолжалъ Нетьга:—а за третьимъ разомъ не выдержишь... Брепешь!..

— Молчи, Нетяго, не мѣшай!—отозвались присутствующіе.

И въ шинкѣ опять наступила невозмутимая тишина, какая, вѣроятно, не часто бываетъ въ немъ.

Во второй разъ Кривоносъ свелъ пальцы быстро, съ той-же ловкостью достигнувъ цѣли, а въ третій разъ—медленно, и чуть-было не сбилъ съ пути, но во время поправилъ ошибку, такъ что вышло такъ же удачно, какъ и въ первые два раза...

Гопъ-чыкы! Гопъ-чыкы!..
Пьютъ горилку козаки..
А найпершій той козакъ,
Хто заграе и въ кулакъ!

И съ этими словами Кривоносъ пустился вприсядку. Всѣ бросились развязывать ему лицо.

Выпили водку, пошутили еще немного и разошлись. Несторъ такъ и уѣхалъ безъ сѣдла.

Того же утра лѣсничимъ предстоялъ объѣздъ въ лѣсу. Несторъ не упустилъ этого изъ памяти, и, пріѣхавъ раннимъ утромъ домой, онъ не вошелъ въ хату, а оставался на дворѣ, въ ожиданіи скорого выхода старшаго лѣсничаго. Лѣсничимъ этимъ былъ въ то время Елисей Верховодубъ, молодой, удалый парень,—козакъ, хоть куда!

Несторъ въ расчетѣ не ошибся. Елисей, дѣйствительно, вскорѣ вышелъ изъ хаты.

— Эге! Да ты, братъ, совсѣмъ по-молодецки!.. А я чуть-было не проспалъ,—съ серьезной улыбкой проговорилъ Елисей.—Оно не подобно

проспать нашему брату, да такъ, всякіе случаи бывають!.. А что же ты не сѣдлаешь коня?

Несторъ смолчалъ.

Старшій лѣсничій вывелъ свою кобылицу (славная была лошадь! а онъ на ней—какъ съ картинки снятый!), осѣдлалъ, мигомъ вскочилъ на нее и повернулъ къ Нестору.

— Ба! Ты опять безъ сѣдла? Сейчасъ ѣдемъ, и ѣдемъ не близко! Всѣ участки осмотрѣть нужно...

— Далеко-ли ѣдемъ, близко-ли, а сѣдла нѣтъ... Доброе было сѣдло, да пропало! —не безъ горечи процѣдилъ Несторъ.

— Что ты?

— Ей-Богу пропало! Въ шинкѣ пропилъ!.. Укралъ кто-то...

— Гай-гай, Несторе! Дождался и ты чести, — сказалъ Верховдубъ, язвительно улыбаясь. — Такъ-таки, сѣдло у меня украли-бы!.. И гдѣ же? Около шинка! Ха-ха... Гуляли и вы, братцы, не плохо... — А кому-бы украсть? — прибавилъ онъ, немного помолчавъ.

— Чортъ его знаетъ! Говорятъ, Одарка... Больше всего, что она... На то похоже...

— Ха-ха-ха! Ну, пане лѣсничій, лучше не рассказывай людямъ... Баба сѣдло украла?! Ха-ха-ха! А козакъ сидѣлъ въ шинкѣ...

Прошло три-четыре дня, и Елисей нѣтъ-нѣтъ, да и посмѣется надъ Несторомъ, напоминая ему о пропавшемъ сѣдлѣ. Жили лѣсничіе хорошо, дружно, по-братски, и хотя пропавшее сѣдло было собственностью Нестора, послѣдній все-же чув-

ствовалъ себя какъ бы виноватымъ предъ Елисеемъ... Но вотъ, черезъ нѣсколько дней, оба они прїѣзжаютъ въ слободу, справляются съ дѣлами, а вечеромъ, по обыкновенію, попадаютъ въ тотъ же шинокъ. У Елисея хорошее казацкое сѣдло, а у Нестора старенькое, ободранное, да и то не его: на время прихватилъ гдѣ-то.

Прїѣхали, привязали около шинка лошадей, вошли... Народа въ шинкѣ десятковъ до четырехъ: праздникъ былъ...

— Бывайте здоровы, люди добрые!—громко окликнулъ Елисей шумную компанію:—Не нужно-ли вамъ лѣсничихъ?..

— А-а! Елисей Демьяновичъ!.. Гэ-гэ-гэ! Го-го-го!—шумятъ всѣ, и каждый наперебой остальнымъ уступалъ мѣсто удалому лѣсничему.—Сюда, Елисею, сюда!

— Ну, братище, давно я тебя видѣлъ!—говоритъ Ткачъ.

— Только теперь, глядя на тебя, вспомнилъ, каковъ ты есть, Елисею,—заявляетъ Жмыря.

— Славный былъ казакъ, да зазнался!—прибавляетъ Кожушанный.

Елисей съ Несторомъ садятся въ красный уголъ. Засуетился шинкарь, зазвенѣли чарки, поднялся говоръ и все пошло своимъ чередомъ. Шумятъ мужики, угощаютъ другъ друга, каждый рассказываетъ про свое, одинъ забавнѣе другого,—всѣ говорятъ и всѣ слушаютъ... Вспоминаетъ Елисей о пропавшемъ сѣдлѣ, смѣется надъ Несторомъ: сѣдло, молъ, пропилъ лѣсничій...

— Ахъ, вы пьяницы этакіе, лѣсничіе!—про-

должалъ шутить Елисей:—такъ-таки допиться до того, что и сѣдло около шинка осталось!..

— Э-гэ! Теперь и я смекаю, отчего это ты безъ сѣдла пріѣхалъ,—обратился къ Елисею Брыль, сидѣвшій за столомъ и пришедшій въ шинокъ позже другихъ.—Иду себѣ, вижу кобылица лѣсничаго, а сѣдла нѣтъ...

— Го-го-го! Не плохую, братище, выдумку выкинулъ и ты!—отозвался Елисей, а у самого сердце екнуло.—«Что если и на самомъ дѣлѣ сѣдла нѣтъ?»

Всѣ приняли это извѣстіе за шутку.

— А можетъ быть я не разглядѣлъ,—продолжалъ Брыль:—такъ, нѣтъ! Кобылица у тебя та же, вороная? А рябой конь Нестора?

— Вотъ-вотъ! Но, можетъ быть, сѣдла нѣтъ на рябомъ?—продолжалъ Елисей, насилуя себя веселой улыбкой...—Несторъ пріѣхалъ безъ сѣдла...

— Вотъ-же не такъ, Елисее, — возразилъ Брыль.—Сѣдла нѣтъ именно на вороной, на кобылицѣ... Ей-Богу, на вороной!..

Несторъ бросился къ лошадямъ, а черезъ минуту вернулся назадъ, взялся въ бока и пошелъ танцовать:

Ой нема! Ой нема!

Куда хочешь, а нема!

— Люди добрые! Старшій лѣсничій сѣдло пропилъ! Пропи-иль! Про-пи-и-ль!—прокричалъ Несторъ, продолжая танцовать съ припѣвомъ:

Ой нема! Ой нема!

Куда хочешь, а нема!

Сѣдла, дѣйствительно, не оказалось.

Не успѣли мужики потолковать о томъ, кому-бы украсть сѣдло, не успѣли опять взвалить вину на Одарку, какъ вотъ и она является въ шинокъ. А кто была эта Одарка, вамъ не догадаться, конечно! (А она и теперь живетъ противъ нашего шинка). Одарка и тогда уже была вдовой, но не такой, какъ теперь, а молодой, красивой! Всѣ поговаривали, что она занимается нехорошими дѣлами, но поймать въ воровствѣ никто не могъ.

Теперь Одарка пришла въ шинокъ, чтобы взять на домъ полкварты горилки.

— А-а! Спасибо тебѣ, Одаронько! Сердце мое! Вдовонько!—встрѣчаетъ Елисей Одарку съ низкимъ поклономъ.

— Спасибо и тебѣ, Елисею, за ласку! Но за что твоя дяка? Или насмѣхаешься?

— Я? Насмѣхаюсь? Нѣтъ, мое сердце!—Выпей голубко!

— Выпить я выпью, но скажи, за что дякуешь!..

— А за то я дякую тебѣ, моя вдовонько, что ты во время пришла сюда... Великая бѣда приключилась! Не успѣлъ лѣсничій чарки выпить, какъ какая-то проклятая душа сѣдло стащила!..

— У пѣяницъ и штаны крадутъ!—лукаво замѣтила Одарка и засмѣялась.

— Пусть-бы и у меня штаны украли! Чортъ ихъ поминай! Мнѣ легче было-бы! Козакъ и безъ штановъ козакомъ останется... А безъ сѣдла? Что съ меня? Возьми да и нанлюй! — Заворожи, моя вдовонько!

— Заворожить? Что ты, Елисею! Какая изъ меня ворожка! Хотѣла выпить отъ тебя чарку, какъ отъ добраго... И не грѣшно смѣяться надъ вдовой?

— Ну выпей же! Не хочешь ворожить, такъ выпей!..

Одарка выпила.

— Теперь слушай сюда, шинкарю!—обратился Елисей къ Нетягѣ, оставляя Одарку въ видимомъ недоумѣніи и закрывая на крючекъ дверь въ шинкѣ.—Сѣдло пропало тутъ, около твоей хаты, значитъ, и вина твоя! Я заморожу самъ, да такъ заморожу, что и черти зачхаютъ! Иди, Нетяго, къ дверямъ и никого не пропускай ни сюда, ни назадъ, а пропустишь—вся ворожба пойдетъ къ чорту!

— Люди добрые!—обратился Елисей къ присутствующимъ, немного помолчавъ:—Кидайте чарки и фляжки и становитесь гуськомъ за мной. Всѣ, всѣ становитесь, кто тутъ ни есть...

— Лей-же шинкарю!—обратилась Одарка:—Вашихъ рѣчей и до утра не переслушаешь!..

— Нѣтъ, Одарко, нальютъ послѣ, а теперь—ни шагу!—сказалъ Елисей, обнимая шутя красивую вдову.—И ты, голубко, будешь дѣлать то, что и другіе. Нельзя!

— Спасибо тебѣ, Елисею! У меня гости.

— Ничего! Гости цѣлы останутся!

И Елисей насильно усадилъ Одарку за столъ.

— Ну, всѣ, всѣ, выходите!—продолжалъ лѣсничій:—Беритесь за меня,—и такъ одинъ за другого.

— Люди добрые! Слушайте еще разъ!—обращается съ поклономъ Елисей:—Беритесь одинъ за другого, беритесь за одежду, за что попало, только за руки браться нельзя. Взявшись другъ за друга, закройте глаза, не оглядывайтесь назадъ и не смотрите. Мнѣ тоже нельзя ни смотреть, ни оглядываться... Что я буду дѣлать, пока никому знать не годится,—узнаете послѣ... Если кому-либо изъ васъ покажется, что съ сѣдломъ пробѣжитъ дитя—молчите... Потомъ сѣдло будетъ нести старикъ—тоже молчите... Наконецъ, съ сѣдломъ появится баба,—старая, простоволосая, точно вѣдьма,—тогда скажите мнѣ... Всѣ стали?

— Всѣ-ѣ!

— А глаза закрыли всѣ?

— Всѣ-ѣ!..

— Нѣтъ, одинъ изъ васъ не закрылъ глазъ! Закройте, кто не закрылъ!—Всѣ закрыли?

— Всѣ-ѣ!..

— Теперь слушайте! Я до трехъ разъ буду спрашивать, а вы отвѣчайте... Но кто-же это изъ васъ не взялся? Возьмитесь сейчасъ!—Ну-те, буду спрашивать три раза... Всѣ взялись?

— Всѣ-ѣ!

— Опять не всѣ! Ей-Богу, не всѣ! Я не оглядываюсь, но вижу, что взялись не всѣ... Спрашиваю еще разъ: всѣ взялись?

— Всѣ!

— Всѣ взялись?

— Всѣ!

— Всѣ взялись?

— Всѣ!

— И тотъ взялся, кто сѣдло взялъ?

— Взялась! Взялась!—обозвалась Одарка, да такъ громко, что всѣ разслышали.

Всѣмъ стало понятно, что ворожба окончилась.

Елисей подбѣжалъ къ Одаркѣ и поднялъ кулакъ.

— Отдай, вѣдьмо, сѣдло!

— Тѣфу! На свою мать!

— Отдай! Не то раззорю въ прахъ, переверну твое воровское гнѣздо! Отдай, проклятая!

— Люди добрые! Что онъ? Что ты, Елисею? И пришло-же мнѣ сказать на одну напасть, ей-Богу! Всѣ молчать, а я сказала!

— Не давай, Одарко, не давай! Иди себѣ съ Богомъ!—обозвался Несторъ.—А отдашь ему, верни и мое!

Всѣ засмѣялись.

Пошумѣлъ Елисей, да и притихъ.—Чортъ, а не баба была эта Одарка.

Зазвенѣли опять чарки, поднялся шумъ, говоръ, смѣхъ.

Пуще всѣхъ веселился Несторъ. Снявъ сѣдло со своей лошади и уложивъ его въ шинкѣ на боченкѣ съ водкой, онъ пустился танцовать:

Сюда-туда! Гопъ! Гопъ!

Ой дожився Елисей!

Догулявся Елисей!

Пропилъ сѣдло Елисей!

— Люди добрые! Старшій лѣсничій сѣдло пропилъ! Пропи-иль! Пропи-иль!..





ПЕЧАТАЕТСЯ ВТОРОЙ ТОМЪ

ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ

ДѢТИ ПРОВИНЦІИ

СОДЕРЖАНІЕ

Ямщикъ.

Люди и люди (разсказъ врача).

Прозрѣніе Бубочкина.

Сапожники.

Магистръ фармаціи (изъ воспоминаній учителя).

Поцѣлуй.

Василекъ.

Напроломъ (изъ записокъ акцизнаго контролера).

Разговоръ.

Кумъ Молчанъ.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ У АВТОРА.



ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ СОЧИНЕНІЕ

— И. О. КОСИНОВА —

ВЪ КОЛЕСѢ ЖИЗНИ

РАЗСКАЗЫ ИЗЪ СТАНИЧНАГО ЖИТІЯ-БЫТІЯ ВЪ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

СОДЕРЖАНІЕ

Паномарь Пафнутьичъ.
Селифоша портной.
Шнапсъ-капитанъ Латрыгинъ.
Поповна сирота.
Солдаты Иванычъ.
Личарда.
Уѣздный врачъ.
Арендаторъ.
Дядюшка Тарасъ.
Богомолки.
Непріятное посѣщеніе.
Въ полной отставкѣ.
Экономъ.
Тетеря.
Послѣдняя весна.

Цѣна 50 коп.

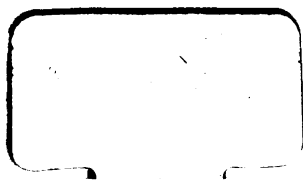
Складъ изданія въ типографіи И. Ф. Войко въ Екатеринодарѣ.



4993 114

of the
BUREAU OF
THE

FEB 2 1993

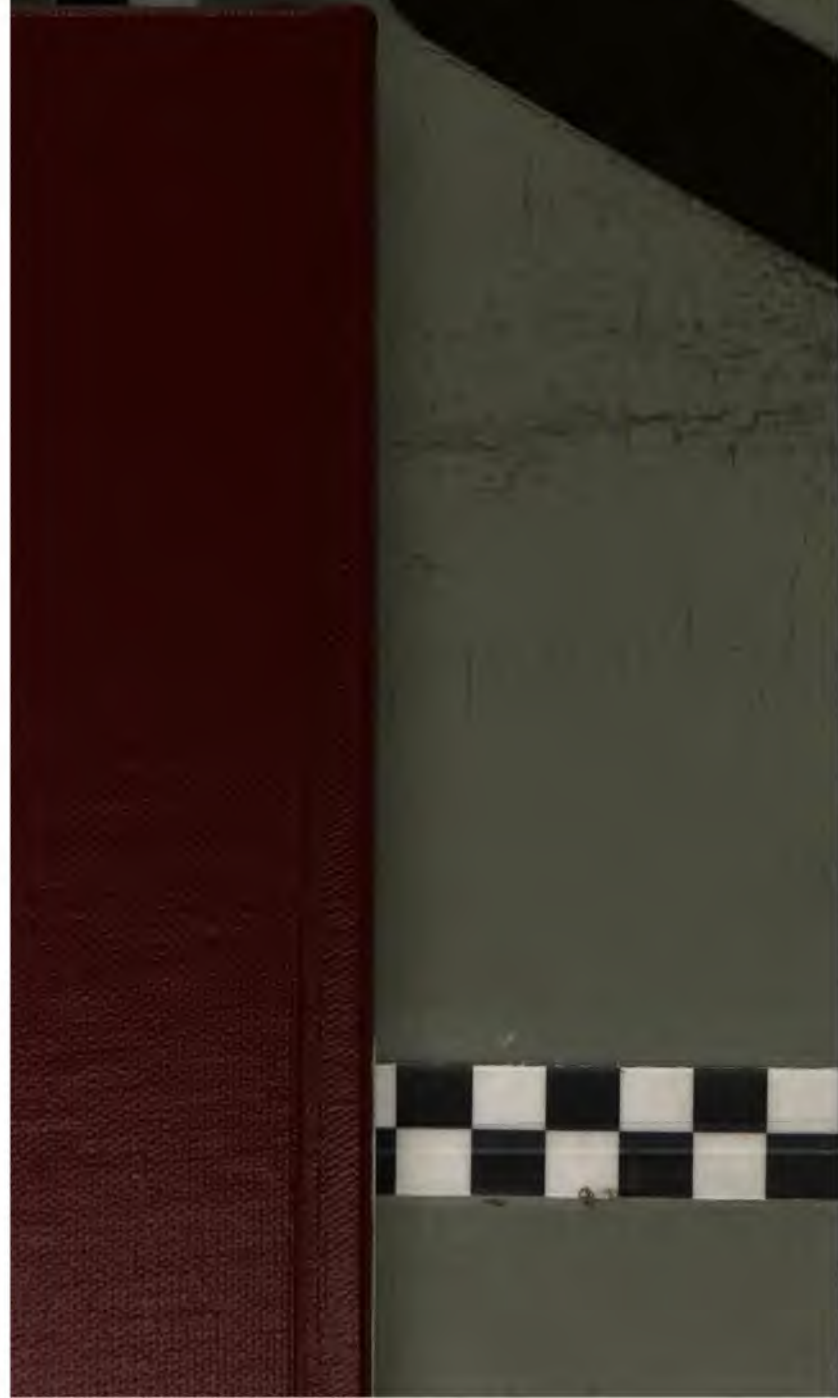


WDL
PG3467.I3 D5 1903
Dietl provintsii;
Widener Library

001035856

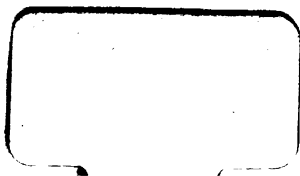


3 2044 080 735 046



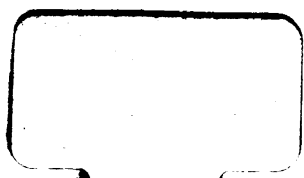
100

'FEB' 2 1983'



of me
B. H. H. H. H. H.
H. H. H. H. H. H.

FEB 2 1983



Handwritten: 2/2/03
Stamp: FEB 2 1903

FEB 2 1903

